Воспоминания об Анатолии Аграновском

Ан. Аграновский







Воспоминания об Анатолии Аграновском

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1988

ББК 83 3Р7
В 77

Составитель
Г. Ф. АГРАНОВСКАЯ

Художник
Виктор ВИНОГРАДОВ

В книгах этой серии в качестве иллюстративного материала, наряду с фотографиями последних лет, используются архивные и любительские плохо сохранившиеся фотографии

Публикуя их, издательство стремится показать читателям редкий фотоматериал из жизни писателя, представляющий несомненный истори ческий интерес

В $\frac{4702010201-412}{083(02)-88}$ 158–88

ISBN 5–265 00071 2

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Читая невероятно много, Анатолий Аграновский любил мемуарную литературу. Собрал за долгие годы порядочное количество книг из серии «Жизнь замечательных людей». В его библиотеке воспоминания о Михоэлсе, Чуковском, Паустовском, Симонове. Очень нравилась ему книжка об Огюсте Ренуаре, написанная сыном художника. Читая о Резерфорде, Франклине, Галилее, Мечникове, делал выписки в свою картотеку. Некоторые книги и сейчас стоят на полке с его закладками. Открывая эти, заложенные им страницы, можно только гадать, что именно привлекло его внимание. Часто, натолкнувшись на интересную мысль, наблюдение, он восклицал: «Как хорошо сказано!..» (или: «увидено», «замечено»). И это не обязательно была мысль героя воспоминаний, а чаще как раз принадлежала их автору. Иногда он с раздражением замечал: «Надо обладать особым даром, чтобы о таком писателе, как Н., написать так серо и ординарно. Чего стоит только одна эта фраза-штамп, прямо из газетной передовицы!»

Как-то я, читая воспоминания о Чуковском, обратила его внимание на бытовую сценку, связанную с семейной жизнью Чуковского, на что муж заметил: «А мне понравился рассказ Ольги Берггольц...» — «Что там может понравиться, там о Корнее Ивановиче почти ничего и нет?» — «Зато там есть Ольга Берггольц. Есть ее замечательное полудетское стихотворение, восхитившее Чуковского, и его устная провидческая рецензия. А это больше и интересней, чем если бы она написала о том, сколько раз был женат писатель, как одевался, что ел, каким одеколоном душился...»

Собирая книжку об Анатолии Аграновском, я, конечно же, хотела, чтобы читатель узнал многое о ее герое. Но не менее важно, на мой взгляд, чтобы он, читатель, увидел за каждым написавшем об Аграновском личность неординарную. Не все они литераторы-профессионалы. Среди авторов конструктор и врач, токарь и биолог, художник и учитель. Объединяет их одно общее с героем этой кни-

ги — единомыслие. Почти все авторы этой книги, за редким исключением, были знакомы и дружны с Анатолием Аграновским более тридцати лет. Некоторые из них были героями его очерков, а потом становились его друзьями на многие годы. Стоило бы, наверное, заметить здесь, что сборник этот возник, можно сказать, стихийно, то есть никого не пришлось просить написать об Аграновском. Из далекого от Москвы города пришел конверт от человека, который всего один раз виделся с А. Аграновским, а потом состоял с ним в переписке долгие годы. В конверте были заметки, написанные почти тридцать лет назад. Автор этих заметок подробно записал свои впечатления от визита, нарисовал план кабинета, стенографически точно изложил все, что услышал в тот вечер от хозяина дома. Повторю, заметки эти сделаны почти тридцать лет тому назад. В письме, сопровождавшем эти заметки, автор пишет: «...И в моем лауреатстве есть часть души Аграновского... После нашей встречи в 1963 году Анатолий Абрамович укрепил мою душу — толкнул на труднейшее дело, польза которого видна пока лишь ограниченному кругу, польза нам, стране, и не ради наград, званий, должностей — а для дела...» Думается, здесь уместно будет процитировать строчки из статьи известного советского журналиста: «...каким именно образом влиял один из самых влиятельных наших современников, Анатолий Аграновский, на жизнь и ее героев... Доктор Федоров начался не со статьи о докторе Федорове, а со статей о Казанском университете...» К этому хотелось бы добавить, что и любимые герои Анатолия Аграновского и его друзья в той же степени влияли на самого Аграновского.

«...По печальной традиции мы провожаем уходящих писателей книгами воспоминаний. Что-то вроде публичных сороковин»,— как заметил тот же журналист. Теперь выходит книга воспоминаний об Анатолии Аграновском — человеке, публицисте, читателе. Хочется надеяться, что прочитавший ее не будет разочарован.

Л. ТОЛКУНОВ

Мысль публициста

Человек в жизни сдержанный, Анатолий Аграновский, однако, сам много о себе рассказал. Перечитывая наново его очерки с острым чувством невосполнимой утраты, замечаешь то, что не замечал прежде,— присутствие в них самого Аграновского.

Он, разумеется, всегда «присутствовал»: все, что он написал, написано от первого лица. Это позволяло литературоведам наблюдать в его творчестве наличие некоего «лирического героя», «философского героя». Мы же, известинцы, на чьих глазах задумывались, создавались, сдавались в набор и публиковались на газетных полосах очерки, ставшие потом достоянием книг, слишком хорошо знали, что газета — не литература, что от жизни ее отделяет куда более краткое расстояние; что связи ее с действительностью куда менее опосредствованы, чтобы журналист успевал ввести в корреспонденцию «лирического героя». Он вводил самого себя. И не столько для философии, сколько для дела, для убедительности, поскольку специальный корреспондент в командировке оказывается в положении «накопителя» информации, ее «обработчика» и «осмыслителя»; лирическому герою этого не перепоручишь. Другое дело, что процесс исследования материала часто становился у Аграновского сюжетом его очерков, где действует, размышляет, рассуждает сам корреспондент, ненавязчиво вовлекая читателей в поиски единственного решения. Зато теперь при перечитывании его книг мы переживаем горькое и вместе светлое узнавание хорошо знакомого человека, который жил среди нас, с которым воочию уже не договоришь, не доспоришь, ни о чем не спросишь. Спасибо книгам.

«...Много раз меня путали с отцом: у нас ведь имена начинаются с одной буквы. В тот год, когда умер отец — в командировке, в деревне Большое Баландино,— в тот год вышла моя первая книга, отец еще читал ее... Меня часто путали с отцом, который был мне учителем и самым большим другом, но никогда еще, пожалуй, я не ощущал

с такой ясностью, что стал продолжателем дела отца».

Очерк, откуда цитата, «Как я был первым» — о запуске в космос Германа Титова, о семье Германа и его родине — селе Полковниково на Алтае, а значит, и об Адриане Митрофановиче Топорове, алтайском педагоге и просветителе, одном из организаторов коммуны «Майское утро». Но вот попутно автор кое-что сообщает и о себе. И не только факт биографии, но и самое сокровенное. Творческое кредо, если хотите.

Аграновскому, корреспонденту «Известий», пришлось в этой поездке встретиться и посмотреть в глаза человеку, который в свое время был главным гонителем и антиподом Топорова, и прямо сказать ему то, что, по существу, зачеркивало его благополучную внешне, а по сути фальшивую жизнь.

«Нет,— сказал я ему,— о Топорове писать будут, обязательно будут...»

Так, Аграновский открывает нам не только события своей жизни, он смело открывает нам самые сильные движения своей души, свои гражданские убеждения, свой журналистский выбор, которому останется верен всю жизнь.

Итак, Анатолий Аграновский — журналист, сын журналиста. От отца, от традиций ленинской журналистики унаследовал он остроту, смелость постановки проблем, глубину их разработки. И еще важные наследственные черты — журналистская честность и любовь к газете. Для развития и становления таланта эти качества — безусловны.

В свое время Аграновский-старший, начав издавать книги, вступил в Союз писателей СССР, «но,— по воспоминаниям сына,— до конца дней считал себя журналистом, ценил в себе газетчика».

Аграновский-младший — по образованию историк, военная его специальность — авиационный штурман; в юности успел поработать художником-мультипликатором, помощником кинооператора, ретушером, художником-оформителем. И все-таки вышел, вступил на дорогу отца. Тоже стал членом Союза писателей СССР, издал более двадцати книг, написал несколько повестей и киносценариев, по которым были сняты художественные и документальные фильмы. Но, как и отец, он до конца дней считал себя журналистом. Оба были газетчиками, оба принадлежали «Известиям».

Я порой поражался его привязанности к газете. Он мог бы совсем уйти в литературу. Но, сделай он это, Аграновский не был бы Аграновским.

Газета обязана Анатолию Аграновскому не только теми строками, которые он публиковал на ее страницах и которых так ждали и многомиллионные читатели, и коллеги-журналисты. «Известия» обязаны своему специальному корреспонденту и тем общим высоким идейным и литературным уровнем, который удавалось поддерживать в газете из года в год. «Известия» имели как бы эталон, на который надо равняться, к которому необходимо стремиться. Конечно, что дано одному — недоступно другому, но одно лишь стремление к журналистской вершине, пример Аграновского заставляли каждого работать на высшем пределе своих собственных возможностей. Он вернул газетной повседневной журналистике утраченное после Кольцова значение самостоятельного, равноправного литературного жанра и в этом смысле наследует традиции русского очерка, русской демократической печати.

Но и Аграновский обязан газете: обогащение тут было взаимным. Газета заставляла его идти в ногу со временем, искать в нужном направлении, в нужный момент. Газета давала ему дыхание. Она же, в конце концов, дала ему имя.

Иногда он шел впереди времени, потому что умел видеть жизнь в перспективе, и безошибочно предсказывал, чему суждена долгая судьба, а что обречено. Однако «злоба дня» — сегодняшнего ли, завтрашнего ли — никак не отражалась на глубине и объективности его публицистики; «злоба дня» означала не сиюминутность, а своевременность и современность.

И герои его очерков — люди современные. Характерно, и это отмечено исследователями творчества Аграновского, что многие из его самых современнейших героев были до знакомства с журналистом вполне рядовыми людьми, иногда не понятыми на местах, иногда и просто гонимыми (например, доктор Федоров). После публикаций Анатолия Абрамовича его герои становились Героями, академиками, лауреатами. Главное тут не личная судьба героев — выигрывало дело. Директор НИИ микрохирургии глаза, Герой Социалистического Труда, член-корреспондент АН СССР профессор С. Н. Федоров говорит: «Всем, чего удалось добиться, достигнуть, я обязан ему, Аграновскому. Главное — время. Мы выиграли время». Вре-

мя — это тысячи спасенных больных, новые исследования и открытия, двинувшаяся вперед наука.

Выигрывало дело! После его публикации принимали решения ведомства, главки, министерства, самые высокие инстанции.

Известно, что мнение Аграновского часто не зависело от установившегося понятия. Но чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, этого было мало, надо было в своем — подчас неожиданном, иногда парадоксальном, казалось бы — мнении убедить собеседника. Чаще всего ему удавалось это, ибо с кем бы он ни говорил, он всегда был компетентен, всегда вровень с любым хозяйственником, специалистом, крупным руководителем. Если не удавалось убедить собеседника, он потом убеждал в своей мысли читателя, вместе с которым размышлял и делал выводы.

Ректор отказал молодым ученым в 18 тысячах рублей. Другие попросили 200 тысяч, а он дал полмиллиона. Непонятно? Ректор давал деньги «под мысль» — журналист не заставляет читателя верить ему на слово: читатель приходит к этому выводу сам. В «Схеме роста» начальник цеха упрашивает парнишку не учиться (и журналист на стороне начальника), читатель потом понимает (опять же приходит к этому сам): разговор не о знаниях, а о дипломе.

Аграновский по большей части занимался самой сложной ныне проблемой развития экономики и управления ею, и в этом достиг наибольшего успеха. Однако и морально-этическую тему он решал столь же глубоко и по-своему.

Остановившись на пустыре возле дома (очерк так и называется «Пустырь»), журналист спрашивает жильцов: «Что тут у вас будет?» — «Дом будут строить. Для начальства».

Но оказалось, тут будет зеленая зона. Отчего жители дома, знающие, что творится в разных концах мира, не знают, что делается возле дома? Журналист задается вопросом и отвечает: нужна гласность. «...Вы понимаете, конечно, что разговор у нас давно уже не только и не просто о налаживании информации. Речь идет о развитии демократизма, об истинном уважении к людям, о необходимости знать их запросы, прислушиваться к ним, учитывать их». Вот уже очерк «моральный» обретает на наших глазах социальную окраску.

Аграновский редко писал на темы «чистой» нравствен-

ности, «чистой» морали, если не считать таковыми его материалы, где, кажется, совсем не было «чистой» экономики,— скажем, «Вишневый сад»: ребенка, укравшего вишни, бригадир в наказание сажает в склад с ядохимикатами. Речь о жестокости, о душевном одичании. Но проблема ставится шире, высказана конструктивная мысль о том, что «нельзя приказать благосостояние», о том, что «чем меньше хозяина в работниках, тем меньше подкреплено это чувство — организационно, экономически, нравственно,— тем выше надобны заборы». Моральны, нравственно напряжены все его очерки, включая самые «деловые», самые «экономические».

Литературоведы в чем-то все-таки правы, когда под авторским «я» Аграновского угадывают единый, «сквозной» характер героя, не просто созерцающего события, но бесстрашно исследующего жизнь; ему во всем надо дойти до самой сути, и в этих своих поисках он действует весьма активно — с позиций здравого смысла и государственной пользы, с позиций гражданина. Несомненно, Аграновский сознательно не придавал фигуре автора чересчур «личной» окраски. Они были вровень — пытливый исследователь из его очерков и сам Аграновский, готовый семь раз отмерить, пока весомость результата не окажется для всех очевидной.

Автор, его личность в той активной публицистике, которую избрал для себя, в которой трудился и которую творил Аграновский,— такой автор был полпредом читателей в исследовании проблемы, заложником правды жизни, мерилом искренности в споре, который ведет автор из очерка в очерк. Вот я весь перед вами, как бы говорит Аграновский, попробуйте меня опровергнуть, мне возразить, а не сумеете — становитесь моими единомышленниками, и будем вместе отстаивать здоровую экономику, честную предприимчивость, созидательный труд, красивое качество, талантливых людей, дух бескорыстия, чистоту намерений — все, что мне нравится, против того, что мне не нравится,— против косности и тупосердия, бюрократизма и головотяпства, бездумья и бракодельства. Публицист уважает читателя и доверяет ему, но и себя уважает, знает себе цену. Такое взаимопонимание необходимо; журналист, да еще газетный, как бы неординарно он ни мыслил, обязан быть выразителем общественного мнения, понятным широким массам читателей, находить с ними контакт Он же — так Аграновский ставил задачу — должен

быть первопроходцем, впередсмотрящим,— иначе не стоило за перо браться; искренность, доверительность в его отношениях с читателем нужны как инструмент воздействия на умы, сердца.

Простота, убедительность, народность его журналистского таланта, крепость мысли и культура письма замечательно соответствуют потребности души и ума современного взыскательного читателя. Именно такой Аграновский, органически чуждый демагогии и пустословию, был на протяжении двух с половиной десятилетий журналистом номер один для наших читателей. Не только потому, что действенность его выступлений в газете была чрезвычайно высока, но и по прямому воздействию на нравы и умонастроения людей.

Для этого журналистика должна была стать его жизнью, слиться с ней.

«Редакционного задания на этот раз не было. Все началось проще. Сын пришел из школы...» — так начинается очерк «Аскания-Нова». Другое начало: «В один из теплых вечеров прошлого года, возвращаясь домой, я увидел у двери соседей выставленную по русскому обычаю крышку деревянного гроба и так оказался втянут в уголовное дело, для меня — страшное, а по мнению юристов — простое и даже заурядное» («Двумя этажами ниже»).

Он входит в проблему естественно, как входит человек в среду своего обитания. А ведь темы, за которые брался Аграновский, как я уже говорил,— самые трудные, первопроходческие; тут он знал свою силу и не щадил себя. Достаточно напомнить «Технику без опасности», «Суд да дело», «Растрату образования», «Снос», «Левшу на космодроме»... Да вот и процитированный выше очерк «Двумя этажами ниже» — об убийстве по пьяному делу — тяжелый сюжет: погиб сосед — молодой красивый парень, гордость хорошей рабочей семьи. «Не знаю, как писать об этом»,— признается автор. И этим признанием нам еще более близок, и мы уже обязательно дочитываем до конца.

Завистники говорили: долго пишет. Он писал ровно столько, сколько требовали тема и исследующая ее нелукавая мысль, которая должна была вызреть до полной ясности, чтобы быть отданной читателю не раньше и не позже. Нужно было много мужества и терпения, чтобы не поддаться соблазну и не избавиться от ноши, которая недели, иногда месяцы держит автора под токами высокого

напряжения, чтобы не последовать уговорам — мол, нужно уже печатать, чтобы не приближать преждевременно желанный для каждого газетчика миг сдачи в набор. Конечно, можно бы и сдать. И это уже был бы самый высокий уровень из того, что печаталось. Но планку высоты он устанавливал для себя сам.

Зато сдав материал, готов был с благодарностью выслушать любое замечание, предложение. Соглашался не всегда. Критиковать его было непросто, позиции у него были продуманы, идеи — выношены, отлиты во фразы, где ни убавить, ни прибавить. Например, такая: «Прощаться с индивидуальным мастерством в эпоху НТР нам, полагаю, рано. Как, скажем, и с индивидуальной совестью в эпоху коллективизма». Хочется отнести эту его мысль к самому существованию Аграновского в газете, мастера своего дела в коллективном творчестве большой редакции. Теперь, когда его не стало, нам так не хватает его индивидуального мастерства!

Как мы знаем, он много писал о мастерстве, о качестве любого труда. И сам он был мастеровит и искушен в своей профессии, обладал помимо таланта замечательной культурой литературного труда, легкость и убедительность его пера обеспечивались редкой начитанностью, безупречным литературным вкусом, большим чувством слова. Замечали ли вы, как неслучайна, как найдена у него первая фраза каждого очерка? Как выразительна последняя? Как искусно использовал он при построении материала жанр сказки, притчи, проводя нас затейливыми тропинками от кажущегося простого к сложному и обратно — к подлинной простоте и непреложности? Его мастерской будут пользоваться поколения журналистов. А пока отметим новаторство: он был зачинателем исследовательского очерка в нашей журналистике и лучшим его исполнителем.

Аграновский рос, менялся с годами, становился зрелее, трезвее, как бы жестче, все дальше бежал от прожектерства, дешевого романтизма, всяческой маниловщины, которой в нашей журналистике разлито еще предостаточно. Он, по его собственному признанию, учился понимать противника, «входить в положение», разбираться в сложных жизненных коллизиях, где экономика, социология, мораль вступают порой в столь противоречивое взаимодействие, что с помощью деревянного меча такой клубок не разрубишь, и словесные заклинания будут только смешны. Вместе с тем он был оптимистом, люди

нравились ему, многих он любил, сам был из породы тех, кто проходит отмеренный судьбой путь «с весельем и отвагой победителей».

Он был журналистом сложного времени, выразителем умонастроений и надежд шестидесятых — семидесятых годов двадцатого века. Но читать его будут и дети наши, и внуки, потому что главное, за что боролся Аграновский, отвечает природе творческого социализма, а значит, связано с нашим будущим. Формально он был беспартийным. Однако все его наследие было связано с работой партии по утверждению ленинских норм во всех сферах нашей общественной жизни, с ее усилиями по усовершенствованию хозяйственного механизма. Я бы сказал об Аграновском, что это был политически нравственный человек. Своим творчеством, своим поведением, своим отношением к делу, своей принципиальностью в жизни он был настоящим коммунистом.

Высота и масштаб дарования специального корреспондента «Известий» Анатолия Абрамовича Аграновского бесспорны, как бесспорен его огромный вклад в советскую журналистику. Исследователи уже сейчас заняты изучением его творчества, однако главная работа в этом направлении впереди. Наследие Аграновского будет изучаться и далее самым пунктуальным образом, ибо его творчество учит не только отражать жизнь, но и влиять на нее, двигать вперед.

Рудольф ОЛЬШЕВСКИЙ

Колокола

Анатолию Аграновскому

Просыпаюсь усилием воли
И сквозь мыслей ночных кутерьму
Пробиваюсь и чувствую: в поле
Движет ветер студеную тьму.

Отключаюсь от мелочей быта,
От судьбы, от случайных имен,
И душа обнаженно открыта
Перед бездной пространств и времен.

Забываю предметов названья,
Будто я в этом мире один,
И летит через мрак мирозданья
Общей нашей судьбы исполин.

Из глубин мирового разлада,
Как мятущийся дух над водой,
Человеческой жизни громада
Пролетает под млечной грядой.

Равнозначны века и мгновенья,
Над минувшим не властно число.
Я уже ощутил отношенье
И к тому на земле, что ушло.

И уже превратились в иконы
Снимки тех, кого смерть унесла.
Отключает судьба телефоны —
Коммунальные колокола.

И звоню я, звонарь полуночный,
Через сферы в иные края.
Разговор по бессрочному — срочный,
Вдруг ответят из мглы: «Это я!»

«Ego sum!» — слог остывшей латыни,
Несмолкающий крик бытия,
Голос камня и голос полыни,
Шепот мой между звезд: «Это я!»

Ощутивший уже разрушенье,
Тень ущерба, сомнений черед,
Я имею еще отношенье
И к тому на земле, что придет.

И душа обнаженная рада,
Что, бессмертия тайну храня,
Человеческой жизни громада
В глубь галактик уносит меня.

Г. Ф. АГРАНОВСКАЯ

Пристрастность...

Хочу сразу оговорить себе право быть пристрастной в этих заметках. В словаре: «Пристрастие (в первом значении) — сильная склонность». Есть и другие толкования, но мне они не подходят. *Сильная склонность* — вот единственное, чем могу я руководствоваться, рассказывая о моем муже, Анатолии Аграновском.

Познакомились мы зимой 1951 года. Я только что переболела тяжелым гриппом, осложненным воспалением легких. Приехала и остановилась у меня ленинградская приятельница. К ней-то и пришел мой будущий муж с каким-то поручением. Сделала я попытку в тот день изменить свою судьбу, отказывая приятельнице принять ее гостя, на нездоровье ссылаясь, на тесноту моей маленькой комнатки, на то, что угостить нечем, но... на небесах уже записано было все и определено.

И пришел очень красивый, молодой, талантливый, выдвинутый на Сталинскую премию (приятельница моя особо это подчеркнула) Анатолий Аграновский. Видно было, что нравиться молоденьким женщинам ему не впервой. Выдал он в тот вечер весь арсенал своего обаяния. Рассказывал смешные истории, что-то напевал из оперетток, какие-то песенки из репертуара своей армейской еще самодеятельности, аккомпанируя себе, отбивая ритм пальцами по краю стола. Вместо обещанных приятельницей «он всего на полчасика» просидел до позднего вечера. Не понравился он мне, все в нем было слишком, через край...

Вскоре уехала моя приятельница, забыт был гость, не мною званный. Спустя месяц, наверное не меньше, раздался телефонный звонок. Настолько я забыла о том визите, что не сразу и поняла, кто звонит. А он задет был, что не сразу вспомнила, и тем, что на его «я у вас в гостях был...» сказала, что «не у меня, а у моей приятельницы». Потому он дальше суховато объяснил, что звонит по делу

В прошлый раз (тогда не придала этому значения) я в разговоре помянула, что отец мой никак не может добиться получить в Ленинской библиотеке фотокопию своей повести, вышедшей в 1928 году, «Свадьба моей жены». Что ищем мы эту книгу давно, у друзей отца не сохранилась, в библиотеках ее нет, в букинистических магазинах заявки оставляли — и все впустую. Так вот, он берется сделать через редакцию фотокопию, если в том еще есть необходимость. Очень он тронул меня. Простила ему и красивость его чрезмерную, и сверхобаятельность. И себе сказала, что нечего судить о человеке по первому впечатлению. Много раз потом, когда я со смехом рассказывала о своем первом знакомстве с будущим мужем и о том впечатлении, какое он на меня произвел, он добавлял к моему рассказу: «Не верьте, это она влюбилась в меня с первого взгляда. Не знал как отбиться, силой женила на себе!..»

А дальше было всё «как у людей»: ухаживание, хождение в театр, совпадения во вкусах, мнениях. Сблизило и то, что детство у нас было одинаковое, вернее, детства мы оба были лишены с печально знаменитого 37-го года. Мы были из одной касты, касты прокаженных.

Не знаю, сколько бы продолжались такие наши отношения, если бы в один прекрасный день не выяснилось, что премию Сталинскую Аграновский не получит,— его вычеркнули в последний момент, перед публикацией в газете, из списка награжденных. И тогда он полушутя-полусерьезно сказал: «Теперь у меня меньше шансов получить твою руку и сердце...»

С этого дня мы и стали мужем и женой. Тридцать три года мы благодарили судьбу за то, что она так справедливо раздавала награды...

И началась наша семейная жизнь, длившаяся тридцать три года. Родился наш первенец, и стали мы семьей настоящей. В роддом муж написал мне: ...«Теперь я глава семьи...»

Главу семьи за год до рождения сына уволили с работы. К. Симонов, тогдашний редактор «Литературной газеты», утешил увольняемого за чужую ошибку Аграновского словами: «Вы еще встанете на ноги. Молоды, у вас все впереди». Так этот эпизод записан у мужа в записной книжке того года. (Я и впредь, в этих заметках, буду ссылаться на его записные книжки и письма, что не даст мне ошибиться ни в фактах, ни в хронологии.) А тогда я по наивности спросила: «А не мог редактор «отбить»

вас обоих? Ведь ошибка ерундовая». (В статье «виновника» была неточно указана должность высокого начальника, а Аграновский был дежурным по этому номеру газеты.) На мой вопрос он растерянно сказал: «Наверное, мог... Но он так занят, уезжал в тот день по депутатским делам...»

Записная книжка А. Аграновского № 6.

23 июня 1953 г.

— Ур-р-а-а! В 9 утра родился сын!

26 июня 1953 года.

Выехал из Москвы. Билет Москва — Смоленск, Смоленск — Демидов /автобус/.

И уехал наш «глава семьи» в командировку от журнала «Знамя» на Смоленщину, собирать материал для статьи о мелиораторах. А сына своего увидел уже месячным. В той давней записной книжке нашла я уже теперь записку, написанную мне тридцать четыре года тому назад. Коротенькая эта записка, всего несколько слов, написана в ситуации драматической, в кабине грузовика, на котором Аграновский добирался до нужного ему места. А случилось вот что: на разбитой смоленской дороге натолкнулись они на драку шоферов грузовиков. Дрались страшно, били друг друга монтировками, лица в крови. Выскочил и шофер, с которым ехал муж. Прихватив гаечный ключ, крикнул: «Корреспондент, из кабины не вылазь, башку проломят!» — и ввязался в драку. Вот тут-то и черкнул муж несколько слов в «прощальной» записке. А затем (это он уже потом рассказывал, вернувшись домой из командировки), стоя на подножке, закричал, по его словам, громовым голосом:

— Коммунисты, ко мне!

Были ли среди дравшихся коммунисты, неизвестно, сам он не был коммунистом, громовым голосом не обладал, но драка мгновенно прекратилась. Шоферы, вытирая кровь, разошлись по своим кабинам, командировка продолжалась... А еще в этой записной книжке нашла я засохший колосок, он лежит у меня на столе под стеклом...

Шло время. Жили мы все в той же крохотной комнатке, темной, с окном, выходящим в дворовый колодец. В квартире было еще семнадцать семей. Вернулся опять Аграновский работать в «Литературную газету» уже при новом

редакторе, на полставки. Появился постоянный заработок. Из его письма: «...костлявая рука отпустила наше горло...» Вот что пишет он мне в деревню, где я живу до первых холодов с сынишкой у родителей·

11.IX.54 г. Москва

«...Ты не представляешь, сколько на меня обрушилось дел сразу. Все же раздел есть раздел — посетители, письма, авторы... отдувается за всех один Аграновский. Всю массу дел, которая прежде делилась на шестерых, теперь делаю я один. Впрягся и везу... Вчера даже Коротеев посмеялся: «Я вижу, раздел стал лучше работать, когда в нем один человек!»
— На половинной зарплате,— не преминул вставить твой находчивый муж... Только любовь к этой проклятой работе газетной держит меня на плаву...»

И еще из письма, написанного ровно через год:

3.IX.55 г. Москва

...У меня тут куча событий. Во-первых: родил наконец «Катапульту». Как я катапультировался, я тебе писал уже. Тогда не хотел пугать тебя, а теперь скажу: было чуть страшновато, но я, как ты понимаешь, рассказывал анекдоты и насмешил всех. Однако пульс меня выдал — 120! Тут уж, как говорится, не волен я командовать сердцем. Это ведь не улыбку на себя напустить: организм! Выбросило меня метров на 20, перегрузка 11 с половиной — это немного, но Юганов мне после сказал, что он, например, больше 8 не рискнул, зачем?! Так что можешь считать, что твой муж весил 0,2 секунды своей жизни — 800 килограммов!.. Явился я домой «гоголем», а рассказать некому...

«Катапульту» отдал читать в редакции, пока всем нравится. Мне не очень... А вчера пригласили меня в «Новый мир». Симонов, Агапов и Кривицкий, «по зрелом размышлении и в здравом уме», приглашают меня работать к ним?! Что ты скажешь?

Я идти туда не хочу...

А еще я был в Союзе, подал заявление о квартире (мираж, утопия и пр.). В течение ближайшего времени будут составляться списки очередников...»

Когда перечитываю теперь его письма, а их сотни, встает у меня перед глазами не только наша семейная жизнь. У него была потребность писать письма,— поделиться мыслями, рассказать о статье, над которой работает, о чем говорил и спорил с будущим героем, с кем виделся, что читает. Уезжала я с детьми на лето в деревню, это всего в ста километрах от Москвы, муж приезжал к нам часто. Уже на третий-четвертый день получала я «толстое» письмо на многих страницах. Кстати сказать, любимым чтением его были письма Чехова, Достоевского, Толстого. Это были его настольные, а вернее «диванные», книги, читал он всегда лежа. Я же, любя Чехова не меньше, чем муж, письма чеховские, личные, интимные, читать не могла. Мне чудилось в этом подглядывание, не мне писались эти письма. Споря с мужем на этот счет, я спросила его: «Когда нас не будет, разве ты хотел бы, чтобы читали наши письма?» Улыбнувшись, он ответил: «У тебя мания величия, кому интересны наши письма... А впрочем, отчего же, я их не стыжусь. Пусть потомки узнают, что жил на свете глупый Аграновский, который любил жену и детей и не умел работать...»

Наступил последний этап жизни, связанный с «Литературной газетой». Пришел муж с большим пакетом, в котором были деликатесы, купленные в Елисеевском гастрономе, пирожные — в Столешниковом переулке, в кондитерской. Только было хотела я отругать мужа за расточительность, как он остановил меня словами: «Не ворчи, это на «шальные» деньги. Разок себе можем позволить. А деньги знаешь откуда? Никогда не догадаешься! Это войдет в историю советской литературы. Гладков Федор Васильевич отказался от гонорара в мою пользу!..»

В практике газет тех времен было заказывать к какой-нибудь дате статьи «классикам». Писались эти статьи сотрудниками редакции, подпись ставили именитые писатели, и никто никогда от гонорара не отказывался. Я помню, как часто Анатолий ездил в Лаврушинский переулок или в Переделкино подписывать эти статьи. На моей памяти было одно исключение, лишь подтвердившее правило: отказался поставить подпись под статьей, не им писанной, В. Каверин. Труд мужа не пропал даром: на той же улице в Переделкине статью подписал другой «классик».

Попировали мы в тот вечер втроем, Толя подкладывал нам с сынишкой на тарелки, приговаривая: «Ешьте, ешьте, приобщайтесь к классикам!..»

Уложили спать сына, вышли на лестницу. Муж закурил и сообщил редакционную новость: утвержден новый главный редактор. Кочетов. Что и как теперь будет в газете? Поживем — увидим!

«Поживем — увидим» продолжалось недолго. В редакции началась чистка, увольнялись многолетние сотрудники. И хотя Аграновскому увольнение не грозило, он подал заявление об уходе, высказав на редакционной летучке все, что он думает по поводу нового руководства. В его архиве сохранилась написанная от руки автобиография: «...В 1956 году ушел со штатной работы в «Литературной газете».

Закон «парных случаев» существует, мы на себе это испытали. Опять остался наш кормилец без работы, и через месяц родился у нас второй сын.

Из записки в роддом:

7 мая 1956 года.

...Как ты? Как наш новенький сынок?

На этот раз не поддамся случаю — назовем Антоном.

(Назвать Антоном хотели еще старшего. Воспротивилась свекровь. Положились на случай: бросили в кепку мужа бумажки с именами. Вытащили — Алексей.)

...Новостей никаких, кроме: секция очерка официально выделила меня и Толю Злобина на высшие литературные курсы. Как будто (еще неточно) на курсах этих будут Чингиз Айтматов и Кайсын Кулиев. Неплохо, а?!

Дальше план у меня такой: летом езжу в Троицк и прочие места, собираю материал для книги: «Центролит. Репортаж из будущего». Продолжаю работать над своими «Испытателями». С 1 сентября — начало занятий на курсах. Видишь, как я все здорово спланировал. Если бы все так и вышло... Единственное, что может помешать, это квартира. Но и на эту мрачность я смотрю сквозь розовые очки. Летом проблема решена — ты с детьми в деревне. А с сентября найду себе комнату для рабо-

ты, на дневное время. Сниму у кого-нибудь, вряд ли это будет дорого...

...Ты не ругаешь меня, что я такой деловитый? Ничего не попишешь, жена моя, я ведь теперь отец семейства настоящий!..

Отцу семейства настоящему исполнилось в тот год 34...

Через четыре года Анатолий Аграновский вернулся в «Литературную газету» уже в качестве автора, напечатав очерк «Вашу руку, Иван Иванович!», а еще через пять лет статью «Наука на веру ничего не принимает». И опять при разных редакторах, это я к тому, сколько раз эта газета меняла редакторов, а вместе с ними и свой облик.

Оглядываясь назад, на тридцать лет назад, вспоминая то время, тяжелый наш быт, частое безденежье, думаю: почему мы были счастливы? Не ссорились, не раздражались... Как-то, рассуждая об одной молодой семье, я сказала: «Чего им не хватает? Все вроде есть для счастья. Любят друг друга, быт устроенный, а вечно недовольны, раздражены!» На это муж сказал: «Не хватает умения быть счастливыми. Это талант — быть счастливым!» А мне к этому хотелось бы добавить, что нам было с чем сравнивать. Пережив в полной мере 37-й год, а я еще и плен немецкий, стоило ли огорчаться, что живем мы в маленькой темной комнатке, с деньгами плохо, теплое пальто для сынишки купить — проблема. Младшему кроватку поставить негде, спит на стульях... Спасала и наша неприхотливость. Мы не страдали от того, *чего у нас нет,* а были довольны тем, *что у нас было.*

Приведу почти полностью еще одно письмо мужа. Оно интересно не только тем, что касается нашей семьи:

5.VI.57 г. Москва

...Вот первый этап наших мучений и кончился. Люди — свиньи, я уже недоволен — почему не отдельная?.. Я-то в глубине души надеялся. А в сущности, подумать только — мы будем жить в двух светлых комнатах, и ванная будет, и кухня, и горячая вода... Ну, будет у нас сосед или соседка (в одну комнату большую семью вряд ли вселят) — разве это можно сравнить с тем, как мы живем сейчас? Давай радоваться...

Ты бы видела, как я тут последние три дня «метал икру». Со дня на день откладывался президиум. Потом стало известно, что вначале будет закрытый секретариат (большой), а потом уж президиум. Я этого, как писал тебе, ужасно боялся. Потом снова все подернулось дымкой таинственности. «Члены» ходили официально-непроницаемыми. А во мне росло тихое отчаяние, и опять проклинал я судьбу, что тебя нет рядом. Наконец я узнал, что с 9 утра собрался секретариат вместе с президиумом. Они заседали до 3 часов дня. Я места себе не находил. Я был уверен, что все лопнуло. Я представлял себе лица Симонова, Суркова, двух Смирновых... «Больно мы им нужны»,— думал я. Сидел у Борисова в комнатке, там мыкались Гриша Бакланов, Солоухин, Евтушенко и прочие страдальцы. К 12 я не выдержал и удрал оттуда. Я пошел по Садовой, сделал большой круг и вернулся в Союз снизу, с Арбата. Шел и готовил себя к худшему. Ты же знаешь, я всегда готов к худшему. Представлял себе, что скажет всесильный Кочетов и как промолчит Симонов, а Сурков скажет: «Отложим пока. Кто у нас следующий?»
Вот я приду, и мне скажут: НЕТ. Что тогда делать? Как жить? Я тут же, не заходя домой, помчался бы к тебе. Ты бы подбодрила меня и успокоила... ...Я пришел в Союз и на пороге встретил Чертову. Она улыбнулась. Ты знаешь, как я ловил в ее глазах еще издали: ЧТО? «Вас мы вселили,— сказала Чертова.— Но, к сожалению, отдельной не получилось». А к ней уже кинулись другие страждущие...

Я сейчас подумал: в сущности это дико, что о такой простой вещи, как квартира, я пишу тебе целую драматическую поэму. Но что делать, если для нас и детей это действительно вопрос жизни?!

Наверное, надо было хмуриться по поводу «не отдельной». Но я прошел за последние дни сквозь всю гамму отчаянья и так уверен был, что мы ничего не получим, что просто не мог печалиться... Дом строился в расчете на «классиков», и в нем очень мало маленьких квартир. В нашем положении оказались почти все «молодые» — Бакланов, Бондарев, Винокуров, Евдокимов. Жене Евтушенко вообще не

дали. Он бледный стоял внизу. И другие там бродили бледные тени...

20.VII.1957 г. Москва

...Кстати, у «молодых» двое детей в наличии, по-моему, только у нас. Но, как видишь, и это не довод для отдельной квартиры. Теперь о соседях: кого бог пошлет,— важно! Очень мне хотелось заполучить Борю Слуцкого — предел мечтаний! Но его уже захватил Гриша Бакланов...

Не прошло и полугода, как получили мы нашу долгожданную квартиру на Ломоносовском проспекте. Отдельную. Двухкомнатную. Все-таки. На чашу весов положен был наш полуторагодовалый младший сын. Он-то и перетянул чашу. Все-таки двое детей не у всех конкурентов были.

И стали мы жить-поживать. Добра наживать так и не научились. Через много лет муж сказал как-то: «Несправедливо устроена жизнь: когда мне всего хотелось, у меня не было возможности, теперь у меня есть возможность — мне уже мало чего хочется...»

К переезду денег хватило только на письменный стол и на раскладной диван. И сейчас я пишу эти заметки за столом, за которым тридцать с лишним лет работал муж. И диван в его кабинете тот же, и книжные полки те же, сработанные доморощенным столяром. И печатаю я на машинке, купленной четверть века тому назад... Так что с полным правом можно сказать, что обстановка в доме старинная, почти антикварная. Когда я делала робкие попытки что-то изменить в доме, купить новое, муж восставал: «Я люблю старый диван, старый телевизор, старую жену».

И телевизор наш, старый черно-белый «Рекорд» до сих пор стоит в кухне, вот уже много лет. Мы, домашние, смеялись, говоря, что сработан он еще рабами Рима, оттого и не ломается. Муж приклеивался к нему во время матчей по футболу или хоккею. Тут уже все переставало для него существовать. Он был многолетний болельщик «Спартака». Если бы во время матча из-под него вытащили стул, он не заметил бы. Как-то я вошла в кухню с жалобой на плохое самочувствие. Муж, не поворачивая головы в мою сторону от экрана, пошевелил в воздухе рукой, давая понять, что слышит мои стенания, произнес: «Бедняжка,

прими что-нибудь...» Не всегда он был спортсменом-болельщиком. Когда-то играл в теннис. Из письма 61-го года: «...Вчера ходил играть в теннис. Встретил Паперного. Спортсмена — не чета Аграновскому!..»

Профессия мужа, вечного командировочного, наложила отпечаток на его отношения к быту, дому, упорядоченности. Все всегда стояло на своих местах, не менялся распорядок дня, работы. Как-то после ремонта я повесила картину, по его мнению, несколько выше, чем она висела раньше. Он долго присматривался, отступал назад и наконец произнес: «Ты не считаешь, что она висела на сантиметр ниже?» После чего мы часто, спрашивая его совета по какому-нибудь поводу, говорили: «На сколько сантиметров выше или ниже ты советуешь сделать это?» — «Давайте, давайте, оттачивайте на мне свое остроумие, босяки!..» — усмехался он.

Домашние ему не мешали, дверь в кабинет никогда не закрывалась. Подрастали дети, к ним приходили друзья, заводили музыку, смеялись... Он настораживался только, когда в доме было тихо. Выходил к нам и спрашивал: «Что случилось? Почему тихо? Это мешает мне работать. Мне нужно, чтобы вы все были здесь и не трогали меня...»

Исключение трогать его делалось только для моего отца, которого Толя очень любил и говорил: «Я получил за женой прекрасное приданое — моего тестя!»

Отец внедрялся к зятю со словами: «Я на минуточку». «Минуточка» растягивалась на часы. Отец, прекрасный рассказчик, занимал площадку. А муж был прекрасный слушатель. Очень они нравились друг другу. Благодаря Аграновскому появились в «Новом мире» отрывки из романа Федора Каманина «Литературные встречи». Он буквально заставил тестя написать о своей литературной молодости. Журнал этот вышел уже после смерти отца. Горевал муж, что не увидел тесть этот номер. Но и сам он не дождался составленной и отредактированной им книжки, куда вошли ранее не печатавшиеся рассказы и «Литературные встречи» Ф. Каманина. Ни автор — Федор Каманин, ни автор предисловия Григорий Медынский, ни составитель Анатолий Аграновский не увидели этой книги, вышедшей, когда никого из них уже не стало на этом свете. Случай, к сожалению, не редкий в нашей литературе.

Отец мой, переживший 37-й год и немецкий плен, сохранил счастливо душевное здоровье, оптимизм, весе-

лость характера, юмор. После очередной «минуточки» муж говорил: «Зарядил меня дед на неделю хорошим настроением».

Вот строчки из его письма тестю, сохранившегося у меня в архиве:

3.IX.55 г. Москва

Федор Георгиевич, дорогой мой!

Мне надо для главы о моих героях сочинить их прогулку по подмосковному лесу. А я, проклятый горожанин, не знаю его. (Надеюсь, что Алеху Вы сделаете не таким!). Черкните мне письмецо, в котором страничках на трех со всей щедростью Вашей души и теплотою, Вам свойственной, изобразите пейзаж летнего леса, пышного, в разгаре его буйной красоты...

...Лес мне надо показать глазами героя — человека, который вырос в сибирской тайге, который любит и знает природу и понимает ее. И потому лес (примерно в начале июня) должен ожить, пусть в нем будут птицы, и зверьки, и деревья — живые, а не просто какими я, горожанин, их вижу. Если Вы мне поможете, буду Вам очень благодарен. Помню, в одном из писем, Вы описали очень лирически зимние ели — до сих пор они у меня перед глазами. Вот если бы так!.. И еще одна просьба: герои мои попадают в лес еще раз, в то же место, где познакомились. Но уже осенью, в конце сентября. Напишите мне картинку и такого, багряного леса. Сделаете? Буду очень ждать...

Обнимаю Вас. Ваш бездарный зять Толя.

Прочитав очерк мужа «Заповедник», в котором рассказывалось о том, как травили женщину в одном научном коллективе, отец мой, хваля очерк, в конце сказал: «А все-таки лес *растет*!» Под этим названием и вышел впоследствии сборник А. Аграновского. Как же смеялись мы, домашние, когда на читательской конференции ведущий объявил: «Сейчас перед вами выступит писатель Анатолий Аграновский, автор книги: «А лес *рубят*!»

И еще из письма мне:

...Читаю по совету Федора Георгиевича Стерна и Пришвина. Стерна я и раньше читал, а сейчас,

после разговоров с дедом, открыл его для себя заново. А Пришвина он мне, горожанину, буквально подарил. Спасибо ему. А тебе — за тестя. А чего стоит дарственная надпись Пришвина! «Милому Феде Каманину — великому мученику войны и мира»!..

«Мученик мира» просидел в Орловской тюрьме тринадцать месяцев в одиночке. Рассказывая свои тюремные истории, отец помянул, к слову, своего приятеля Петрищева, который донес на него. «Я всего-то и сказал при нем — пережила Россия монгольское иго, переживет и грузинское...» На что Толя рассмеялся, а потом с горечью сказал: «Наконец-то я вижу человека, которого посадили за дело!»

Читал муж невероятно много. При нашем скромном бюджете на книги деньги не жалели. Книги покупались всегда. Приносил он из Книжной лавки писателей очередную пачку, нетерпеливо снимал обертку и надолго замирал. Сначала рассматривал: как издана, какое оформление, бумага. Затем книги надолго укладывались над диваном, появлялись в них закладки с пометками. Не скоро попадали они на полки или нам, домашним, в руки. Когда сыновья или я нетерпеливо спрашивали: «Ну, что, прочел, можно взять?» «Нет,— было в ответ,— потерпите»...

16.XI.1964 г. Карловы Вары

...Читаю «Войну и мир», это чудо! Первый раз *так* читаю, неспешно, смакуя и все (или почти все) понимая. Читаю с первого дня, как приехал сюда, а добрался лишь до половины. В этот раз с особым удовольствием читаю философские главы. И вижу, как Он *пристрастен* в каждой строке, как неправ во многом, и как гениально прав в своей неправоте. Вот это истинная публицистика!..

Главным в семье была работа мужа. А работал он мучительно трудно. В его записной книжке есть запись — отдельной строкой: *«кровопотливая* работа». Более точно не определишь и его работу. Я не помню случая, чтобы он был доволен уже напечатанным очерком. Пришли хвалебные письма читателей, хвалили друзья, чьим мнением он дорожил, собратья по перу отметили, а он все недоволен. Вот лейтмотив, повторявшийся все годы:

12.VII.1965 г. Москва

...Плохо. Не пишется... И не могу поныть тебе, до какой степени не пишется. До сих пор ковыряюсь с очерком. Уже изверился, потерял нить, смысла не вижу... Самое бы умное — плюнуть, сказать в редакции «не вышло» — и все! Но нет, сижу и мучаюсь за письменным столом — к черту режим, все сбилось — ночью, днем, сто вариантов, и все худо... (А это об очерке «Открытие доктора Федорова».)

Мучился он, мучились и мы, домашние, вместе с ним, вернее, за него. Часто на мои робкие замечания, несогласие с тем или иным его рассуждением он восклицал: «Я допускаю, что ты не самое глупое существо на свете, но тут ты ничего не поняла, куриные доводы»... А когда он исправлял все же, учитывал мои «куриные» доводы, я обиженно спрашивала: «Что ж ты исправил? Я же ничего не понимаю»,— он смущенно хмыкал: «Я же оговорил, что ты не самое глупое существо»...

Как и сколько он собирал материал для той или иной статьи, видно по его записным книжкам. А добавить к этому хочется услышанный мной разговор с собратьями по перу. Кто-то спросил, пользуется ли он услугами «разработчиков», а такая практика у некоторых наших «асов»-журналистов существует. На что он брезгливо сказал: «Журналист, который пользуется чужими глазами и руками, не журналист вовсе. Есть у разведчиков в донесениях три пункта: *видел сам; предполагаю; ребята говорили.* Журналист может пользоваться только двумя первыми. В идеальном случае — *видел сам,* в крайнем случае — *предполагаю.* Статья документальная, построенная на «ребята говорили»,— полнейшая безнравственность!»

Нравственность, порядочность, репутация, доброе имя. В семье это не обсуждалось, само собой разумелось. В одной из последних записных книжек: «...Подонок! Ладно бы жил на необитаемом острове, один как перст, тут доброе имя ни к чему. Но как не думать о близких, ребенке, на них после его смерти будут пальцем показывать... Как об этом не подумать!..»

Нравственный климат в доме создавал он, не навязывая нам свою волю, мнение, взгляды. Детей не наказывал никогда. Достаточно ему было сказать: «Мне это не нравится!» А к этому часто говорил: «Я известный подкаблуч-

ник. Я не хозяин в своем доме. Как жена скажет, так и будет!..» Но мы точно знали, *как бы он хотел, чтобы было.* На том и держался дом. Видели мы его гневным, возмущенным. Но это был гнев гражданина, касалось дел государственных.

Обладал муж редкостным по нынешним временам чувством ответственности за семью, детей, мать. Мать любил очень. Вот коротенькое письмо к матери, вложенное в конверт с письмом мне:

> *14.VIII.55 г.* Москва
>
> ...Мамочка! Как там твои болячки? Очень я тут тревожусь за тебя. Если плохо тебе — приезжай, поведу тебя к врачам. Если уже лучше — останься тогда с Алешкой, разрешаю тебе даже накормить его разок сверх нормы (но не больше одного раза).
>
> Будь, мать, молодцом. А я тебя крепко люблю, это ты помни! Было бы, конечно, совсем замечательно, если б ты могла Галку отпустить ко мне, хоть на несколько дней — очень уж мне это нужно. Но тут уж ты посоветуйся со своим здоровьем, с врачами, которые, надеюсь, смотрели тебя, и решай сама.
>
> Твой неразумный сын — целует тебя.

Свекровь обожала внука. Обожание выражалось и в том, чтобы впихнуть в него «еще ложечку». Кашам придумывались экзотические названия, например, манная каша была «сингапурской». Возникали у меня со свекровью трения, и когда она перекормила сынишку до тошноты, я не выдержала и пожаловалась мужу. Он помирил нас, а через несколько дней написал мне письмо из Москвы:

> *20.IX.55 г.* Москва
>
> ...Ты права во всем, что касается матери. Больше того, права будешь и впредь еще не раз... Но, запомни, как бы ни была виновата мать, я всегда буду на ее стороне... Так я понимаю свой сыновний долг... Не сердись!..

Сердиться я — сердилась, но уважала его не меньше. И счастлива, что передал он сыновьям нашим это чувство долга перед матерью...

Много лет назад в «Правде» появилось письмо трех конструкторов, именитых, оснащенных всеми возможными

наградами, в котором уничижительно говорилось о повести Анатолия Аграновского «Большой старт». Надо ли объяснять, что значило такое письмо, написанное и подписанное *такими* именами, в *такой* газете?! Но горевал муж более из-за того, что один из авторов письма был им уважаем. Муж считал его человеком глубоко порядочным. «Голову даю на отсечение, что Н. подписал, не читая этого письма! (Так впоследствии и оказалось. Когда я делала комментарий к записным книжкам, мне понадобилось сослаться на тот случай. В домашнем архиве газеты этой не нашла. Помог М. Л. Галлай, отыскавший этот номер газеты у себя. Хранилась она в папке «ПАКОСТИ»!)

Уважительно относясь к «бренному металлу», к заработанным деньгам, принципами своими муж не поступался никогда. Много тому было примеров, приведу один. Последние годы работы в газете были для мужа мучительными. Он почти не печатался. Из его письма: «Редактор готов прибавить мне зарплату, лишь бы я ничего не писал...» Согласился он писать сценарий по своей повести. Режиссер намеревался сделать многосерийный фильм, а муж доказывал, что и на две-то серии наскрести непросто будет. Режиссер горячился, взывал к разуму автора, сулил большие гонорары. Аграновский был непреклонен. А к концу работы над фильмом и вовсе снял свою фамилию по соображениям этическим: режиссер хотел обойти, изъять из сценария эпизод, связанный с историей главного героя в 37-м году.

«Коммерческая жилка» все же один раз проявилась в муже. Пришел он домой и сказал: «Говорят, что грядет денежная реформа. Все вкладывают деньги, покупают дорогие вещи. Вот, я тебе купил, пусть будет на черный день». Так появилась в нашей семье первая и единственная драгоценность — золотая цепочка ценою в сто семь рублей...

Обладая редкостной неприхотливостью, Толя, по мнению многих, был щеголем. Но не за счет своего крайне скромного гардероба. Самые простые и недорогие вещи выглядели на нем красиво и нарядно. Одежду носил долго, расставался со старым костюмом или пальто (ратиновое пальто носил пятнадцать лет) неохотно. Зимних шапок за нашу совместную жизнь у него было две. Одна из шубки сына сшита, вторая — из моей старой шубы. Сейчас эту шапку носит старший сын. В нашей семье была любимая притча о трех стадиях отношений отца и сына. *Первая*: сын донашивает вещи отца; *вторая*: отец и сын носят одни

и те же вещи; и *третья*: отец донашивает вещи сына. Как-то собирались мы в театр, один из сыновей предложил: «Па, надень мою водолазку, тебе хорошо будет». Муж улыбнулся: «Счастливый я человек, дожил до «третьей стадии»!»

К этому вспомнился такой эпизод: досталась мужу куртка с плеча Алеши Германа (тому стала тесновата). Только что посмотрели мы его фильм «Операция «С Новым годом». Смотрели плохую копию, «подпольно». Стали его поклонниками. Сидели у нас дома вечером — мы с мужем и сыновьями и Герман с женой. Настроение паршивое, уже ясно было, что картина света не увидит. Утешали Алешу и Светлану, как могли. Провожая их, у вешалки муж сказал, тронув рукой бывшую Алешину куртку: «Алеша, помяните мое слово, эта куртка будет висеть в музее Искусств, а такой когда-нибудь создадут, и под ней — табличка: «Куртка знаменитого режиссера Алексея Германа». Посмеялись грустно этой шутке, а она оказалась провидческой. Кто теперь, спустя двадцать лет, более знаменит из мастеров кино, чем Алексей Герман?!

Юмор в семье нашей котировался очень высоко. Муж был блестящим рассказчиком, артистическим. Маленьким сыновьям, когда они болели, «под горчичники» рассказывал бесконечные смешные истории, героями которых были два персонажа — Уок и Бумба. Из комнаты слышались два голоса — гнусавый — Бумбы и пискливый — Уока. Дети терпели горчичники, кричали: «Не пора, не пора снимать! Рассказывай дальше!»

Но и мы дожили до времени, когда сыновья развлекали отца в мрачные периоды «не пишется» или когда он нездоров был. Разыгрывались маленькие спектакли, персонажей тоже было двое: мастеровые Фетис и Сысой. Оба шепелявые, «под мухой». Один из сыновей надевал на голову строительную каску, привезенную мужем из командировки, второй — тулуп. С героями был еще Колянычем, но он в диалоге не участвовал, будучи пьяным «в доску». На него мастеровые лишь ссылались, говоря, что: «Коляныч мастер хороший, ты, хозяин, не беспокойся. Коляныч, если подымется, всё сделает!» Дальше шла торговля о цене за предполагаемую работу. Узнав, что у хозяев не имеется «сжатого воздуха», герои набивали себе цену. Муж хохотал до слез. Кричал: «Негодяи, босяки, хватит, пощадите старого отца!..» Но «негодяи» не останавливались, сняв каску и тулуп, перевоплощались в

двух белогвардейских офицеров, которые грассируя рассуждали о революции, которая «Госсию погубит, стгиженых девок большевики будут в автомобилях катать, Когнилов Госсию пгопил» и так далее... Мало кто видел сдержанного, меланхоличного Аграновского хохочущим до слез.

В начале нашей жизни на Ломоносовском как-то незаметно появилась в доме гитара. Дешевая, купленная в магазине «Пионер» на Неглинной улице. Очень она украсила нашу жизнь. Муж был музыкален от природы, а играть профессионально так и не научился. Но для песен, которые он пел, достаточно было и тех «полутора» аккордов, которыми он аккомпанировал себе. Репертуар, поначалу неприхотливый, совершенствовался с годами. Через много лет появилась возможность купить настоящую, старинную гитару. Из «хорошего дома», в цыганской семье. Поехали мы с мужем и с его двоюродным братом, блестящим гитаристом и певцом, сватать эту гитару. Провели незабываемый вечер. Пел хозяин дома, старый цыган Маштаков, пела его жена, пела племянница Вари Паниной. Молчала одна гостья, иногда только поводила плечами и прищелкивала пальцами. «А Маша почему не поет?» — спросила я. «А-а-а, она не умеет. Она на русской работе — рентгенолог!..» — пренебрежительно ответил хозяин и улыбнулся, сверкнув золотым зубом. Гитару мы сторговали и привезли домой.

Постепенно репертуар мужа стал «классическим». Пел он Ахматову, Заболоцкого, Цветаеву, Пастернака, Олейникова, Мандельштама, Тарковского, Слуцкого, Самойлова, Межирова, Кедрина, Ольшевского. Последнее, что положил на музыку и пел он, были стихи Ваншенкина «Салют».

Тут стоит вспомнить давний эпизод: были мы в гостях у Светловых. Шумное застолье, народу много. Никто и не заметил, как исчезли из-за стола Михаил Аркадьевич и Аграновский. Через некоторое время явились довольные, улыбающиеся из кухни, где сочинили песню, которую Толя и исполнил тут же, к восторгу гостей. Сохранился у меня листок оберточной бумаги, на котором Светлов написал стихи. Привожу их здесь полностью, по подлиннику (вернее, подлинник я отдала семье М. А. Светлова, себе оставила копию):

Все хорошо, все живописно,
Все возбуждает аппетит,
Друг другу люди пишут письма,
Земля без адреса летит

Пусть будут пряники медовы,
А ты один, а ты ничей,
Живут планеты, словно вдовы,
Среди космических лучей.

Так будьте, граждане, потише,
Остановитесь у ворот,
Вот здесь живет Васильев Гриша,
Потом, состарившись, умрет.

И горя нет, и счастья нету,
Мы потеряли жизни нить,
Сто тысяч звезд и две кометы
Приходят Гришу хоронить.

А «гимном» нашей семьи и друзей наших была песня на стихи М. Соболя: «Все будет хорошо, зачем такие спешки. И будет шум и гам, и будут сны к деньгам, и дождички пойдут по четвергам...» Собирались у нас на дружеские вечера одни и те же друзья многие годы. За долгие эти годы не испытали мы разочарования в них, а они — в нас...

...И сейчас собираются у нас те же друзья, те же разговоры, единомыслие... И хозяин дома с нами, смотрит на нас ласково и печально, и гитара у него в руках. Это портрет Виктора Цигаля «Певец», написанный с А. Аграновского несколько лет назад.

Что он думает о нас? Доволен ли он нами?..

М. ГАЛЛАЙ

Смелость мысли

Рассказать об Анатолии Абрамовиче Аграновском оказалось для меня гораздо сложнее, чем я ожидал. Наверное, тут дело в том, что мы с ним более четверти века были близкими друзьями. Посмотреть на Толю Аграновского «со стороны» мне трудно. Конечно, я, как и все, видел и вижу в нем незаурядного писателя, выдающегося журналиста, признанного лидера нашей публицистики. Но прежде всего воспринимал его как личного друга. Соответственно и видел в нем прежде всего то, что изложить на бумаге невозможно... И тем не менее попытаюсь, в меру своих сил, сказать самое главное.

Мы встретились впервые в 1953 году. Мне позвонил незнакомый человек, представился журналистом Аграновским и сказал, что собирается писать книгу о летчиках-испытателях, в связи с чем и хочет поговорить со мной. Я, признаться, отнесся к намерениям Анатолия не очень серьезно: полагал, что вряд ли из этого что-либо получится, так как в те годы о нашей испытательской корпорации почти ничего не публиковалось. Но все же ответил, что буду рад помочь в таком хорошем деле при том, однако, обязательном условии, что получу прямое указание или, по крайней мере, разрешение начальства на беседу с журналистом. Разрешение я получил на следующий же день, но Толя потом в течение многих лет меня поддразнивал: «Первое, что я узнал о тебе,— что ты формалист...»

Придя ко мне домой, он начал с того, что рассказал о профессиональном совете своего отца — журналиста А. Д. Аграновского: если хочешь разговорить собеседника, то, прежде чем спрашивать, расскажи ему сам что-нибудь интересное. И, раскрыв таким образом свои карты, Анатолий тут же приступил к делу — стал рассказывать. Рассказывал действительно очень интересно и, главное, без намека на журналистские стандарты — так я впервые убедился в его прочной неприязни к ним. Говорил он о строительстве Волжской ГЭС, да и о многом другом,

что успел повидать в своей тогда еще не очень долгой жизни газетчика.

Стал, в свою очередь, рассказывать и я (рекомендация А. Д. Аграновского оказалась, таким образом, вполне эффективной). Кое-что из наших бесед он впоследствии использовал в своих произведениях. Но если я и сделал в своей жизни что-то по-настоящему полезное для вскоре ставшего моим другом человека, то прежде всего то, что ввел его в авиационную среду, познакомил с такими незаурядными в своем деле (да и не только в нем) людьми, как, например, летчик-испытатель Г. А. Седов или авиационный конструктор И. А. Эрлих.

В авиации Анатолия, что называется, «приняли». Наверное, сыграло в этом свою роль отчасти и то, что он сам был не чужд ей: учился в авиационной школе и даже получил специальность авиационного штурмана. Подействовало, конечно, и присущее ему личное обаяние. Но главное, я думаю, заключалось в том, что летчики сразу почувствовали: об их деле он собирается писать всерьез! Интересуется не только и не столько «острыми случаями» и «безвыходными положениями», сколько глубинной сутью испытательной работы, ответственностью этого занятия, тем, что оно — умное. «Глубоко копает!» — сказали вообще не очень щедрые на похвалу летчики.

Интересно и, наверное, не случайно, что многие люди, с которыми Толю сводили интересы журналиста, становились потом его личными друзьями. Таковы конструктор А. М. Исаев, врач С. Н. Федоров и другие. Так что я в этом смысле исключения собой не представляю.

Писал Толя медленно. Оно и неудивительно: глубокая вспашка требует времени. Причем время уходило у него, насколько я мог наблюдать, не только на чисто литературную отделку написанного (хотя и к этой стороне своей работы он не относился пренебрежительно), но прежде всего на оттачивание основной мысли, системы доказательств, на проверку и перепроверку своих выводов — почти всегда неожиданных, нестандартных, часто парадоксальных (само собой разумеющимися они становились с его легкой руки потом).

Широко известно его кредо: хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает. И он думал! Думал много, глубоко, я бы сказал — самоизнурительно. И любил, готовя очередной очерк, «обговорить» его содержание с друзьями. Причем если возникала при этом по-

лемика, радовался ей заметно больше, чем изъявлениям полного согласия. А если в ходе такого «обговаривания» рождалась какая-то новая мысль, новый подход к проблеме, тут уж его радости не было предела!

Могучей особенностью его мышления была полная независимость от установившихся, привычных понятий. Так сильно влияющее на психологию человеческую «все так думают» для него было пустым звуком. Во многом, на что мы взирали с удобных, привычных позиций, Толя вдруг (вернее, это нам так казалось, что вдруг) усматривал нечто новое. Настолько новое, что «старое» переворачивалось на 180 градусов — как говорится, с головы на ноги. И всем делалось ясно, что до этого — стояло на голове.

Был у Анатолия Аграновского такой цикл очерков: «Разная смелость». Это верно — смелость бывает разная. И, я думаю, едва ли не высшая ее форма — смелость мысли! Умение безбоязненно доводить свои размышления до конца, не пугаясь того, что они заводят куда-то «не туда» или приводят к тому, что «не полагается». Нет, такие тормоза на Толю не действовали. И эта — повторяю, высшая — смелость вознаграждалась теми самыми свежими, новыми, нестандартными результатами, о которых только что шла речь (хотя, конечно, не очень способствовала проходимости Толиных работ,— редкая из них двигалась к публикации по зеленой улице).

Можно привести множество примеров того, как он подходил с неожиданной — но, как выяснялось вскоре, единственно верной — стороны к нашим устоявшимся, казалось бы, незыблемым воззрениям.

Скажем, новая инициатива, новый почин — какие могут быть сомнения в том, что это всегда хорошо! Оказывается, нет, не всегда (очерк «Несостоявшийся почин», в рукописи называвшийся еще более хлестко: «Испорченный сюжет»).

Или — Доска почета! Ясное дело — на ней лучшие работники. Оказывается, так, но не совсем; для полноты картины полезно посмотреть еще и ведомость на зарплату (очерк «С чего начинается качество»).

Обслуживающие обслуживают — обслуживаемые обслуживаются. Вроде бы аксиома. Но Аграновский отыскивает официанта, который считает, что «все мы друг другу служим» (очерк «Человек из ресторана») — и уж такого ответа его собеседник, будьте покойны, мимо ушей не

пропустит («Тут я понял, что буду о нем писать...»).

Это все и есть — Анатолий Аграновский!

Кстати, о не пропущенных чутким ухом публициста и использованных им в своих произведениях высказываниях собеседников. Никогда не забывал он сослаться: «Как сказал один знакомый врач» (токарь, летчик, официант...). Вообще щепетилен был в высшей степени. И как профессионал, и в личном общении с людьми. Впрочем, сам Толя личных и профессиональных черт в человеке не разграничивал.

Если вспомнить совет его отца, с которого Толя начал наш первый, тогда еще чисто деловой разговор, то, я думаю, было в этом совете, кроме профессионально-журналистской стороны, еще нечто, очень хорошо ложившееся на Толин характер: он вообще больше любил отдавать, чем брать.

Остро было развито в нем чувство юмора. Правда, проявлялось это прежде всего в том, как он его воспринимал. Сам тем, что называется «острословом», не был. Острил сравнительно редко, но если уж острил, то снайперски точно. Но больше любил рассказать какую-нибудь по существу смешную историю, предоставив слушателям самим оценить ее в меру собственных возможностей.

Говорить предпочитал негромко. Может быть, потому, что и к его негромкому голосу всегда прислушивались. Добиваться внимания окружающих ему не приходилось. Так же негромко и пел под гитару,— но и тут ни одно его слово, ни единый нюанс не пропадали.

Свою очень четкую жизненную и гражданскую позицию Толя пропагандировал (если тут уместно это слово) прежде всего личным примером. Но, видимо, отдавая себе отчет в том, что этот метод эффективен преимущественно по отношению к тем, кто к такому примеру сам присматривается, иногда на сей счет недвусмысленно и четко высказывался, не считаясь, как говорится, ни с временем, ни с местом, ни с составом аудитории. Так, широкий резонанс получили его публичные высказывания о чести писателя и журналиста — высказывания, вызванные, как нетрудно догадаться, определенными отклонениями некоторых его коллег от требований чести. Тут тихий, сдержанный Аграновский выступал без обтекаемых формулировок — впрямую.

Тактичность и деликатность Толи иногда ставила его в трудное положение. Трудное, конечно, только для него —

другой человек на его месте в подобных ситуациях ни малейших переживаний, скорее всего, не испытал бы.

Когда возникла идея поставить по документальной повести Аграновского «Открытые глаза» художественный фильм, в котором бы актеры играли роли реально существующих людей, названных своими собственными именами, эти люди — в том числе и пишущий эти строки, воспротивились. И вот ко мне домой явилась уговаривать, как сейчас бы сказали, «представительная делегация»: режиссер-постановщик будущего фильма, главный оператор, оба соавтора сценария.

Уговаривали долго с кинематографической напористостью. Единственный из пришедших — Толя — молчал. И явно томился тем, что оказался как бы между молотом и наковальней. Поначалу он ничего неприемлемого в замысле постановочной группы не усматривал (иначе этого визита бы и не было). Но, столкнувшись с протестом «жертв» этой идеи, не возжелавших столь своеобразной рекламы, решительно отбросил все художественные соображения, которые в его глазах не шли в сравнение с нравственными, этическими.

Больше ни ко мне, ни к моим коллегам никто по этому поводу не обращался. «Тихий» Толя все дальнейшие дебаты на сей счет решительно пресек. Что далось ему, надо полагать, не без труда — разногласий между ним и другими создателями фильма и без того хватало. Хотел было я сказать что-то о присущей Толе Аграновскому высокой порядочности, но подумал: в странное время мы живем, если рассматриваем порядочность как особую заслугу, а не как норму поведения обычного, нормального человека...

Впрочем, Анатолий Аграновский не был обычным человеком.

На таких людях, как он, держится совесть общества.

Г. И. ИВАНОВ

*Из записной книжки**

Двухкомнатная квартира на третьем этаже. Обставлена в современном стиле. На стенах: Ван Гог, «Сеятель» — французская копия в простой рамке. Впечатляет. Прямо — абстрактная картина: деревья — сочный мазок, очень декоративна. Слева — портрет Хемингуэя. Замечательный портрет. С пленки, привезенной приятелем, корреспондентом, с Кубы. Сделан незадолго до смерти писателя. На столе, под лампой, Лис из белой пластмассы — очень симпатичный (в Ленинграде был осужден как абстракционистский выверт). Аграновский: «А ведь симпатичный Лис...» Я согласен. Из проволоки Аграновский сделал несколько изящных вещей: кенгуру-пепельница, ослик. Я стал рассматривать места спаек. Он заметил, улыбается: сделал все как следует, паял сам. За стеклом шкафа стоит негритянский ансамбль из яичных скорлупок, пробки и проволоки — «Джаз». Исключительно изящно. Очень много книг, самых разных. Стоит на полке «Всемирная история». В кухне висит акварель: группа детишек на прогулке, гуськом, впереди воспитательница. На полу в кабинете ковер немецкий, дымчатый с полосами. Окно открыто, в комнате свежо. Сели. Он в серой модной рубахе, брюки со строчкой. Положил коробку «Казбека». Лицо живое, умные черные глаза. Нос с характерной горбинкой. Лысоват, спокоен. На руке часы «Вымпел».

Я волновался. Сидим и смотрим друг на друга. Чувствуется, что он привык с людьми и не волнуется. Сначала по имени-отчеству. Я спросил: «Как съездили в командировку?» Он начал рассказывать: писать надо было о передовой женщине, идеально честном человеке. Встретился с ней — ничего похожего! Как писать?! В редакции ворчат и ругают. Женщина эта подняла ткачих выступить зачинателями соревнования за сверхплановые метры ткани в фонд космонавтов. Администрация поддержала робко,

---

* Из записей 1963 г. Публикуются в первоначальном виде, с небольшими сокращениями.

она написала в газету. Ткачихи считают, что она зарабатывает славу себе. В общем, задание редакции выполнить не удастся, сюжет испорчен, «героини» из нее не получается. «А как вы, Геннадий, как жизнь, работа?» Рассказал немного о себе. Ничего о работе. «Секрет?» Пока да. Общее чувство, что я ему был мало интересен.

Аграновский: М. Галлай сейчас не летает. Недоволен, что хотел вывести его под своим именем в фильме[1]. Он человек с юмором, говорит — одно дело в книге написать: Галлай принял душ, другое — показать: Галлай снимает трусы и лезет под душ. Микояну не понравился Главный конструктор в фильме. «Слушай,— с армянским акцентом,— разве я ходил когда-нибудь так?» — показал, засунув руки в карманы, походку Евстигнеева в роли Главного.

Рассказал, как мирился с Микояном после статьи нескольких Главных конструкторов по поводу книги А. Аграновского «Большой старт»[2]. В ней они обрушились на Болховитинова, благо что он был выведен под вымышленной фамилией Добросклонов. Суть: воевали на «Яках» и других самолетах, а такие, как Болховитинов, отвлекали средства. Яковлев — интересный, умный и противоречивый человек... Был вхож к Сталину. Многое повидал... Болховитинов — профессор, был преподавателем у Яковлева и Микояна в академии...

О чудаках. Такую тему Аграновский задумал отразить в книге. Чудак от науки, у которого ежегодно урезали ассигнования, оборудование, а он упрямо возился со своими идеями.

Иоффе тоже был чудак, да и Сеченов, Тамм, Харитон и другие. С Харитоном отдыхал на Рижском взморье. Очень он мне нравится, с юмором, исключительно интеллигентен. Игорь Евгеньевич Тамм — честнейший, кристально честный человек. Мягкий. Будет маяться, извиняться, однако в сугубо мягких выражениях скажет все, что он думает о бездарной работе. С Лаврентьевым разговор был очень интересным, он развивал закон Паркин-

---

[1] Фильм «Им покоряется небо» был снят по повести А. Аграновского «Открытые глаза» режиссером Т. М. Лиозновой в 1963 г.

[2] «Об одной повести. Письмо в редакцию». «Правда», 7 августа 1960 г. Письмо подписано В. С. Ильюшиным, А. И. Микояном, А. С. Яковлевым.

сона. Жена Гринчика[1] вышла замуж, дочь кончила медицинский институт, сына потом всем скопом устраивали в институт, в МАИ, парень способный, но не выдержал конкурса. Хлопотали Галлай, Микоян, Седов, Анохин. Я против протекций, но тут случай исключительный, подтверждающий правила. Фильм «Им покоряется небо» Гринчики смотрели — понравилось. На роль Колчина-Гринчика пригласили артиста из провинциального театра, на мой взгляд, удачно. Но режиссер настояла на Рыбникове — популярность и прочее. Я возражал, но — хозяин-барин. Для съемок нужна была машина «эмка». В Москве есть лишь одна, владелец давно сменил мотор, по приглашению студий приезжает и водит на съемках сам, никому не доверяет. С реквизитом этого плана катастрофически плохо — по всей стране искали МиГ-9, с трудом нашли, отремонтировали у Микояна, и летчик-испытатель делал на нем подлеты. С огромным трудом нашли «ишака»[2] — он не мог даже взлететь, только пробегал перед камерой. Форд — молодец, у него громадный музей автомобилей, от самого старого до самого нового. У нас же этого нет. Аэродромные съемки с самолетами на летном поле — макеты строили специально. Ревниво точно выверялись все сцены с МиГ-ом, как садится летчик в самолет, как вылезает. Тут консультанты поблажек не давали, дубль за дублем, пока точности не добьются. Лиознова режиссер крепкий, герасимовской школы, с актерами работать умеет. Обстоятельна, втолковывает внятно. Соавтор по сценарию — профессионал. Я думал, он за меня будет работать, а оказалось, что наоборот,— все пришлось самому. Не потому, что он не мог, но я хотел делать по повести. Может, тут и был главный просчет, у кино свои законы.

О Седове, Мосолове, Нефедове. Нефедов погиб, похоронен там же, где Гринчик,— на Новодевичьем. Мосолова после катастрофы еле выходили. Спасали на том же шведском аппарате — сердце-легкие, что спасали и Ландау. Нефедов жил еще три часа, может, и его спасли бы, будь тогда аппарат. Сейчас у Седова (летчик-испытатель, сейчас зам Микояна по летной части) дилемма — кого ставить на испытание машины. Проблема — летчики-испытатели с дипломом инженера.

---

[1] Гринчик А. Н. (1912—1946), летчик-испытатель. Испытывал первый советский реактивный истребитель МиГ-9, ряд самолетов на штопор. Герой повести А. Аграновского «Открытые глаза».

[2] Винтомоторный истребитель И-16.

Русский народный характер. Конек-Горбунок. Это глубоко философское определение русского характера. Старший сын пошел сторожить-спать, средний хоть и не спал, но и не сторожил, около ходил. А третий — дурак, то есть чудак, вот он-то и считал звезды, то есть дело делал. Горбом автор наделил Конька, отсюда — «горбить», трудиться «до горба». Эзопов язык.

Да, чудаки — великая сила. Вот вам еще о чудаках: была у меня беседа с одним высоким начальником о Люльке Архипе Михайловиче, человеке удивительном, я еще надеюсь написать о нем. Так вот начальство было недовольно моим повышенным интересом к этому «чудаку»: «Есть у него Звезда, портрет его висит в Третьяковке, а что он особенного сделал?» — «Ну как же, это ведь Люлька первый турбореактивный еще в 1947 году сотворил!» — «Об этом написано в энциклопедии, и хватит...» А человек Люлька обаятельнейший, войдет в историю этот «чудак». В повести мне пришлось назвать его фамилией Бульба, Прохор Бульба. «Большой старт» в свое время забили, ссылаясь на секретность. А на самом деле некоторых обидело, что в повести есть о консерваторах, в которых они узнали себя. Современные гоголевские городничие.

О Беке. Отличная вещь «Волоколамское шоссе». «Жизнь Бережкова» была написана им давно, но когда Микулин (любимец Сталина) прочел и ему не понравилось, положили в корзину.

О Викторе Некрасове. Чудесный человек, писатель талантливый. Сейчас в ужасном положении. Без собрания райком исключил его из партии, требовали раскаяния, он не «раскаялся». «В окопах Сталинграда» вещь сильная, первая правда о войне. Человек он мягкий, тихий и сильный.

Марлен Хуциев сделал удивительный фильм[1]. Переделывает уже третий раз. Фильм архипатриотичный. Сильная сцена, когда погибший отец разговаривает с сыном, они теперь ровесники.

Дудинцев живет в доме напротив. Фигура трагическая. Семья у него большая, много детей. После разгрома «Не хлебом единым» ничего не печатают, перебивается переводами. Вот такое у нас «хозяйское» отноше-

---

[1] «Мне двадцать лет» (1965, специальный приз Мкф в Венеции и другие призы).

ние к таланту, истинным ценностям государственным.

Нет, должностей я никогда не занимал, предлагали мне членом редколлегии в толстом журнале, не пошел. Зачем, я могу еще писать...

О Шолохове. Бесспорно талантлив. Не знал, куда деть своих героев в «Поднятой целине», пришлось всех ухлопать, дальше ведь 37-й год...

Бакланов, Бондарев, Тендряков, Винокуров — прошли войну. Отсюда такая сильная военная литература.

О Минфине. Организация угодников. Никто никогда не критиковал. Огромный распыл средств — строят 150 заводов, строят годами, а средств на 100 заводов. Формула — можно и нужно. Одной рукой дают заем через Совмин, другой забирают. Так было с законом об обложениях. Нарушается основной принцип материальной заинтересованности. Вообще поразительно много дураков в общественных органах. Людей талантливых, честных туда не пускают, на их фоне слишком уж видна серость «руководящих».

О «Современнике». Говоря о том, что театр все-таки устоял, несколько раз повторил иронически фразу: «Котят надо топить, пока слепые». Как появились картины «Летят журавли», «Иваново детство», «9 дней одного года»? Исключительно по недосмотру вышестоящих организаций. Проглядели. В Ленинграде «Журавлей» забили, в Москве проскочили. Так и «Современник», мытарили их, помещения не было. И все-таки прозевали — они завоевали зрителя, попасть на них невозможно. Там сконцентрировалась талантливая театральная молодежь, зарплата мизерная, энтузиазм огромный. Володинские пьесы по праву назовут чеховскими 60-х годов. Симонов специально для них написал пьесу «Четвертый» — никуда не отдал, хотя и просили другие театры. Страшная вещь «Без креста» Тендрякова.

О выставке в Манеже. Очень много талантливых вещей. Есть на мой взгляд слабые. Очень нравится Николай Андронов. Я люблю Ван Гога, Андронов, мне кажется, всех к нему ближе. Разгром выставки — позор для страны. Как будто можно руководить искусством, литературой, музыкой. Все это уже было и ничему «руководящих» не научило.

О книге «Три Дюма». Замечательная книга, жизнь самих Дюма — это самый интересный роман. Сейчас читаю особенно много, не пишется самому.

Рассказал о немце, единственном свидетеле, видевшем театр Шекспира.

10 вечера. Хозяин зевнул, прикрыв рот рукой. Надо уходить. Жена Галя. Блондинка. Дети — Алеша в 4-м классе, младший, Антон, в 1-м. Антон весь в зеленке, Галя говорит улыбаясь, что это не заразно. Извиняется, что прочла мое письмо Анатолию Абр., пока он был в командировке. Я застеснялся: говорю, написал, а потом жалел, слабость проявил, но уж очень хотелось написать. Она говорит: ну и правильно, люди должны общаться. Угощали колбасой сухой, домашним печеньем. Мне Галя приготовила кофе, не спал потом полночи.

Уже в прихожей Анатолий Абр. рассказал, что старший сын придумал в школе к сочинению эпиграф: «Один за всех, все за одного». Д'Артаньян». Пришлось по требованию учительницы переписать на «Учиться, учиться и учиться» В. Ленин». И еще: за границей Анатолий Абр. был во многих странах. Нет, не писал об этом никогда: «Джамбул из меня не получится — что вижу, то пою».

Попрощались. Может быть, мне показалось, но я не был ему интересен. Хотя пригласил еще, просил писать. Он вообще прост без наигрыша. Я пробыл у них с 5 до 10 вечера.

В. БЕЛИКОВ

Авиаконструктора приглашают на борт

Солнечным апрельским утром 1973 года черная «Волга» Генерального авиаконструктора Алексея Андреевича Туполева везла на подмосковный аэродром двух корреспондентов «Известий». По личному приглашению создателя «Ту-144» Анатолий Абрамович Аграновский должен был принять участие в одном из испытательных полетов первого сверхзвукового пассажирского самолета. Его спутником в этом рейсе довелось оказаться мне.

Припомните ажиотаж, царивший вокруг рождения этого лайнера, жесточайшую конкуренцию среди газетчиков, добивавшихся возможности раньше других «сходить за два звука»,— и вы по достоинству оцените настойчивую решительность Анатолия Абрамовича, проявленную в телефонном разговоре с Генеральным:

— Благодарю за приглашение, но нас будет двое!

— Но мы рассчитывали только...

— Двое, двое,— твердо повторил Аграновский и добавил уже с улыбкой:— Я же не умею фотографировать!

— Ах, да, конечно! — раздалось в трубке.— Куда за вами приехать?

По дороге А. А. Туполев, сидевший впереди рядом с водителем, был подвергнут чуть ли не допросу с пристрастием о перспективах использования «Ту-144».

Материал появился в нашей газете в первые дни января 1969 года, теперь же стояла весна 73-го, а до регулярных рейсов, судя по всему, куда как далеко. Почему, допытывался Аграновский, задерживается выход «Ту-144» на трассы, все время откладывается начало его регулярной эксплуатации?

В конце разговора было все-таки произнесено ключевое слово — «экономичность». Да, получена фантастическая для гражданской авиации скорость, создан необходимый комфорт авиапутешественникам на борту, обеспечена требуемая безопасность. Но какой неимоверно дорогой ценой давалось все это!

— Наверное, нужно строить новый самолет,— невесе-

ло подытожил Анатолий Абрамович и спрятал блокнот.

Машина остановилась у ворот, ведущих на летное поле. Из караулки вышел молодой солдат, козырнув, взял алую сафьяновую книжечку из рук авиаконструктора, потом проверил мое удостоверение. Настала очередь третьего пассажира «Волги» предъявить документ, как вдруг Туполев произнес:

— А это — Аграновский!

Часовой внимательно посмотрел в глубь машины и совсем не по-уставному сказал, отдавая честь:

— Здравия желаю, Анатолий Абрамович! Рад вас видеть у нас снова!

Мы были поражены, и больше всех Туполев: «В лицо помнит — вот это популярность!» Ворота широко распахнулись, и мы помчались по бетонному полю к остроносой металлической птице на высоких тонких ногах.

Экипаж уже ждал, стоя у крутого, почти отвесного трапа, по которому нужно было подняться к входному люку на 7-метровой высоте. Как радушный хозяин, Генеральный авиаконструктор предложил нам, гостям, пройти первыми.

— Нет уж, Алексей Андреевич, только после вас,— Аграновский мягко, но настойчиво взял под руку Туполева и подвел к трапу, пресекая возможную попытку Генерального в последнюю секунду сесть назад в «Волгу», а не в самолет. Отрезая все пути к отступлению, я с громоздким кофром, набитым фотоаппаратурой, замыкал это «восшествие» на борт. Посмеиваясь, за нами поднялись летчики.

Спустя два часа, слетав за Урал и обратно, мы передали по телефону репортаж, в котором приводились слова А. А. Туполева: «Должен признаться, что и для меня этот полет был первым на борту сверхзвукового лайнера...» Аграновский с видимым удовольствием продиктовал эти строки прямо из своего блокнота.

И. А. ЭРЛИХ

«Незаменимые — есть»

С Анатолием Абрамовичем Аграновским меня связывала тридцатилетняя дружба. Мы с ним одногодки. Я его звал Толя, он меня — как зовут мои самые близкие. Были на «вы». Встречались нечасто, так складывалась жизнь, но неизменно к взаимному удовольствию и удовлетворению.

Мне очень нравились Толя и Галя, его жена, практически всегда я видел их вместе. Нравилось смотреть на них. Оба были от природы красивы и обаятельны во все годы нашего знакомства. Оба любили и умели красиво одеваться, «недорого и со вкусом», «все к лицу, все к месту». Галя — живая, остроумная и неутомимая — казалась лидером в паре, Толя — флегматичный, внимательный и смешливый. Им было хорошо друг с другом — это виделось «невооруженным глазом».

Оба они были прекрасными рассказчиками, но больше всего удавались им рассказы вместе, когда они, перебивая временами друг друга, дополняли рассказ подробностями, деталями и шутками. Это было великолепное творчество, которое ни повторить, ни восстановить уже нельзя... Постепенно в их рассказах все большее место стали занимать сыновья — они их звали Алешка и Антошка. Но тенденции «наши наикращие» в этих рассказах не было.

При всей слитности Толи и Гали, они с начала и до конца оставались самостоятельными людьми. Их мнения, симпатии и, соответственно, действия не всегда сходились. Но, думаю, это им нисколько не мешало.

Читателям А. А. Аграновского я стал незаметно для себя. Подобно многим, путал его с отцом, которого читал и ценил еще до войны. Потом научился различать их, отдавая должное таланту каждого. Потом остался один журналист А. Аграновский.

Появления его работ в «Известиях» были для меня событиями. Интригующий заголовок на третьей (чаще

всего) странице газеты и слова под ним привычным шрифтом: помельче — «Анатолий», покрупнее — «Аграновский» — рождали радость предстоящего чтения.

Его работы читались легко. Складность текста создавала ощущение праздника. Ровный, спокойный, казалось, безучастный тон рассказа подчеркивал значительность мыслей и чувств. (Мне вспоминалась точно подмеченная А. А. Фадеевым манера игры на музыкальных инструментах, распространенная среди русских мастеровых, «при которой вся поза и особенно лицо исполнителя выражают полную безучастность к тому, что происходит... а руки его сами собой выделывают такое...».)

Нередко мысли и чувства автора и найденные им слова образовывали удивительный сплав — великолепные образцы русской прозы. Особенно удивительные и уникальные тем, что говорилось в них о трудных для живого языка, таких «шершавых» материалах, как политика, техника, экономика... Вот, например:

> «На фронтоне здания Братской ГЭС впечатано по камню: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Надпись растянулась на полкилометра, буквы убегают, сокращаясь в перспективе. С одного берега видно только первое слово, с другого — только последнее, а такого места, откуда можно было бы охватить взглядом всю строку, нет. Но это не беда: мы знаем ее наизусть. Вот только не все ее понимают как надо. Иные будто и смотрят с одного берега весь свой век.
>
> У Ленина в этой формуле каждое слово на месте. У Ленина от перемены мест слагаемых сумма бы изменилась. У него к Советской власти прибавляется электрификация, а не к электрификации — Советская власть. Значит, поворот в сознании миллионов куда важнее, чем само по себе наращивание киловатт-часов. И Советская власть есть, по Ленину, наиболее полное, наиболее последовательное осуществление демократии, то есть невиданный размах инициативы народа. И электрификация всей страны, по Ленину,— это не одни генераторы и турбины, но и конец деревенской темноты, и смычка города с деревней, и раскрепощение женщины, и всеобщая образованность... Все части знаменитой форму-

лы насыщены у основателя нашего государства инициативой масс — той самой, которую он в «Великом почине» назвал геройской.

Инициатива у нас обязательна...»

Какому бы виду деятельности ни принадлежала бы творческая работа, в ней всегда незримо присутствует ее автор, на ней — отпечаток его личности, как бы ни старался он замаскировать свое присутствие, представить отстраненно от себя продукт своего творчества. Поэтому встреча с творческой работой — это всегда встреча с ее автором. И наша оценка работы определяется не только восприятием самой работы, но и тем, насколько привлекательна для нас открывшаяся в работе личность автора.

В своих работах А. А. Аграновский представал перед читателями прежде всего самостоятельным человеком, во всей красоте традиционного русского понимания этого определения. У самостоятельного человека есть твердые принципиальные убеждения, он ничего не берет на веру, он сам, силой своего разума, а не под чьим-то влиянием или принуждением вырабатывает свои мысли, свое отношение к действительности, к людям. Он способен постоять за свои убеждения и мысли, отнестись с уважением к взглядам и мыслям других и поменять свои — под влиянием убедительных доводов или самой жизни.

Как удавалось А. А. Аграновскому передавать читателю понимание уважения к его читательским взглядам и мыслям, хотя об этом у него нигде не сказано ни единого слова? Думаю, стремлением обеспечить читателя информацией, необходимой для размышлений, параллельными с ним размышлениями и полным отсутствием в его работах наставлений и поучений, а также какого-либо давления на читателя. Тем более такого, как утверждения «все честные люди убеждены...» или «ни один русский человек не согласится...».

Такие ставшие одно время расхожими и не до конца еще изжитые приемы всегда вызывают внутреннее сопротивление читателя, на которого оказывается давление, даже при его согласии с автором по существу. Вряд ли какому-либо автору может принадлежать право зачислять читателя в ряды людей нечестных или нерусских за то, что тот думает несколько иначе, чем автор.

Самостоятельность А. А. Аграновского в его работах привлекательно дополнялась его заботливым патриотиз-

мом, органическим интернационализмом, убежденной коммунистичностью и щедрой доброжелательностью. Они проявлялись во всех его работах, но он целомудренно никогда не говорил о них, отчего они виделись еще более привлекательными.

И еще были — обаяние автора, сдержанная улыбка, легкая ирония, деловитость, неназойливость.

И, наконец, все эти качества, надлежащим образом сдозированные, объединялись, синтезировались в привлекательный неповторимый профессиональный облик А. А. Аграновского.

Его работы обогащали новой информацией, приносили радость совместного творчества, побуждали к активным размышлениям, укрепляли уверенность, что стоит жить и работать стоит.

«Человек интересен для нас прежде всего в главном деле своей жизни». Эту строгую формулу Анатолий Абрамович Аграновский очень любил — с небольшими вариациями она встречается в нескольких его работах. Мог ли он не примерить ее к себе?

Как известно, дела писателя суть слова его. Словами он воздействует на умы и сердца людей, на их отношение к действительности. И если содержащиеся в этих словах мысли, идеи овладевают сознанием масс, они становятся материальной силой, способной преобразовать и преобразующей саму действительность.

Но для того, чтобы мысли оказались такими, в них должны угадываться направления объективного общественного развития. Понятно, что не часто удается писателям находить, вырабатывать, формулировать такие мысли. А. А. Аграновскому это удавалось. И не только в тех многих частных случаях, о которых рассказывали в свое время газетные «по следам выступлений» и авторские сноски в его книгах. Но и в общем: в сегодняшней программе грандиозной перестройки нашего общества встречается целый ряд мыслей из работ, написанных им за почти сорок лет литературного труда,— от необходимости интенсификации развития нашего народного хозяйства и интеграции усилий социалистических стран до повышения внимания к людям, делающим дело, к их заботам и надеждам, к их мастерству, до необходимости гласности в нашей жизни.

Гласности, может быть, самому важному инструменту

начатой перестройки, развитию демократизма, истинному уважению к людям, выполнению требования Ленина «делать все на виду у масс» посвящена совсем небольшая по размерам, одна из лучших его работ — «Пустырь», написанная двадцать лет назад. Звучит же она так, как будто написана только сегодня.

В нашем народе достаточно самоуважения. Он любит настоящую работу. Надо только, чтобы труд, на который его зовут, был действительно плодотворным, совершался «для дела», а не для галочки, «для плана», когда сделанное может оказаться ненужным или негодным. И еще — чтобы его, как это сказать получше, не обманывали, что ли, подводя итоги работы, чтобы все было по справедливости — «каждому по труду».

Сегодняшняя перестройка подает долгожданные надежды деловитости и справедливости. Поэтому она набирает и неотвратимо будет набирать все большую силу, вовлекая в ряды своих активных сторонников и проводников все большие массы трудящихся, преодолевая инерцию мышления, сопротивление устоявшихся порядков, помехи профессиональной непригодности и тоску по недавним нетрудовым радостям.

Выработанная партией программа перестройки представляет собой результат коллективного творческого синтеза марксистской идеологии, современных передовых общественных стремлений и достижений многих областей науки. Поэтому тот факт, что целый ряд мыслей А. А. Аграновского прямо или косвенно нашел в ней свое место, оказался подходящим ей, свидетельствует о том, как тщательно и проникновенно изучал он дело, о котором писал, о глубине его мышления, о его любви к нашей стране и уважении к ее общественному строю.

Этот факт является самой высокой объективной оценкой главного дела его жизни,— известно, что мысль он считал основой современной художественной публицистики. Самой высокой, какую только можно дать сегодня,— до оценки по конечному результату. Тогда, я надеюсь, она станет еще более высокой.

Из общений с Толей мне больше всего запомнились наши разговоры наедине. Происходили они по-разному: среди большой и шумной компании, или в тиши удобного кабинета, или на площадке лестничной клетки во время

перекура, который в таких случаях затягивался надолго.

— Я давно хотел спросить вас,— начинал он,— как вы относитесь к такому-то вопросу? — И было ясно, что это не импровизация, действительно давно хотел спросить, и именно меня.

Праздный разговор превращался в серьезную работу, которую он любил,— черные глаза его излучали тепло и ласку. В руках у него — неизменная папироса, карандаш и коробка «Казбека» для пометок.

Интересовали его вопросы, по большей части относящиеся к будущим работам. Иногда — к ближайшей, до появления которой в «Известиях» оставалось меньше месяца. Иногда — к дальней, которой, как становилось ясно потом, ждать следовало своего срока еще года три.

Во время таких разговоров, а вел он их, конечно, не только со мной, он решал несколько задач.

Случай позволил мне понять, пожалуй, важнейшую из них.

Однажды мы с Толей и двумя нашими друзьями по велению старой дружбы оказались в новом для нас доме в сложной житейской обстановке. Застолье поначалу не складывалось. Всем было неловко, особенно Толе. Надо было неловкость снять, и один из наших друзей произнес небольшую откровенную речь, как показало дальнейшее развитие событий,— удачную.

Когда мы поздним вечером шли по домам, Толя был возбужден немного, как человек, покончивший с трудным делом, рассказывал какие-то веселые истории, шутил.

При расставании у станции метро он взял нашего оратора за руку и, глядя ему в глаза, сказал неторопливо и проникновенно:

— Спасибо вам. Вы большой молодец. Вы сегодня точно и хорошо сказали то, что мы все хотели бы сказать.

Из-за этих слов запомнился мне тот вечер. Я понял, что чеканная форма похвалы не могла родиться из-за небольшой, пусть удачной, речи. Вернее всего, это было у него для себя: сказать точно и хорошо то, что нам всем хотелось бы сказать. Или казалось бы, что хотелось, после того как мы услышали или прочитали сказанное им.

Другая задача, которую он решал в своих разговорах с разными, казавшимися ему подходящими собеседниками, заключалась, по-видимому, в стремлении обогатить свой личный жизненный опыт коллективным, добавить к своим мыслям мысли своих собеседников. Думаю, что

это разумный и достойный путь обогащения не только литературных, но и всяких других работ, если при этом от собеседника не скрываются планы дальнейшего использования его мыслей. Толя не только всегда это правило выполнял, но и помнил, откуда те или иные мысли взялись, старался указать их источники. Например, на одной из книг, подаренной им своим друзьям, он написал: «...с благодарностью за некоторые мысли, которые есть в этой книге...» Этим, кстати сказать, он выгодно отличался от некоторых своих коллег, которые быстро забывают обстоятельства рождения таких мыслей. Расскажешь что-нибудь такому «собирателю пыльцы», а через неделю он выдаст это тебе как результат собственных размышлений. Бог с ними, с мыслями, понимаешь, что они «прижились», но ощущение недобросовестности все же возникает.

Вообще говоря, он к мыслям относился заботливо и любовно. Известно его высказывание: «...без мысли глубокой, умной, желательно свежей, современного очерка попросту нет». Если же мысль есть, можно позаботиться об остальном. Как заметил А. Дюма, никакие наряды и украшения не могут сделать дурнушку хорошенькой, но могут сделать хорошенькую женщину прекрасной.

Еще одна его задача заключалась в получении разъяснений по каким-то важным для него техническим вопросам, которые он всегда излагал с завидной ясностью: он умел формулировать то, что ему непонятно, как хороший исследователь или конструктор.

Я, естественно, думал, старался, отвечал. И вот что необычно: он во всех случаях точно следовал моим советам по таким вопросам. Должно быть, не считал возможным прибегать к «заочному голосованию нескольких экспертов». (Есть такой способ выявления истины — опрашивается несколько специалистов, и мнение большинства из них принимается за истину.) Понятно, что вследствие этого с особенным чувством ответственности отвечал на его вопросы.

Задавал он иногда мне вопросы не технические. Тут реакции на мои ответы бывали разными.

Например, однажды Толя начал писать очерк о новом самолете и собирался слетать на нем в качестве служебного пассажира.

— Не надо бы этого делать,— сказал я ему.— Самолет сложный, сырой. Его испытания и доводка только начались. Не исключены происшествия.

— А как же на нем летают испытатели-летчики, штурманы, инженеры? — спросил Толя.

— У них профессия такая,— ответил я.

— У меня тоже профессия такая,— возразил он.

И слетал. И был по-своему прав: если пишешь о самолете, то, конечно, надо посмотреть его в деле. Впрочем, и я был прав: писать об этом самолете было еще рано.

Иногда мы по его инициативе обсуждали его работы, в том числе уже опубликованные. Он умел обсуждать их весело и отважно, не мрачнеть от критики его любимых мыслей и точек зрения.

При обсуждении различных вопросов Толя проявлял научный подход к ним, то есть верность трем принципам: первому — готовности пересмотреть любое из своих представлений, второму — изменению этих представлений, когда имеются достаточные основания для их изменений, и, наконец, третьему — сохранению представлений неизменными, если достаточных оснований для их изменений нет. Эти принципы кажутся очень простыми, но, как отметил венгерский математик Д. Пойа, необходимы необычайные моральные достоинства, чтобы придерживаться их,— мужество ума, чтобы суметь бросить вызов устоявшимся предрассудкам и собственным заблуждениям, честность ума, чтобы признать свои собственные, иногда любимые, представления негодными, и мудрая сдержанность, чтобы не делать этого ради моды или под влиянием каких-то случайных импульсов. Толя в полной мере обладал этими достоинствами ученого, хотя порой, как и все мы, не без труда преодолевал противоречие между честностью ума и мудрой сдержанностью. Для его преодоления необходимо установить достаточность имеющихся оснований для пересмотра представления, что не всегда просто сделать.

По этой причине и многим другим — у нас были разными жизненный опыт, образование, профессии, окружения, интересы, ритм жизни — мы, несмотря на обоюдное стремление прийти к одинаковым представлениям, в некоторых случаях не справлялись с этой задачей, оставляя достижение соглашения на будущее. И достигали в конце концов. Но несколько вопросов у нас так и осталось незакрытыми. А теперь уже их не закроешь...

Наши разговоры имели по большей части рабочий для него уклон. Но они были интересны для меня не меньше,

чем для него,— я узнавал много нового и с удовольствием следил за движением его мыслей.

А вообще-то мы говорили с ним на самые разные темы. Был он человечен и откровенен, совершенно лишен ханжества.

Был, например, такой у нас разговор, кажется, в начале нашего знакомства.

Как-то совершил я бестактность: немного навеселе позвонил человеку старше меня,— хотел похвалить его прекрасную работу. Он мне ничего не сказал, но я понял: обиделся, что позволил себе позвонить ему навеселе. На душе было скверно,— обидел хорошего человека, лишился его расположения.

И тут встретил Толю и в разговоре рассказал ему о происшедшем.

— Считайте, что это так получилось,— великодушно сказал он.— У каждого из нас не одно, так другое иногда получается нескладно. Бывает, скажешь или сделаешь что-нибудь не так — стыдно. Ночью заснуть не можешь. Лежишь, думаешь и — сучишь ногами по простыне, как младенец. Постарайтесь забыть об этом.

После таких слов разве забудешь?

Тем более что Толино поведение всегда было, по-моему, безукоризненно корректным. Но ведь самооценку человека определяет уровень его требований к самому себе.

В начале шестидесятых годов я читал только что опубликованный роман Григория Яковлевича Бакланова «Июль 1941 года». В нем, среди другого,— о репрессиях тридцать седьмого года.

В тридцать седьмом мне было пятнадцать лет. Мы жили в Москве в большом военном доме, он назывался «дом начсостава». Это было тревожное время. По ночам в нашем доме, как и во всем городе, шли аресты. Конечно, не каждую ночь, но достаточно часто. Среди арестованных было немало родителей моих друзей, одноклассников, просто сверстников. Суровые, трагические удары пришлось пережить этим девушкам и юношам, любившим и уважавшим своих родителей, гордившимся ими. Суровые, трагические и, как потом выяснилось,— несправедливые.

Понятно, что, читая баклановский роман, я до боли был взволнован судьбой семьи Емельяновых. А когда после самоубийства отца и ареста матери старший из

братьев, сам еще мальчик, сказал младшему: «Ничего, вот я на завод поступлю...» — дальше читать не смог,— не было сил. И не скоро сумел дочитать...

При встрече рассказал Толе про «ничего, вот я на завод поступлю». Он как-то странно посмотрел на меня и спросил:

— Вас это тоже зацепило?

— Да нет, нашу семью это миновало,— ответил я, понимая, о чем он спрашивает.— Как писали в анкетах того времени, ни я, ни мои ближайшие родственники под судом и следствием не состояли и административным наказаниям не подвергались. И все же хоть не прямо, а зацепило... Тревогами за близких, болью за друзей.

Он тоже понял меня и сказал:

— А знаете, Грише Бакланову про «ничего, я на завод поступлю» я рассказал...

Прошло время, и я увидел у Аграновских книгу Г. Бакланова «Июль 41-го года» с такой дарственной надписью: «Галочке и Толе, не пожалевшим для этой книги куска своей биографии — прожитой жизни, которую неизмеримо трудней было прожить, чем написать о ней. Спасибо вам, дорогие ребята»

Так я узнал, что в тридцать седьмом году у Толи были арестованы отец и затем мать и стали они с семилетним братом на долгие годы детьми репрессированных с вытекающими из этого последствиями. Благодаря счастливому случаю, Толиной решительности и больше всего — самоотверженности и мужеству их тетки, мальчикам удалось избежать детского дома, но остального они хватили в полной мере. Через десять лет родители были выпущены на свободу и впоследствии реабилитированы.

Оказалось, что в том же 37-м был репрессирован Федор Георгиевич Каманин, писатель, отец Гали. Впоследствии — тоже реабилитирован.

Конечно, пора бы нашей исторической науке подвергнуть все происшедшее тогда серьезному марксистскому анализу. Но сейчас я хочу сказать не о самих репрессиях, а о таких, как Толя,— старших детях в семьях репрессированных — девушках и юношах нашего поколения.

Можно сказать, что наше поколение было рождено Великой революцией. Оно появилось на свет в двадцатом — двадцать третьем годах, когда активные участники революции и гражданской войны перешли к мирной жизни, начали строить семьи и думать о личном будущем.

Мы впитывали верность идеалам революции, как говорится, вместе с молоком матерей, делили весь мир на своих и чужих — красных и белых. Заучивали стихи о Ленине, преданно любили Красную Армию с лучшей в мире конницей Буденного, росли вместе с пятилетками, с гордостью носили пионерские галстуки, восхищались спасением челюскинцев, завоеванием Арктики и подвигами героев-летчиков, пели советские песни, ненавидели фашизм, мечтали о боях в Испании, верили в наше — самое счастливое — детство и знали, что в московском Кремле живет и работает товарищ Сталин, который думает и заботится о нас.

Так нас учили в школах, в газетах, по радио. Так верили во многих семьях, в одних — меньше, в других — больше. Я хорошо помню, как мои сверстники, приезжавшие в те годы из других городов, торопились на Красную площадь посмотреть Мавзолей и Кремль, «где работает товарищ Сталин». В нашем доме начсостава все праздничные застолья начинались с тоста: «За товарища Сталина!» (Впоследствии мы узнали, что оклеветанный в те годы один из крупнейших военачальников, И. Э. Якир, во время расстрела крикнул: «Да здравствует товарищ Сталин!»)

Все мы свято верили в целесообразность нашего, советского порядка жизни и справедливость нашей родной Советской власти. Мы гордились нашими отцами, отстоявшими эту власть в грозных боях гражданской войны. Мы видели, как самоотверженно они строят социализм, забывая все ради работы, ради дела, как они честны и бескорыстны. Мы знали, что их общий труд дает свои результаты, что наша страна стала страной индустриальной, с мощным коллективным сельским хозяйством, без нищеты и безработицы, что теперь мы можем не бояться войны, что жить мы стали лучше: карточки отменены, магазины и рынки по всей стране полны продуктов и цены на них невысокие, что построено в Москве лучшее в мире метро, что строится много жилых домов... Мы читали в газетах, что на последнем съезде партии — съезде победителей «выявлена... необычайная идейно-политическая и организационная сплоченность рядов нашей партии». Мы хотели быть такими, как наши отцы.

Такими мы входили в тридцать седьмой год, наивными и доверчивыми, верящими и верными.

Арестам предшествовал ряд самоубийств. Тогда никто

не сомневался — самоубийств. Сообщали: «Запутавшись в антисоветских связях...» Говорили: «Кто бы мог подумать? Зря себе смертный приговор не вынесешь. Значит, виноват...»

Потом начались аресты. Говорили, что такой-то при аресте сказал жене и детям: «Это — ошибка. Не беспокойтесь. Я ни в чем не виноват,— разберутся. Скоро вернусь...» Говорили: «Они все так говорят. (Они действительно почти все так говорили.) Зря не посадят. Значит, есть за что. Значит, виноват. Как те, которые самоубийством...»

Жена и дети верили: «Он ни в чем не виноват,— разберутся. Скоро вернется». Они обивали пороги приемных, искали помощи у друзей, писали заявления и письма в инстанции, а то и самому товарищу Сталину. Все безуспешно.

Тем временем рушился привычный уклад домашней жизни, без отцовской зарплаты подбиралась бедность, а сами они становились в общественном сознании «семьей врага народа». Их сторонились соседи, избегали знакомые, нигде не брали на работу, доброжелательно советовали отречься от отца — легче будет.

Они не позволяли себе падать духом, держались. Иногда в семье появлялся еще один арестованный — мать, и жизнь становилась еще сложнее.

Но, так или иначе развивались события, неизбежно наступал момент, когда становилось понятно: отец вернется не скоро или не вернется совсем. Совсем...

Безмерна боль неестественной потери дорогого, близкого человека, друга, учителя... Тем более — несправедливой.

«Не скоро» еще оставляло какую-то надежду, но десять лет казались бесконечным сроком в неустойчивом мире того беспокойного времени. Да и откуда взять уверенность, что все кончится этими десятью годами?

Если мать тоже оказывалась репрессированной, боль приходила дважды, как говорили в детстве, «и за папу, и за маму», вместе с тревогой за младших сестренок и братишек.

Старшим — моим сверстникам — было тогда четырнадцать — семнадцать лет.

Человек ко многому может приспособиться.

Боль понемногу уходила в память, с тем чтобы время от времени возвращаться ударами воспоминаний. Как-то

устраивалась повседневная жизнь — трудная, голодная, полуодетая, неуверенная, пугливая. Помогали родственники и друзья родителей. Друзья-сверстники дарили сердечность и такт,— никогда ни о чем не вспоминали, как будто ничего и не было. Пришла первая любовь с ее радостями и печалями. После провозглашения гуманной формулы «Дети за родителей не отвечают» полегчало в отношениях с окружающими в школе и в доме, стали брать на работу.

И непрерывно, с того самого рокового мгновения, когда ночью раздался бесцеремонный и требовательный звонок в дверь их квартиры, напряженно работало сознание, пытаясь разобраться в происшедшем, найти выход из мучительных противоречий.

Мой сверстник не знал, в чем конкретно обвиняют его отца,— в то время считалось излишним информировать семью об этом. Но из газет, из радиопередач он знал, в чем обвиняют других репрессированных,— во вредительстве, в шпионаже, в заговорах с целью убить товарища Сталина, в антисоветской агитации.

Внимательно вспоминал мой сверстник все дни своей в общем-то не такой уж долгой жизни, которые были прожиты с отцом и матерью до их арестов. Придирчиво проверял слова и дела родителей — не было ли в них чего-то такого, чего он не заметил раньше, что позволило бы ему хоть чуть-чуть усомниться в их честности и чистоте, что подтвердило бы хоть самую малость возможности тяжких обвинений. Проверял, искал и не находил.

С каждым днем укреплялась его уверенность в невиновности отца и матери. Теперь ее подтверждали не только его любовь и уважение к ним, но и спокойные, выверенные доводы разума. Эта уверенность ничего не могла изменить ни в его судьбе, ни в судьбе его родителей. Но она позволяла ему поднять голову и прямо смотреть людям в глаза. Да, на его семью обрушилась неизвестно откуда взявшаяся беда, но сама-то семья в этом не виновата.

Однако его отца признал виновным и осудил советский суд. Осудил невинного человека. Как это совместить с представлением о том, что Советская власть — самая справедливая? Но мой сверстник не мог допустить мысли о несправедливости Советской власти. Для него это было бы таким же предательством отца, как и бездоказательное признание того виноватым на основе чьего-то осуждения.

Таким его воспитал отец, положивший лучшие годы своей жизни на создание, защиту и упрочение этой власти.

И рождались для снятия мучительного противоречия предположения, что в органы безопасности в прокуратуру, в суд пробрались враги, которые... (Предположения — на уровне тех, что изначально породили сами репрессии.)

Жизнь продолжала свое движение. Мой сверстник оканчивал школу, шел на завод или поступал в институт. Конечно, не в престижный, по понятиям того времени,— авиационный, машиностроительный, технологический,— а в такой, куда брали детей репрессированных,— в университет (как это ни странно по нынешним понятиям), в педагогический, торговый, пищевой, холодильный. Росли младшие братишки и сестренки, кто где — в семье опекуна или в детском доме, учились, требовали заботы, рождали желание приносить им внимание и радости, думать об их будущем.

Так проходила довоенная молодость у многих тысяч моих сверстников — детей репрессированных. Я не знаю ни одного из них, кто не выдержал бы суровых испытаний, выпавших на его долю и до войны и потом. Они оказались достойными своих родителей.

Во время войны нашему поколению пришлось, как поется в послевоенной песне, заслонить собой страну. Тяжелая судьба его известна.

Для детей репрессированных в войну никаких облегчений, понятно, не делалось, совсем наоборот. Немногим из них повезло дожить до счастья если не возвращений своих отцов и матерей, то, по крайней мере, их полной реабилитации. Это было настоящее счастье. Они всегда знали об их невиновности. Теперь об этом знал весь народ.

Толе повезло больше, чем другим. Вернулся отец, вернулась мать, вернулось счастье возможности быть вместе. Они вместе, отец и сын, работали в одной, ставшей обоим родной газете — в своих «Известиях» и делали одно общее дело. Они все вместе пережили радость и счастье полной реабилитации родителей и восстановления отца в партии. С прошлым было покончено. Разве могли они мечтать об этом в самых смелых мечтах!

По отношению к моим сверстникам, на долю которых пришлись суровые удары конца тридцатых годов, я испытываю чувство, очень точно (правда, по другому поводу) выраженное А. Т. Твардовским: «Я знаю, никакой моей

вины в том, что другие... но все же, все же, все же».

Между тем беды моих сверстников оказались обойденными вниманием нашей литературы. Повесть А. П. Гайдара «Судьба барабанщика», опубликованная почти в разгар событий, искаженная обстоятельствами времени, но все же принесшая надежды и облегчение многим моим обездоленным сверстникам, научившая человечности тех, кого беда обошла стороной,— замечательный гражданский подвиг ее автора, да несколько сильнейших строк в упоминавшемся романе Г. Я. Бакланова — не слишком ли мало для бед, из которых некоторые были трагедиями шекспировского масштаба?

В начале своей писательской работы он написал две повести о становлении нашей реактивной авиации — «Большой старт» и «Открытые глаза». Это были едва ли не первые попытки рассказать широкому читателю о напряженном героическом труде конструкторов, ученых, летчиков-испытателей, направленном на то, чтобы не допустить отставания нашей страны на новом и важном этапе развития авиации, несмотря на то, что делать это приходилось в крайне неблагоприятных условиях.

В «Большом старте» рассказывалось о том, как в самые тяжелые годы войны, когда решалась судьба самого существования нашего Советского государства, когда все силы страны, точнее — почти все силы, работали для фронта, для победы, небольшими конструкторскими коллективами были созданы первый реактивный самолет с жидкостным ракетным двигателем и первый отечественный воздушно-реактивный двигатель. В то время страна могла выделить на обеспечение научно-технического прогресса крайне малые силы и средства, и все же задачи создания первого образца реактивной техники — ракетного самолета — были решены нами раньше, чем немцами, пусть на месяц и три дня раньше, но раньше, хотя в руках немцев находилась практически вся европейская авиационная промышленность, раньше, чем нашими союзниками, которые, особенно американцы, не испытывали такого военного напряжения, что выдалось на нашу долю.

«Открытые глаза» были посвящены созданию первых наших боевых реактивных самолетов-истребителей в первые послевоенные годы, когда нам тоже пришлось крайне трудно. Снова для того, чтобы выжить, необходимо было

решить, казалось, совершенно несовместимые задачи: восстановить народное хозяйство в западных районах страны, по которым прошла война, и в восточных районах, истощенных невероятным перенапряжением военных лет, накормить и одеть население и вместе с тем выйти на самый высокий уровень научно-технического прогресса, прежде всего в области обороны страны. За невероятно короткий срок — первую послевоенную пятилетку — предстояло создать, как говорится, «почти с нуля», атомное и ядерное оружие, баллистические ракеты, зенитные ракеты, реактивные самолеты, вертолеты, радиолокацию, автоматику и еще многое другое. (Заметим, кстати, что эти задачи были успешно решены к началу — середине пятидесятых годов, о чем небесполезно вспомнить и нашим сегодняшним оппонентам, сомневающимся в наших возможностях, и нам самим, чтобы извлечь пользу из практического опыта того времени. Думаю, что он этого заслуживает.)

Как видно, интуиция и разум не подвели автора. Он выбрал для своих работ интересные и поучительные страницы нашей истории. Тогда — еще недавней, еще были живы участники и свидетели событий того времени. В работе над «Большим стартом», например, Толя пользовался рассказами главных участников событий — людей, ставших теперь легендарными,— В. Ф. Болховитинова, А. Я. Березняка, А. М. Исаева, А. М. Люльки и многих других.

Написаны повести были добротно и интересно. Это был еще не «поздний Аграновский» со всем богатством его писательского мастерства, но уже «вполне Аграновский». Их опубликовали толстые журналы, хорошо встретили читатели. Они получили хорошую оценку прессы. «Большой старт» был уже подписан к печати в издательстве «Советский писатель», как вдруг...

В августе шестидесятого года влиятельная центральная газета опубликовала письмо трех знаменитых авиационных конструкторов под названием «Об одной повести».

Письмо было небольшим — чуть больше ста строк газетного столбца. Оно представляло собой яркий образец уничтожающей рецензии, написанной большим мастером этого жанра. (Подписано письмо тремя, но написано-то одним человеком.)

Письмо начиналось с важного противопоставления того, что написано в повести, и того, что было в жизни.

В повести: «...непрерывные мытарства, поставленные на пути первооткрывателей реактивной техники, целая цепь издевательств над изобретателями со стороны консервативных, по существу реакционных элементов...»

В жизни: «Советские ученые и конструкторы, создававшие отечественную реактивную авиацию, неизменно пользовались и пользуются исключительной поддержкой партии и правительства...»

Вот, дескать, как повесть противоречит жизни, как неуважительно автор повести относится к заботам партии и правительства об ученых и конструкторах, да еще представляет их, партию и правительство, в реакционном свете.

На самом деле никакого противоречия между повестью и жизнью не было.

Конструкторам первого реактивного самолета, «по праву первопроходцев», пришлось пережить и мытарства, и издевательства, о которых рассказано в повести со слов самих конструкторов этого самолета. Были те мытарства и издевательства делом рутинеров, чиновников, завистников.

Верно и то, что работам по дальнейшему развитию реактивной авиации оказывалась упомянутая в письме исключительная поддержка. Но было это уже после создания первого реактивного самолета, когда значение и перспективы реактивной авиации были оценены в полной мере да и война подошла к победному концу,— появилась возможность включить в работы по ее развитию наши лучшие, мощные конструкторские и научные коллективы.

После отмеченного «противопоставления», цель которого понятна без пояснений, в письме сделаны четыре справедливых критических замечания.

Первое замечание касалось того, что в повести, рассказывающей о реальных событиях и реальных людях, одна часть действующих лиц носит настоящие имена, а другая — вымышленные. Такой, действительно странный, прием не был, однако, изобретением автора повести, о чем не могли не знать его критики — авторы письма. Этот прием нередко применялся в те, теперь уже далекие, годы, когда почему-то считалось, что имена одних конструкторов упоминать в печати можно, а других — нельзя. Конечно, повесть выиграла бы, если бы вместо вымышленных имен конструкторов: В. П. Добросклонов,

А. П. Дубков, А. М. Ильин, П. М. Бульба — в ней были бы приведены их настоящие имена: В. Ф. Болховитинов, А. Я. Березняк, А. М. Исаев, А. М. Люлька.

Следующие три замечания относились к неудачным выражениям автора или его героев, за которые все равно ответственность несет автор.

В повести в ответ на предложение: «Пора бы вам, Виктор Петрович, сделать какую-нибудь нормальную машину» — главный герой В. П. Добросклонов гордо, не тая иронии, отвечает: «Это, простите, не моя специальность», и автор, чего греха таить, любуется своим героем. Критики убежденно и энергично возражают: «Но у Виктора Петровича не было успеха. Самолеты его не шли в массовое производство... Если у конструктора один неуспех сменяется другим, то, может быть, его самолеты просто неудачны».

Весь этот сумбур возник из-за неопределенности и нелепости примененного в повести термина «нормальная машина». Как известно, новые машины могут быть либо экспериментальными, либо опытными. На экспериментальных проверяются принципиально новые идеи и начинания. К созданию машин такого рода тяготел, по-видимому, Добросклонов. Опытные машины служат образцами для серийного производства. Авторы критического письма занимались созданием именно таких машин. Для технического прогресса необходимы и экспериментальные, и опытные машины. Создание и тех и других имеет свою специфику, является сложным и трудным делом и заслуживает большого уважения. Конечно, возможны работы высочайшего класса, когда этапная экспериментальная машина оказывается непосредственной основой опытной машины. Но случается такое крайне редко.

Таким образом, успех создания экспериментальной машины, вообще говоря,— это решение сложной научно-технической проблемы или, по крайней мере,— первые шаги ее решения, а не последующее непосредственное массовое воспроизводство. Поэтому реактивный первенец, вопреки мнению авторитетных критиков, большой успех конструктора Добросклонова. Что касается его гордо-иронического отношения к самолетам массового производства, если таковое было, то оно неуместно, так как сам он их делать не умел, и свидетельствовало о недостаточном понимании им авиационного конструкторского дела во всем его многообразии и красоте.

Следующее замечание было, по существу, продолжением предыдущего. В повести работа по совершенствованию боевых самолетов во время войны была несправедливо и неосторожно названа работой «без фантазии и риска». Это позволило критикам повести утверждать, что «работа конструкторов, подобных Добросклонову, не получающих признания в жизни, есть, по Аграновскому, труд одухотворенный, дерзание, а вот работа по обеспечению превосходства над гитлеровской авиацией в неимоверно тяжелых условиях войны, создание авиации, принесшей победу,— какая-то ремесленническая стряпня, лишенная творческого начала».

Хотя форма изложения обиды критиков повести свидетельствовала об их повышенной чувствительности и непривычке к обидам, сама обида была совершенно справедливой: работа по повышению летно-технических и боевых характеристик самолетов во время войны требовала больше творческой фантазии и риска, чем даже работа по созданию первого реактивного самолета.

В годы войны линия фронта, по точному выражению М. С. Арлазорова, проходила через конструкторские бюро. Борьба за превосходство в воздухе и эффективность бомбовых ударов по объектам противника выигрывалась не только летчиками, но и — прежде них — авиационными конструкторами. Нужна была огромная, невероятная творческая фантазия, чтобы находить в хорошо изученных, многократно усовершенствованных конструкциях самолетов все новые резервы и ресурсы их быстрого совершенствования, обеспечивающего превосходство над соответствующими самолетами противника, с одновременным увеличением их выпуска. И фантазия эта должна была превосходить фантазию конструкторов противника, показавших себя сильными бойцами по этой части. И риск был огромный: рисковать приходилось не сроками освоения нового сложного дела, не репутацией важной научно-технической идеи и не жизнью одного летного испытательного экипажа, как рискуют при создании экспериментальных самолетов. Рисковать приходилось, в случае не выигрывающего у противника технического решения (эффективного, смелого, оригинального, прогрессивного, перспективного, какого угодно, но — не выигрывающего у противника), рисковать приходилось жизнями многих наших боевых экипажей, проигрышами важных воздушных сражений, немалыми людскими потерями

на земле среди наших войск и гражданского населения...

Наконец четвертое замечание — как оно изложено в письме. «Когда конструкторы реактивного двигателя не поспевают за самолетчиками, Добросклонов заявляет: «На помощь института нам надеяться нечего, и... пошлем их ко всем чертям...» Но верить в возможность создания реактивной авиации без науки, отправленной к черту,— это... просто невежество».

Это замечание только с большой натяжкой можно отнести к числу справедливых в том смысле, что действительно новые дела в технике, тем более в авиационной, можно делать успешно только в содружестве с наукой, да еще — что при всех обстоятельствах лучше никого не посылать ко всем чертям. Однако вывод о пренебрежении профессора Добросклонова к науке основывается на одной, не очень-то убедительной фразе. Не говоря уже о том, что неуважительные слова об одном институте нельзя толковать как неуважение к науке в целом.

Лаконичные и определенные выводы письма также соответствовали законам жанра:

«...Мы вынуждены предупредить читателя: повесть А. Аграновского находится в разладе с действительностью. Героическая история большого коллектива ученых и конструкторов за создание советской реактивной авиации еще ждет своего описания».

Писали это не случайные люди, а те, кто сделал очень многое для создания послевоенной реактивной авиации. В годы войны им было не до реактивных самолетов. Они действительно занимались более важным делом — они делали оружие для победы. Честь им за это и слава. Возможно, им было несколько обидно, что первые шаги наша реактивная авиация сделала без них. Но ведь за всем не поспеешь.

Писали это люди, пользовавшиеся в стране большим уважением и авторитетом. Их выводы, опубликованные во влиятельной центральной газете, по обычаям и опыту предшествующих лет ставили, как говорится, крест на последующих публикациях повестей «Большой старт» и «Открытые глаза» и вообще создавали для Толи немало трудностей.

Разумеется, публикация письма принесла ему большое огорчение, какое всегда доставляет недоброжелательная,

уверенная в собственной непогрешимости авторитарная критика. Однако тщательный анализ письма и самой повести, проведенный Толей совместно с конструкторами первого реактивного самолета и другими его авиационными друзьями, показал, что для снятия всех четырех конкретных и в известной мере справедливых замечаний письма достаточно вычеркнуть, просто вычеркнуть из повести шесть (!) строк, содержащих неправильные или неосторожные выражения, да заменить вымышленные имена на действительные. При этом кривить душой не пришлось бы: такие изменения не противоречили принципиальным взглядам автора.

Что касается условий, в которых создавался первый реактивный самолет, и других подробностей его создания, то создатели самолета, по чьим рассказам была написана повесть, утверждали, что никакой «отсебятины» в повести нет, что «все так и было», и хотели выступить в печати с мотивированными возражениями авторам критического письма.

Но, как выяснилось, влиятельная газета в то время никаких возражений на опубликованные в ней материалы не печатала, считая, что их публикация подорвала бы ее авторитет. Другие же газеты вступать с ней в конфликт не то что не решались, а просто не могли. (Странная логика: публикация ошибочных материалов не подрывает авторитета газеты, а исправление ошибок подрывает его. Такая логика неоднократно приводила к злоупотреблениям: надо было только первому пробраться на страницы какой-нибудь влиятельной газеты, что не так уж трудно сделать знаменитым людям.)

Тем временем издательство прореагировало на выступление влиятельной газеты — издание повести было прекращено, а набор рассыпан.

В течение нескольких лет шла достаточно напряженная борьба за издание «Большого старта», в которой участвовали создатели первого реактивного самолета, другие авиаторы и писатели. Автор вел ее деловито, сосредоточенно, без эмоциональных комментариев. Видно было, что он считает необходимым довести дело до успешного конца и взял себя в руки.

Борьба закончилась победой — повесть снова набрали и издали.

После этой истории он повестей об авиации больше не писал, ограничился несколькими очерками о летчиках-

испытателях Г. А. Седове, К. К. Коккинаки, Г. К. Мосолове, В. А. Федотове и о А. В. Минаеве[1].

В результате, по самым скромным подсчетам, потеряно (обращено в ничто) в общей сложности не меньше 300—400 квалифицированных человеко-дней, приблизительно человеко-год, тех, кто так или иначе участвовал в этой истории, нанесен определенный ущерб их нервной системе, затрачены средства на повторный набор повести. Авиация потеряла для себя вдумчивого, доброжелательного и, как показал последующий опыт, талантливого историка.

А ведь этого могло бы не быть. Ну, надумали три конструктора написать письмо во влиятельную газету о недостатках повести на авиационную тему, и газета опубликовала это письмо. Потом опубликовала бы возражения на него. Прочитав эти материалы, автор внес бы какие-то полезные поправки в повесть, и пришлось бы перенабрать несколько страниц. Только и всего. Впрочем, три конструктора, зная, что им могут ответить через газету на опубликованное письмо, наверно, и писать-то его не стали бы...

Расцвет его творчества пришелся на трудные для нашей страны годы — годы торжества мещанства и связанных с ним негативных явлений: аполитичности, безответственности, протекционизма, ханжества, подхалимства, казнокрадства, взяточничества, очковтирательства и пьянства — болезни, охватившей немалую часть общества, для которой неожиданным символом веры стала рыжая дубленка, заслонившая собой красное знамя наших надежд.

Болезнь быстро распространялась, бедствие принимало угрожающие размеры, но большая часть нашей партии и нашего народа оставалась по-настоящему верна путеводным ленинским идеям, продолжала честно делать свое повседневное дело и рождала в себе силы, способные остановить болезнь, преодолеть бедствие и ускорить развитие страны.

В те годы большинство писателей старалось по возможности обходить стороной современные социально-

---

[1] А. Аграновский писал о А. В. Минаеве, когда тот был школьником, потом — конструктором, а затем — замминистра авиационной промышленности.

нравственные темы или, в крайних случаях, обходиться мелкотемьем, повторением парадных построений и штампованного пустословия. Только публицисты, считавшие эту тематику своим профессиональным делом и нравственной обязанностью, и Толя среди них, не могли не писать правду об общественных стремлениях, заботах и тревогах, конечно, почти не касаясь запретных для печати вопросов, связанных с негативными явлениями. (Писать о них не запрещалось, но написанное не печатали. Исключение делалось только для критики пьянства, так сказать, рядовых членов общества, тех,кто, по выражению В. С. Высоцкого, пил «...хоть с утра, но на свои». Еще можно было писать про отдельные случаи пьяного хулиганства.)

Но и урезанная правда требовала от писателя гражданского мужества. Политическая нравственность, верность идеалам, чистота помыслов и ясность мыслей, как и всякие другие проявления самостоятельности, вызывали, не могли не вызывать раздражения у имущих власть субъектов негативных явлений. Без должности, без привычной зарплаты, как правило, не оставляли — не решались, а вот без возможности печататься, делать свое любимое, привычное профессиональное дело — пожалуйста. Такое случилось с Толей на рубеже семидесятых — восьмидесятых годов. Около пяти лет он, не по своей воле, практически не работал в художественной публицистике — главном деле своей жизни. Он писал об одном, о другом — и достаточно успешно. Но для этого тоже требовалось вдохновение, которое, как известно по А. С. Пушкину,— «расположение души...». А какое может быть расположение души, когда не дают делать любимое главное дело жизни?

Он проработал в публицистике двадцать — двадцать пять лет. Поэтому за потерянные пять лет, говоря по-производственному, объем его работ мог бы возрасти приблизительно на двадцать процентов при самом высоком их качестве. Это подтвердили работы, написанные им, когда он все-таки вернулся к любимому делу. Мог бы возрасти, да не возрос... Похожее случалось с его героями, например с А. М. Топоровым. В работе «Как я был первым» Степан Павлович Титов, отец космонавта, говорил о гонителях Топорова: «Зависть, думаете? А умеют ли они завидовать? Это ведь тоже сильное чувство. Чтобы завидовать, надо хотя бы понимать величие того, чему завидуешь.

Нет, это хуже зависти. Это желание извести, растоптать все, что лучше, умнее, выше тебя...» Какая, однако, точная оценка...

Как показывают наблюдения, в мирных условиях большинство людей осознает свою смертность в возрасте примерно сорока лет. До этого времени они почитают себя бессмертными. Конечно, они с малолетства знают, что в конце концов люди умирают и что им самим уготовлена та же судьба. Знать-то знают, но это не мешает им почитать себя бессмертными.

В сорок лет человек находится в расцвете физических и творческих сил, у него нет никаких видимых причин задумываться о конце своей жизни, а вот по каким-то не раскрытым еще законам задумывается и после этого продолжает думать. Каждый по-своему и обычно не рассказывает о своих думах.

Толя рассказал, может быть, частично: «Я думал: самое страшное в смерти — беспамятство, молчание. Человеку нужна уверенность, что начатое им закончат. Что сделанное им запомнят. Это вид бессмертия: делами, как и людьми, он продлит себя среди живущих».

Сегодня прошло уже четыре года после Толиного ухода из жизни, и можно уверенно сказать, что после этого получается все так, как он хотел бы. В этом отношении у него счастливая судьба.

Начатое им продолжается. Выношенные и рожденные им мысли влились в программу перестройки нашего общества и реализуются в делах нашего народа.

Беспамятства и молчания нет и в помине. Он уже не слышал, не читал о себе, что был первым среди газетчиков шестидесятых — семидесятых годов, лучшим нашим очеркистом, большим мастером советской публицистики, настоящим коммунистом (формально он был беспартийным). Он не слышал, не читал еще многих других высоких и справедливых, произнесенных и написанных слов, продиктованных искренними глубокими чувствами его читателей и друзей. И нет сомнений, что о нем еще будет сказано и написано немало.

Правда, неясно, только ли это он имел в виду. Он писал, что человеку нужна уверенность,— значит, до ухода из жизни. Была ли у него самого уверенность, что начатое им продолжат, что сделанное им запомнят? При его ин-

теллигентности — вряд ли. Зато у него не могло не быть чувства самоуважения, как у человека, честно, профессионально и неомраченно выполнившего свой долг.

Он любил людей. Это видно по его работам, переполненным людьми, самыми разными. Как теперь говорят,— от рабочих до министров, от студентов до академиков. И все они были ему интересны.

— Третьего дня я говорил с нашей редакционной уборщицей тетей Машей, и вот какую она высказала мысль...— С такого или похожего сообщения нередко начинались наши разговоры.

Он был убежден в «повсеместной талантливости» нашего народа: «Людей, лишенных всякого таланта, мало. Может быть, их нет вообще. Есть люди, не нашедшие себя... И зависит все от того, с каким размахом и старанием собирается урожай талантов в народе». Беспокоился он по поводу этого сбора: «Всегда ли и всюду мы действуем безошибочно?»

А больше всего он ценил мастеров своего дела и в разговорах и в работах рассказывал о них так, как будто сам их растил или, по крайней мере, извлек из безвестности. И справедливо считал профессиональное мастерство основой нравственности: «Многих мастеров повезло мне увидеть... но подлых — ни одного. Это когда человек займет не свое место, возьмет дело не по способностям, трудно ему быть просто порядочным. А мастер — он всегда на своем месте. Человек с настоящей профессией в руках привык себя уважать и других путей к самоутверждению не ищет».

Очерки Аграновского населяют взятые им из реальности живые люди с естественными человеческими стремлениями к созиданию, творчеству, познанию, самоутверждению, самовыражению, продвижению в обществе. В них неугасимый дух борьбы, соревнования и независимости. Они хотят любить, растить потомство, строить семью и свой дом. Они уважают свои «корни», народ, из которого вышли, и землю, на которой выросли. Они не могут работать без смысла и жить без самоуважения, без одобрения товарищей, без справедливости.

В них люди учатся и работают, добиваются уважения товарищей, защищают дипломы и диссертации, совершенствуют свое мастерство, решают сложные задачи, рискуют жизнью, создают новые методы лечения, воюют с косностью, занимаются рационализацией и делают еще

много другого, разве только удостоения начальства не ищут.

Его очерки родились в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов, после того, как прошел исторический Двадцатый съезд нашей партии.

Хотя ни в одной его работе нет ни единого слова о времени, начавшем свой уход в прошлое, все в каждой из них полемизирует с представлениями того уходящего времени. И самостоятельность автора, и его критическое отношение к действительности, и его покушения на оценки решений высоких должностных лиц, и спокойный жизнерадостный тон повествования при этом.

И тем более — внимание к каждому человеку, и к рядовому — тоже, уважение к его повседневным заботам, признание за ним права понимать и критически воспринимать все происходящее в нашей жизни и самому определять свой жизненный путь.

То, что и сейчас еще далеко не всем представляется нормальным социалистическим отношением к людям, тогда многими воспринималось как потрясение основ социализма и требовало для продвижения в печать немалых усилий — приходилось преодолевать последствия многолетнего насилия над разумом.

В тридцатые годы по нашей стране распространилось многозначительное выражение «Незаменимых людей у нас нет!». Говорили, что пошло оно от «самого товарища Сталина». Вполне возможно. Во всяком случае, с этим выражением хорошо согласуются его известные послевоенные рассуждения о людях — «винтиках, честно и самоотверженно делающих свое дело». Винтики — они «все на одно лицо», и заменить один другим сложности не представляет.

Одна из работ Аграновского начинается с простого и ясного утверждения: «Незаменимые есть». И вслед за ним приводятся факты, его подтверждающие. Нелегко, однако, избавляться от представлений, внедрявшихся десятилетиями.

Зато они знают, что такое самоуважение, чувство собственного достоинства, интересы общего дела, человеческий и гражданский долг.

«Нет заменимых людей» — вот единственная формула, которая только и может обеспечить достижение наших великих целей. И пониманием этого мы в немалой степени обязаны публицистике Анатолия Аграновского, так же

как и очищением от других моральных искажений так называемой эпохи культа личности.

Толя любил своих друзей, умел их любить. Меня поразила его надпись на одной из книг: «Дорогим друзьям, которых автор любил, любит и любить будет». Вот ведь как: «любить будет». Это написал не молодой влюбленный юной красавице — среди них такие слова — самое простое дело. Это написал умудренный жизнью большой мастер слова своим сверстникам. Как будто сказал: «Я знаю вас, я верю вам, ничто не может омрачить наши отношения...»

Тогда, в октябре восьмидесятого, когда он сделал эту надпись, кто мог знать, что ему оставалось любить всех нас только три с половиной года. Потом — он навсегда остался с нами в нашей памяти.

Чернобыль — Москва, 1986

З. ПАПЕРНЫЙ

«Ничто не проходит»

У Михаила Светлова есть стихотворение, которое начинается словами: «Живого или мертвого/Жди меня двадцать четвертого...» Поэт говорит, обращаясь к женщине, что все равно появится у нее, пусть даже после своей смерти,— приплывет корабликом.

У кораблика в тесном трюме
Жмутся ящики воспоминаний...

Ящики воспоминаний... Они хранятся в нашей памяти, надежно упакованные и туго перевязанные, но приходит час, они открываются — рассыпаются листки незабытого прошлого, и уже трудно их уложить назад.

Месяц за месяцем пробежало время с тех пор, как не стало Анатолия Аграновского, но все так же странно и непривычно думать, что его нет, что я пишу о нем воспоминания, говорю о Толе в прошедшем времени. Я знал его около шестидесяти лет — прошу прощения за такую геронтологическую цифру. Он мой друг детства, мы жили в одном дворе, одном подъезде. Я хорошо знал его семью — отца, он сотрудничал в «Известиях», потом в «Правде», мать — на редкость красивую, добрую женщину, Толиного младшего брата.

Однажды мы с Толей рисовали. И поспорили — кто лучше нарисует всадника, естественно, в буденовке, конечно же с саблей, на скачущем коне. Я не сомневался в успехе: как-никак мне было уже десять лет, а Толе всего семь. Поэтому я и не особенно старался. Но я недооценил соперника. Когда он закончил рисунок и показал мне, я глазам не поверил — до того выразительна была фигура несущегося всадника. Как я сейчас вспоминаю, рисунок был исполнен артистичности — это слово потом не раз приходило мне в голову, когда я сталкивался с тем, что в разных областях делал Аграновский.

В 1947 году я поступил в «Литературную газету», заново реорганизованную. Тогда же в ней начал сотрудничать Аграновский. Он работал в отделе индустрии, который,

впрочем, назывался так: «Новое в индустрии». Помню летучки, где, как правило, завязывались жаркие словесные бои вокруг материалов, которые писал или сдавал Аграновский. Они отличались остротой, полемичностью, откровенностью гораздо большей, чем тогда считалось допустимым. Уже в ту пору проявлялись особенности почерка Аграновского, которые затем разовьются в его известинский период.

В 1951 году вышла первая значительная книга Аграновского — «Утро великой стройки», написанная им совместно с геологом Василием Галактионовым. Мать Толи бурно радовалась его успеху и, когда я спускался к ней на первый этаж, восторженно хвалила книгу сына. Однажды я вошел в ЦДЛ и увидел Аграновского, беседующего в группе литераторов. Я издали ему крикнул:

— Привет! Очень хвалят твою книгу!

Он спросил:

— Кто?

Я радостно воскликнул:

— Твоя мама!

Он улыбнулся:

— Злодей...

Впрочем, он в долгу не остался. Как-то я, не помню, по какому поводу, неосторожно сказал: «Мы не дураки». Толя кротко согласился: «Нет, конечно, просто вы так выглядите».

В те дни он зашел в книжный магазин и спросил продавщицу, есть ли книга Аграновского. Та ответила, что есть. Стоявшая рядом старушка спросила Толю, кто такой Аграновский.

— Как, вы не знаете? — деланно удивился он.— Из молодых писателей это сейчас, пожалуй, самый способный.

И сказал продавщице:

— Дайте мне, пожалуйста, десять экземпляров.

Старушка подумала и попросила:

— И мне тоже... Шесть.

Она решила, что раз народ берет по десять штук в одни руки, нельзя оставаться в дураках.

В 1949 году «Литературной газете» исполнилось двадцать лет. К этому юбилею мы организовали юмористический Ансамбль верстки и правки имени первопечатника Ивана Федорова. Я стал основным автором и «худруком» ансамбля, а Толя — одним из главных исполнителей.

У нас в редакции работала Тамара Казимировна Трифо-

нова, известный критик. Она ведала отделом критики и библиографии, руководила Высшими литературными курсами, кроме того, занимала большой ряд должностей. Мы решили сочинить оперу — дружеский шарж под названием «Тамара и демоны». Если можно так выразиться, взяли за основу оперу «Демон» Антона Рубинштейна. Сюжет был такой: горные духи, демоны один за другим предлагают «Тамаре» разные должности, и она с присущей ей лихостью на все соглашается. Постановка была выдержана в кавказском колорите. Оформление спектакля, как теперь говорят, сценографию, поручили Аграновскому. Я сказал: пусть это все будет выдержано в «высокогорном» духе, но — пародийно-шутливо. Как это конкретно сделать, я не представлял. Посоветовал только подумать о заднике: «Задник — лицо спектакля».

Толя блестяще справился с задачей. Предложенный им задник представлял собой кавказский пейзаж с всадником в папахе — он несется на фоне гор. И каждый, кто смотрел на эту величественную картину, начинал смеяться: перед ним был сильно увеличенный рисунок папирос «Казбек». Так неожиданно совмещалось возвышенное и сугубо бытовое.

Ободренные успехом первой оперы, мы взялись за новую — она называлась «В вашем доме» и строилась «по мотивам» оперы Чайковского «Евгений Онегин».

Толе была поручена центральная роль — Ленского. Перед началом представления конферансье говорил:

— В главной роли Анатолий Аграновский. Сначала мы даже несколько иронически относились к нему. Звали его просто Толя, Толька и уж совсем обидно — Анатоль Франс. Но Анатолий мужал как артист. Глотая слезы, он трудно просачивался в роль В. Ленского.

Ведущий читал — подчеркнуто вдохновенно:

...Любил он Ольгу. Но она,
Сия кокетливая муза,
Ему в ответ сказала так:
«Я не вступлю с тобою в брак,
Покуда ты не член Союза!»
И, робость одолев с трудом,
В. Ленский входит в этот дом.

Тут-то и начинались злоключения бедного В. Ленского — Аграновского. Застенчиво и вкрадчиво входил он в Союз писателей, скромно пел секретарше дрожащим голосом:

В вашем доме,
В вашем доме,
В вашем доме, как сны золотые, мои лучшие годы пройдут.

Но секретарша сурово нависала над ним: кто он, что нужно, по какому вопросу?

Тщетно пытался В. Ленский проникнуть на прием к Суркову, Симонову, Федину. Напрасно старался чего-то добиться в Комиссии по работе с молодыми авторами. Толя пел тихо и щемяще-проникновенно:

Я молодой — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.

Приговор Комиссии был совершенно безжалостным: «Напрасны ваши совершенства, Коль нет маститости у вас!»

Однако в судьбе страдальца Ленского наступал перелом.

Ведущий:

Друзья мои, вам жаль поэта?
Но ждал его иной удел,
Промчались юношества лета,
В. Ленский творчески созрел,
На Ольге Лариной женился,
Он возмужал, остепенился,
Он знаменит, лауреат,
Он носит стеганый халат...

И вновь Ленский входит в Союз писателей. Но какая метаморфоза! Теперь Аграновский появлялся не как жалкий проситель, не как литературный Акакий Акакиевич, нет, он шагал, что называется, твердой поступью, чувствуя себя хозяином положения. В Доме писателей он как у себя дома.

В финале оперы появлялся Ленский Второй, маленький литчеловечек. Он хочет видеть самого Ленского Первого, но тот, конечно, принять его никак не может,— недосуг, руки не доходят.

Артистичность Аграновского выражалась в том, как он рисовал, как исполнял роль. И в том, как он пел. У него был абсолютный музыкальный слух. Помню, я с ним поспорил, как поется одна строка песни «Когда я на почте служил

ямщиком». Он оказался прав, и тут я неожиданно вспомнил, как проиграл ему спор — кто лучше нарисует всадника — в детские годы.

Был Аграновский и дирижером нашего ансамбля. Все, что было связано с искусством — изобразительным, драматическим, музыкальным,— давалось ему удивительно легко.

Вспоминается день, когда весь наш ансамбль выехал за город. Сколько там было песен, пародийных номеров, шуток, импровизаций...

Вообще время, когда выступал Ансамбль верстки и правки, живет в памяти, как праздник смеха, выдумки, самой дружной и веселой самодеятельности.

Идет спектакль, и вдруг на переднем плане проходит тройка: Анатолий Аграновский, Артем Афиногенов и Юрий Ханютин. Они поют:

Без женщин жить нельзя на свете, нет...

Толя идет впереди такой вальяжный, элегантный... И так безупречно ритмична его походка.

У него появилась на лбу какая-то опухоль, небольшая шишка, и он ее вырезал. На репетиции он внес какое-то предложение, которое не было принято. Кто-то ехидно пояснил, что вся мудрость Аграновского заключалась в удаленной шишке и теперь ему будет довольно трудно придумать что-нибудь оригинальное. С этого момента, если он предлагал нечто интересное, все дружно аплодировали, а если его «задумка» не проходила, хором кричали: «Шишка!» И все были счастливы.

Хотим мы этого или нет, всему приходит конец. Распался и наш ансамбль. Но в 1976 году, спустя двадцать семь лет со дня его рождения, возникла мысль устроить его выступление в Центральном доме литератора. Мы собрались — постаревшие, но не утратившие того чувства товарищества, которое всегда несет в себе что-то молодое. Во всяком случае — моложавое.

Решено было тут же начать репетиции. Выступление было назначено на «День смеха», 1 апреля 1976 года. И вдруг Анатолий Аграновский, наш Ленский, наша гордость, наш «премьер», заявил, что выступать не стоит, мы уже не те и он лично участвовать в вечере не будет. Это был тяжелый удар. Но мы, как говорится, не дрогнули. И вот настал день выступления. Мы собрались все — кроме одного, для нас, может быть, самого важного.

Я в своем конферансе сказал:

— Вы видите здесь всех участников ансамбля. Нет лишь Анатолия Аграновского. Он не вышел на сцену. И я подумал: кого он мне напоминает? Ну конечно же князя Трубецкого, который не явился на Сенатскую площадь в решающий день восстания декабристов 14 декабря 1825 года. А перед вами находятся те, кто не побоялся выйти на сцену...

Но как же мы все обрадовались, когда Толя пришел к нам за кулисы и попросил, чтобы ему тоже дали что-нибудь исполнить.

В опере «В вашем доме» есть такая сцена. В Союзе писателей — бал. Звучат куплеты Трике, вернее Три Ке, то есть трех критиков, трех рецензентов. Не помня зла, Толе тут же предложили спеть арию одного из «Ке» — внутреннего рецензента. И надо сказать, он спел ее совершенно бесподобно. Видимо, ему очень уж хотелось реабилитировать себя за неверие «в нас».

Он вышел в полумаске — как-никак рецензент закрытый — и запел с какой-то пугающей загадочностью:

Я есть закрытый рецензент,
необходимый элемент,
чтобы книжка
увидала
свет.

Следует чудный отыгрыш Чайковского.

Умею так подать совет,
чтоб не сказать ни «да», ни «нет»,
только в этом,
верьте мне,
секрет.
И проза —
И проза —
И про запас держу я мненье,
чтоб роза —
чтоб роза —
чтоб роза-браться не могли.

Когда он пел под громкие смешки и хлопки зала, у меня чуть слезы на глазах не навернулись. Так приятно было, что никакой он не «Трубецкой», он снова с нами — пусть не в главной роли В. Ленского, а в скромном обличье одного из «Ке».

В повести Чехова «Моя жизнь» жена главного героя Мисаила Полознева, прощаясь с ним, пишет ему письмо, в

котором говорит: «У царя Давида было кольцо с надписью: «Все проходит». А в конце повести Мисаил размышляет: «Если бы у меня была охота заказать себе кольцо, то я выбрал бы такую надпись: «Ничто не проходит». Я верю, что ничто не проходит бесследно...»

Анатолий Аграновский был первоклассным публицистом. Его книги не забудутся. Но каждый, кто был близко с ним знаком, ощущал талантливость всей его натуры. Она проявлялась в том, как он пел, играл на гитаре, дирижировал хором, писал музыку к стихам, играл на сцене, рисовал. Все это была самодеятельность, но — на профессиональном уровне.

Казалось бы, человек столь даровитый должен быть активным, напористым. Аграновский же, наоборот, был мягким, сдержанным, каким-то негромким. Не перебивал собеседника, никогда не «давил». Умел радоваться шуткам другого.

Он не любил просто «числиться». Всюду, где он бывал, он действительно б ы л.

И поэтому он останется.

Э. МАКСИМОВА

Притяжение Аграновского

Наверное, никто в «Известиях» не знает Толю так давно,— я познакомилась еще с литгазетчиком А. Аграновским. Я делала первый шаг в газетной практике, он был уже известным журналистом, писателем. Я эту разницу остро чувствовала, он — нет. Ему начинающие всегда были любопытны не меньше маститых.

Все было так же, как в последнюю пятницу, 13 апреля, как год, как десять лет назад: появлялся в редакции Аграновский и моментально обрастал компанией, которую притягивали его ум, его неожиданность.

Помню, как в 1960 году он и тогдашний редактор нашего школьного отдела Любовь Михайловна Иванова проводила в Дубне дискуссию «Растить ломоносовых XX века». Ученые обсуждали его «Письма из Казанского университета». Посмотрели бы вы, как слушали Толю знаменитые разноплеменные физики,— открыв рты, упиваясь его парадоксами и афоризмами, рождавшимися, казалось, в ту минуту, когда он произносил их.

Он очень много работал. Поражающие глубиной и остротой очерки-раздумья давались ему вовсе не легко. Иногда — абзац, а то и строчка в день. Мы гордимся: когда-то в наш отдел Толя приносил на «пробу» сверкающие, отшлифованные кусочки — начало статьи, конец, диалог. Правда, эти его советы с нами давали нам куда больше, чем ему. Вот и недавно заглянул в дверь: «Как ты думаешь, сколько у министра (назвал министерство.— *Э. М.*) заместителей?» — «Ну, пять».— «Пятнадцать...» Ага, уже собирает, как пчела, пыльцу. Быть меду.

Я ахнула, впервые увидев у него дома бесконечные ряды фирменных известинских блокнотов, и поначалу совсем ничего не поняла, когда наугад открыла один, второй. Каллиграфический почерк, без помарок, описок — ни дать ни взять переписанное набело сочинение отличника. Аккуратные главки, прямая речь, свежие впечатления... Возможно ли так записать собеседника?! А он сразу этого и не делал. Был у него свой прием: коробка «Казбека» на

столе. Писал на крышке отдельные ключевые слова, после по ним восстанавливал разговор.

Уговорили мы его как-то поехать с нами в дальний зарубежный вояж. И тут однажды, когда мы стояли на холме над прекрасным городом, живописно раскинувшимся внизу, в бухте, Толя вдруг помрачнел и замолчал. А в автобусе сказал: «Никогда себе не прощу, что Галка этого не видела». Галка оставалась в Москве с Алешей и Антоном.

Сколько помню Толю, Галя всегда была для него самой красивой, самой умной, самой неотразимой женщиной на свете. Толя приходил, уютно усаживался в кресло и начинал: «Слушай, какое моя Галка придумала «мо». Галка — первый читатель, а сначала слушатель, первый придирчивый критик, первый помощник. Галка, Галя, Галина Федоровна тоже создавала А. Аграновского — своим чутьем, вкусом, своим уменьем вести дом и решительно освобождать Толю от всяких пустячных забот. Все брала на себя.

Ей тяжелее всех; может быть, послужат ей хоть слабым утешением, что в памяти друзей Толя всегда будет жить рядом с нею.

Л. ЛАЗАРЕВ

Такие короткие тридцать лет...

Когда мы познакомились? Никогда прежде об этом не думал. Такие вопросы возникают, если отношения круто меняются,— наши не менялись. Или когда приходится подводить итоги. Этим и занимаюсь — пишу воспоминания, подвожу итоги...

А ответить на этот вопрос мне нетрудно. Познакомились мы с Анатолием Аграновским тридцать лет назад, когда я начал работать в «Литературке». Очень быстро, в считанные дни, стал я со всеми сотрудниками моего возраста и служебного положения на «ты» — даже с женщинами; в редакции друг друга называли только на «ты» и по имени — таков был установившийся стиль. Если на планерке или каком-нибудь совещании к кому-то вдруг обращались по имени и отчеству, ничего хорошего ему это не сулило. Естественно, что и с Анатолием Аграновским мы сразу же стали на «ты». Он был старше меня всего на два года, и работали мы в одной должности. Правда, Аграновский — спецкор то ли при секретариате, то ли раздела внутренней жизни — был уже одним из самых заметных людей в газете, он был настоящим спецкором, а я, хотя уже печатался, в сущности только занимал должность спецкора раздела литературы и искусства — никакого опыта журналистской, газетной работы у меня не было. Да, стали на «ты», называли друг друга по имени, но какое это знакомство? Со многими я с той поры на «ты», но дальше этого не пошло...

Как же мы все-таки познакомились? Вспомнил и это. Вот как было дело. Я уже несколько месяцев проработал в газете, немного освоился и однажды, выступая на летучке, сильно потрепал какой-то материал.

На следующий день в комнату к нам зашел Толя (прошу прощения, что я буду называть его так,— рука не поднимается писать иначе), подсел к моему столу:

— Слушай, ты вчера дело говорил, старичок...

Тогда «старичок» и «старуха» были самыми распространенными в редакции обращениями; постепенно у людей

нашего поколения они вышли из употребления, но с Толей мы продолжали друг друга так называть, словно не желая признавать, что молодость, увы, давно прошла и прелести контраста в этом обращении уже нет.

Толя держал в руках какую-то рукопись — это был его новый очерк. Он сказал, что в очерке что-то его беспокоит, попросил меня прочесть. Что и говорить, я был польщен: в неофициальной иерархии журналистских авторитетов Аграновский уже тогда занимал высокое место. Я внимательно, даже придирчиво прочитал очерк. В рукописи не было ни единой помарки, очерк был отработан до блеска (как и все то, что затем — пока мы вместе работали в «Литературке» — давал мне читать Толя), в переделках, правке, на мой взгляд, не было никакой необходимости. Я даже смутился: вроде бы не справился, надежд не оправдал. Два или три слова — после долгого обсуждения, прикидывая и так и этак,— мы все-таки заменили. Толя был доволен, но по-настоящему он оживился, ухватившись за какую-то высказанную мною мысль, которая как будто бы прямого отношения к его очерку не имела. Толя повернул ее по-своему — это уже была его мысль, стал развивать и под конец сказал, что теперь ясно видит, что в очерке есть слабина. Он действительно потом дописал какой-то абзац, но разговор со мной если сыграл в этом какую-то роль, то катализатора — не более того.

После этого мы стали частенько заходить в редакции друг к другу — обменяться новостями, посоветоваться по каким-то делам и просто поболтать, «потрепаться». Из этого «трепа» я извлек очень много — и по части журналистского дела, и по части газетной стратегии и тактики, и по части редакционной этики.

Вскоре мы, как говорили в былые времена, стали встречаться домами. В первый же наш визит к Аграновским Толя, закрыв дверь комнаты, чтобы не разбудить мальчиков, стал петь под гитару (некоторые песни вместе с Галей). Выяснилось, что многие песни его собственные, он кладет на музыку любимые стихи.

Об этом, пожалуй, следует сказать подробнее — уже хотя бы потому, что очерки Аграновского знали многие тысячи людей, а песни его известны лишь узкому кругу друзей. Но речь пойдет не о хобби, не об увлечении, к главному делу человека отношения не имеющему, здесь проявлялись те же, что и в литературе, черты его личности, здесь он тоже был художником.

Толя был одарен щедро и разносторонне. Хорошо рисовал — в юности даже кормился этим. Мои взрослые дочери до сих пор помнят, какие чудесные игрушки делал когда-то дядя Толя — из всего, что оказывалось под руками,— из бумаги, папиросного коробка, спичек, крышечки от бутылки, в Коктебеле из ила.

Толя был поразительно артистичен, изящен, обаятелен — когда пел, это обнаруживалось ярче всего. Но разве не проступали эти свойства в его очерках и статьях? Одно время мы, несколько его друзей и поклонников, всячески убеждали Толю, что он должен начать выступать с песнями публично. Я носился с идеей выпустить пластинку с его песнями. Пророчили ему славу Брасанса — думаю, не без оснований. Толя улыбался, отмахивался, шутил. Пусть не обманывает тех, кто его плохо знал, эта внешняя мягкость, его отменная вежливость, неизменная доброжелательность,— он был человеком неподатливым, строгих и твердых правил, никакими уговорами его нельзя было заставить отступить от того, в чем он был убежден.

Песни не были для него только забавой, он работал — именно работал — над каждой из них тщательно, подолгу (как и над своими литературными сочинениями) — это тоже было творчество. И как он ни выкладывался в своих очерках, видно, не все, что он нес в себе, они поглощали. Но подлинным своим призванием считал литературу, журналистику, песни предназначались для домашнего употребления. Получалось хорошо, но что из этого,— он, за что ни брался, все старался делать хорошо. А самоограничение необходимо — иначе не сделаешь того, что должен сделать. Так считал он, таков был смысл его шутливых отповедей нам.

Подобное же искушение пережил он и в литературе. Когда-то он написал повесть, она была вполне «на уровне», ее напечатали, похвалили. Гром разразился с неожиданной стороны: в одной из газет появилось письмо, в котором повесть резко критиковалась за искажение истории авиации. Даже невооруженному взгляду видна была несправедливость, необоснованность этого выступления — мы кипели, возмущались. Толя держался спокойно. Через какое-то время он сказал мне: «Никогда больше не буду писать повестей». «Неужели из-за этого дурацкого письма?» — спросил я. «Да нет,— ответил Толя,— как раз с фактической стороны в повести все верно. Просто я понял, что

художественная литература не моя стихия. Я очеркист, это мое дело».

Один раз нам все-таки удалось его уговорить, а то ведь он даже магнитофона не признавал. Экранизировалась «Пядь земли» Григория Бакланова (я был редактором этого фильма). Мы с Баклановым очень хотели взять для фильма одну из песен Толи. Уговорили режиссеров Андрея Смирнова и Бориса Яшина. Навалились на Толю, и он сдался. Мы надеялись, что он сам будет петь в фильме, но это не вышло, отказался наотрез. Один из снимавшихся в фильме молодых актеров хорошо пел под гитару — этим был даже известен в артистическом кругу. Попросили Толю спеть при нем, затем, чтобы актер мог как следует выучить песню, записали ее на пленку. Спел он ее в фильме недурно, но как далеко ему было до Толи... У Толи каждая песня — и эта тоже, на стихи Самойлова «Жаль мне тех, кто умирает дома...» — была размышлением о человеческой жизни, о н шей судьбе, нашем времени. Она заставляла каждого, кто его слушал, думать и о себе, о том, как он живет и что он такое. Как часто, когда Толя пел, я видел слезы на глазах у людей вовсе не сентиментальных. А актер неплохо исполнял хорошую песню, и только — это не было тем высоким переживанием, очищением от суеты повседневной жизни, прикосновением к нетленному, которое несли в себе Толины песни...

Потом было мучение: что же написать в титрах? То, что пишут обычно: музыка такого-то,— об этом Толя и слышать не хотел. Наверное, больше всего в жизни он боялся уронить свое достоинство, оказаться в ложном положении, выглядеть — пусть только в своих собственных глазах — нескромным. «Какая музыка? Что я, композитор? — говорил он.— Вы с ума сошли, надо мной будут смеяться». В результате в титрах было что-то странное, маловразумительное, кажется: «Стихи Д. Самойлова, песня А. Аграновского».

Задолго до того как появились и стали популярны песни М. Таривердиева, А. Петрова и некоторых других композиторов, Толя нащупал этот мелодический принцип современной песни. Он обладал поразительным поэтическим слухом — в сущности, своей мелодией он вскрывал романсовую или песенную основу стихотворения.

Иногда, как в «Зимнем» Кедрина, мелодия просто напрашивалась; она существовала в этом стихотворении

изначально, к ней, сочиняя стихи, прислушивался поэт, она его вдохновляла:

Экой снег какой глубокий!
Лошадь дышит горячо.
Светит месяц одинокий
Через левое плечо.

И эта возрожденная Толей мелодия усилила, обнажила грусть и горечь кедринских строк: радость, счастье, сама жизнь — все это преходяще, и утешением тебе может служить лишь то, что не с тебя началось и не тобой кончится на земле,— и надо принимать мир таким и ценить его. Подобным же образом возникла песня на стихотворение Твардовского — «Ты откуда эту песню...».

Но это случалось редко, чтобы песня, можно сказать, сама давалась в руки. Обычно мелодия была скрыта глубоко, смутно мерещилась, как в стихотворении Пастернака «В больнице»:

Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строку за строкою
Марали опросный листок.

Толина мелодия обнаружила здесь скрытый городской романс. И так было много раз, безошибочно угадывался внутренний музыкальный строй стихотворения, переводился в соответствующий песенный жанр. Хочу назвать несколько таких песен: «Зимняя ночь», «Ева», «Свидание» Пастернака, «Чугунная ограда...» Ахматовой, «Можжевеловый куст» Заболоцкого, «Пластинка» Кедрина.

И еще один массив песен. Стихотворения Цветаевой:

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.

или Слуцкого:

Еще волосы не поседели
И товарищей милых
                ряды
Не стеснились, не поредели
От победы
        и от беды —

так сложны ритмически, так много в них «прозы», что заведомо и твердо они считались «антимелодичными», «антипесенными». Невозможно даже вообразить себе, что их (назову еще Слуцкого «За ношение орденов!», Межирова «Мы под Колпином скопом стоим...») можно положить на музыку и петь. А какие органические, пронзительные песни получались у Толи!

Многие стихи, из которых Толя сделал песни, в памяти тех, кто его слышал, теперь неотрывно связаны с его мелодией — это решающий признак удачи, это значит, что внутренняя музыка стихотворения была услышана им верно. Сколько, скажем, композиторов писали музыку к симоновскому «Жди меня», а ни одна мелодия не закрепилась, со стихотворением не срослась. А у Толи почти всегда мелодия «прорастала» в стихотворение.

Кстати, у него было железное правило: он не сочинял музыку к стихам тех поэтов, с которыми работали композиторы. Это не было причудой, оригинальничаньем, снобизмом. Он и в литературе придерживался того же принципа: чурался расхожих тем, захватанного материала, в командировки не любил ездить в куче — не раз говорил об этом. Побывав, скажем, за рубежом, он, конечно, не писал путевые заметки о том о сем — жанр, давно изживший себя, но легкостью своей все еще привлекающий многих литераторов. Вот как он начал очерк о поездке в ГДР: «В городе Росток на берегу Балтийского моря я не пошел на знаменитые верфи. Миновал порт, рыболовные суда, заводы, электровычислительные центры. Не без сожаления прошел я мимо этих объектов, для журналиста заманчивых, и направил свои стопы в сберкассу. Кто куда, а я в сберкассу». Да, он написал об особенностях финансовой системы в ГДР, а побывав в Венгрии,— не о Балатоне или «Икарусах», а о фармакологии. Это отталкивание от избитого, примелькавшегося, заранее известного определяет весь строй очерков Аграновского: материал, проблематику, стилистику. Я бы сказал, что так было устроено его зрение, если бы не знал, каким упорным трудом это давалось, каким въедливым самоконтролем, какой безжалостной самокритикой...

Боже мой, как он пел! Я слышал его множество раз — и каждый раз это был праздник. Слышал в Москве и Коктебеле, в Малеевке и Дубултах. Однажды неожиданно встретились в Праге — мы не пошли ни в ресторан, ни в пивную, а раздобыли гитару — что было совсем непро-

сто,— кажется, она была какая-то не такая, как надо, Толя долго не мог ее настроить, огорчался, а потом все наладилось, и он пел целый вечер. Когда в «Литературке» в отделе поэзии появился новый сотрудник Булат Окуджава — Толя в газете уже не работал — и мы узнали, что Булат сочиняет и поет песни, было организовано великое состязание «акынов». Нынче, когда все знают, что такое песни Окуджавы, понятно, что для Толи это было нелегкое состязание. Но оно и показало со всей очевидностью, что его песни не меркнут даже рядом с таким сильным светом. Кстати, Толя одним из первых оценил талант Окуджавы — очень любил его песни и некоторые прекрасно пел. Сейчас уже не помню, каким образом мы попали в гости к Борису Чиркову: сначала почти весь вечер слушали Толю, это раззадорило хозяина дома, и он потом великолепно пел частушки; кончилось все это под утро, никакой транспорт уже не работал, такси поймать не удалось, и нас развез по домам подвернувшийся «левак» — грузовик с фургоном. И никогда я не забуду шестидесятилетие Толи: пел он, пела с ним Галя, пели сыновья — Алексей и Антон, пели Толин двоюродный брат-юрист и искусствовед Костин (Толя всегда говорил, что это его учителя, которых ему в игре на гитаре не дано превзойти), все были в ударе, всех поднимала общая волна вдохновения — я не могу отыскать слов, чтобы рассказать, что это было за наслаждение, что за «пиршество духа».

Наверное, я был хорошим, благодарным слушателем,— Толя, мне кажется, любил петь при мне. Последняя наша встреча в ЦДЛ, на бегу за несколько дней до его смерти: «Слушай, старичок, есть две новых песни, надо собраться...»

Но песни песнями...

В «Литературке» мы вместе с Толей проработали недолго. В один прекрасный день коллективу был представлен новый главный редактор, репутация у него была не из лучших, и тогдашние руководители Союза писателей долго уговаривали нас, чтобы мы были доброжелательны, проявили понимание и такт, помогли новому руководителю освоиться, он, конечно, оценит высококвалифицированный коллектив и т. д. и т. п. Редактору предоставили слово для «тронной» речи, она была очень короткой и кончалась фразой: «Пока все можете оставаться на своих местах». Это «пока» продолжалось недолго. Первой пришлось уйти сотруднице, незадолго перед этим написавшей рецензию,

в которой доказывалось, что экранизация романа нашего редактора отличалась некоторыми достоинствами, которых не было у литературного первоисточника. Отмечали юбилей другой сотрудницы — она была единственным в редакции человеком, работавшим в газете с ее основания. Кто-то произнес шутливый тост (наш редакционный ансамбль верстки и правки имени первопечатника Ивана Федорова откалывал при прежнем начальстве и не такие номера): подсчитали количество сменившихся за время ее работы главных редакторов и заместителей главного и предложили выпить: «Дай бог, не последнюю!» Новый главный шуток не терпел: виновница торжества была отправлена на пенсию. Уволили затем сотрудницу бюро проверки — увольнение было незаконным, администрация настаивала на своем, выходила из себя, но уволенную вынуждена была восстановить. Газету пришлось тогда покинуть многим,— недавно один из моих бывших коллег вспомнил, что он был двадцатый.

Как-то Толя мне сказал, что решил уходить. «Вы все образованные, все знаете, а я недоучка — пойду поднимать свой уровень в Литинститут на Высшие литературные курсы». «Не придуривайся»,— сказал я ему. Он сначала продолжал шутливо развивать тему, что учение свет, а неучение — тьма, что мне это из-за снобизма трудно понять, а потом заговорил уже серьезно о том, что в редакции стало невыносимо, нельзя ратовать на полосе за внимание к человеку и законность, когда внутри самой редакции все это попирается,— газета не может держаться на фарисействе и цинизме, она все дальше будет катиться вниз. «Но уйти втихую я не могу,— сказал он под конец,— я бы перестал себя уважать, кое-что я им все-таки скажу». Он выступил на летучке. Ни разу, как обычно, не пошутил, не улыбнулся, видно, ему нелегко давался спокойный тон, он побледнел. Толя говорил о том, что такое коллектив газеты, где каждый на своем месте, как трудно создать такой коллектив, в котором каждый личность, а коллектив этот новым руководством уничтожается, из газеты увольняют и выживают тех, кто завоевал ей авторитет у читателей, и все это очень быстро скажется на ее уровне. Он подал заявление об уходе — естественно, его не удерживали...

Толя уже не работал в «Литературке», когда у него вышла первая солидная — почти пятьсот страниц — книга, вобравшая лучшее, что он к тому времени написал. Я напечатал тогда, четверть века назад, в «Знамени»

рецензию. Она называлась «Каким быть» — это и была ее главная мысль. Я писал о том, что очерки А. Аграновского «учат не тому, кем быть, а тому, каким быть... А. Аграновский умеет рассказывать о науке и технике и популярно рассказывать, но хорошо, что он умеет так же увлекательно рассказывать о тех, кто, упрямо ставя опыт за опытом, добивался наконец своего, кто, проводя бессонные ночи над выкладками и чертежами, отыскивал верное решение. За такими «героями» книги, как, например, искусственный дождь, или катапульта, или сам Центролит, отчетливо видны ее подлинные герои — люди. А. Аграновскому важно не только, чем занимается человек, а главное, как он делает свое дело».

Уже тогда, в ранних вещах, обращал на себя внимание, выделял его среди многих журналистов сосредоточенный интерес к нравственной подоплеке и нравственным последствиям тех противоречий и конфликтов, что происходят в науке и экономике, технике и управлении производством. Позже он брался за исследование явлений все более и более сложных, проблем «глубинного залегания», но это направление, так рано у него наметившееся, выдерживал, никуда не уклоняясь. Более того, с годами были отодвинуты в сторону задачи популяризаторские, занимавшие его на первых порах, теперь главным стало защита справедливости, проповедь человечности; он стремился в меру своих сил, как сказал о нем Александр Бовин, засыпать гейневские трещины мира,— они проходили и через его сердце.

Иногда популярность приходит к литератору вдруг: напечатал повесть или роман, и у всех на устах его имя. К Толе известность пришла незаметно, постепенно. Все чаще и чаще можно было услышать — в коридорах учреждений, в метро, в электричке: «Вот в последней статье Аграновского...», «А Аграновский об этом верно пишет...», «Как, вы еще не читали, непременно посмотрите в «Известиях» очерк Аграновского...» Его иронические фразы пошли гулять по свету, их стали цитировать в разговорах читатели. Но вот что примечательно: у тех, кто его давно знал, это не вызывало ни малейшего удивления, было само собой разумеющимся. Он писал мало, печатался редко, для журналиста слишком редко. Были у него годы и вовсе «неурожайные». Его помнили, интерес к нему не угасал, авторитет его рос.

Он обладал многими качествами первоклассного журналиста. У него были железная хватка и редкое упорство.

В своих книгах Аграновский сопровождал статьи и очерки короткими справками: сообщалось, что произошло после его выступления с человеком или делом, о которых он писал. Он гордился тем, что «меры приняты». И было чем гордиться — ведь речь шла в его очерках и статьях о судьбе людей, о важных делах. Я сам не один год проработал в газете и хорошо знаю, как непросто добиться того, о чем сообщается в коротких редакционных заметках под рубрикой «По следам наших выступлений», какая этому иногда предшествует нелегкая и продолжительная борьба, какое сопротивление приходится преодолевать. Хорошо помню, как огорчался Толя, когда, несмотря на его статью, не удалось оградить честного человека от несправедливых обвинений. «Я чувствую себя,— жаловался он,— как врач, который не сумел помочь больному».

Я знаю, какое большое впечатление на многих произвела его последняя неоконченная статья и подготовительные заметки к ней. Стало ясно, каков был фундамент фактов, подпирающий каждую его статью, очерк, каждое его суждение, какова была эта невидимая читателю подводная часть «айсберга». А ведь в этом прежде всего проявляется мера ответственности пишущего. Но даже такого рода точность — все-таки добродетель журналиста. А Анатолий Аграновский был не только блестящий журналист, но и талантливый писатель. И, может быть, прежде всего писатель, хотя его произведения первоначально публиковались на газетной полосе и речь в них шла о подлинных событиях и реальных людях,— он называл имя, отчество, фамилию и место работы.

Если бы КПД выступлений Аграновского исчерпывался теми практическими мерами, которые после них были приняты, вряд ли по прошествии какого-то времени его статьи и очерки представляли бы живой интерес. Читатели очерка, опубликованного в газете, и читатели очерка, перекочевавшего через десяток лет в книгу, ищут в нем не одно и то же. Не секрет, что работа журналиста имеет одну грустную особенность: чем дальше уходит время, тем меньше из написанного в прошлом представляет ценность для читателя. И у Аграновского были «отходы» — не все он по прошествии времени перепечатывал в своих книгах. Ничто так быстро не устаревает, как информация, даже когда это интересная информация. Но удивляться надо не тому, что «отходы» были, а тому, сколь они незначительны...

Иногда считают, что художественный очерк от газетно-

го репортажа отличается тем, что написан «красиво», языком образным, метафорическим. Это наивное, хотя и довольно распространенное заблуждение, которым грешат не одни только читатели. Как-то в одной крымской газете я прочитал заметку, которая начиналась так: «Море... Солнце... Песок... Передний край курорта...» Показал ее Толе, и мы затеяли игру: к чему можно применить это выражение — «передний край», чтобы перещеголять автора заметки («Зеркала... Ножницы... Бритвы... Передний край парикмахерской...», «Качели... Горка... Песочница... Передний край яслей...»). А ведь репортер хотел, чтобы было «художественно», решил, что элементарные сведения о работе дома отдыха можно «украсить» и «приподнять» патетикой, в данном случае совершенно неуместной и поэтому смешной. Сделано это было крайне неловко, но и ловкие «украшатели» похожи друг на друга кудряво-безликим стилем. В погоне за «внешними признаками» художественности они неизбежно обращаются к тому, что стало расхожим, превратилось в штамп.

У Аграновского была своя манера, свой почерк. Его руку узнаешь сразу, по первому же абзацу.

Вот начало одного очерка:

«Почему-то самые большие склоки бывают в самых маленьких коллективах. Есть в Кандалакше заповедник, где все всё обо всех знают. Обиды не забываются, раздоры — надолго, разборы тянутся годами. «Значит,— спросил я у Коханова, секретаря партбюро,— при прежнем директоре было у вас две враждующих группировки?» — «Почему две? — сказал он.— Три. Научные сотрудники разбились на три группы». А их там всего десять человек».

А вот другого:

«История, увы, не новая, старая: дети воровали ягоды в совхозном саду. Подчеркиваю: в совхозном. Подчеркиваю: воровали. Подчеркиваю: дети. Вы как хотите, а для меня из всех обстоятельств это главное — дети».

Пробежав эти первые фразы, читатель уже не мог отложить газету, не дочитав очерк до конца. А цитаты я выбрал наудачу — можно привести начало любого другого очерка.

Манера Аграновского не была чем-то внешним, при всей ее яркости она не была щегольской. Стиль его органичен и функционален, он производное от его способа исследования действительности. И увлекает в публицистике Аграновского прежде всего анализ явлений и характеров,

бесстрашная мысль, проникающая в суть проблемы, как бы сложна или противоречива она ни была. Им двигали любовь и уважение к истине, он настойчиво искал ее, а его манера рождена стремлением сделать читателя сопричастным этим поискам, он не хотел, чтобы ему верили на слово, он добивался того, чтобы читатель думал вместе с ним, взвешивал аргументы, сопоставлял факты, ломал голову над реальными противоречиями. Это были действительно поиски истины и правды, не лежащих на поверхности, настоящее исследование, а не его имитация, не задача, ответ на которую автору был известен заранее.

Над одним из очерков Толя работал на моих глазах. Спешу сразу же оговориться, что в этой фразе одинаково условны и «работал» и «на моих глазах». На самом деле он в Дубултах был в отпуске — вместе с Галей, на последнюю неделю к ним неожиданно приехал отработавший в студенческом отряде Антон — с трудом «организовали» раскладушку, все в однокомнатном номере, в лоджии расположилась семья голубей, которой покровительствовала Галя,— вылупились птенцы, и нельзя было их тревожить. По-моему, Толя даже не брал с собой машинку. Днем, если хорошая погода,— на пляже, вечерами долгие прогулки вдоль моря или посиделки то там, то здесь,— компания подобралась хорошая. Какая уж тут работа! И все-таки он работал, несколько раз побывал в Риге — у министра деревообрабатывающей промышленности, на мебельной фабрике «Тейка» — беседовал с директором, с мастерами-краснодеревщиками, с выпускниками ПТУ — рассказывал, вернувшись, что видел и слышал. Он сказал мне, что собирает материал для очерка, что проблема его очень интересует, но многое ему пока неясно. Речь шла о судьбе индивидуального мастерства в эпоху НТР — обречено ли оно на вырождение, задавят его конвейер, автоматика, роботы или в каких-то новых формах оно будет существовать, в чем и как может проявляться? В ходе разговоров и споров, которые Толя иногда провоцировал, возникали новые и новые вопросы: сила традиции, нравственный стимул, свободное развитие личности. Потом в очерке «Левша на космодроме» он написал: «Спор — лучший метод ведения таких бесед». Видно было, как серьезно размышляет над всем этим Толя, на какой огромный жизненный материал опирается. И очень внимателен он был к контраргументам.

Исследуя проблему, выясняя обстоятельства, Агранов-

ский всегда был предельно объективен. Самым добросовестным образом выслушивал все возражения своих оппонентов. И не только выслушивал, но и воспроизводил их. И воспроизводил иногда не только их, но и то, что не было, а могло бы быть сказано. Он, как говорится, «входил в положение» своих противников, излагал порой и доводы, придуманные за них, которые им и в голову не приходили, а ему пришли. Не зря в одной из статей он написал: «Если бы я был министром высшего образования, я бы пригласил журналиста Аграновского и сказал ему...» Он не боялся оппонентов, уверенный в силе своих аргументов, не старался представить их читателям глупее и хуже, чем они были на самом деле.

Доказывая в свое время — тогда это еще было совсем не просто доказать — научную несостоятельность опытов, проводившихся на экспериментальной базе Академии наук СССР в Горках Ленинских, он обвинял главного зоотехника в невежестве, писал, что ему неведомы элементарные принципы научной работы, что на экспериментальной базе наукой и не пахнет, но, сказав все это прямо, определенно и резко, он не забыл добавить, что главный зоотехник «научился не спать ночей и болеть за дело», что он «как придет на ферму в четыре утра, так и крутится до ночи. Тут вообще, он считает, такие люди нужны, чтобы имели часы, да не смотрели на часы. В тот день, когда мы встретились, он был нездоров, но все равно, сопя и кашляя, вышел на работу. Говорят, когда главный зоотехник уходит в отпуск, на ферме снижаются удои. Такой он работник».

А вот статья «Вишневый сад», вызвавшая лет десять назад много шума,— а иного резонанса у такой статьи и быть не могло... Из украинского села пришло письмо: десятилетнего мальчишку, воровавшего ягоду в совхозном саду, бригадир приказал запереть в пристройке, где хранились ядохимикаты,— мальчик тяжело заболел. Побывав в этом селе, Аграновский ничего не утаил от читателя. Он хотел, чтобы они все знали. И то, что отец мальчика «отбывает срок: украл на ферме корову». И то, что он, видимо, «не в пазуху рвал, не в рот, а в кошелку — тут не просто озорство». И то, что «сад был ухоженный, чистый», бригадир «растил его, ночи не спал, дело он любит, делу предан, ездил за саженцами по всей Украине», районное начальство всячески бригадира защищает, хотя «он им не сват, не брат» Все это он выложил для того, чтобы потом написать без всякой уклончивости: «Ну виноват мальчиш-

ка, да разве в старые, проклятые времена засекали, калечили мальчиков «в людях» вовсе уже без вины? Выходит, если б горсть вишни взял, то нельзя его ядами травить, а если пуд, то можно. Выходит, будь он сыном передовика производства — ни в коем случае, а коли он воров сын — сажай его туда, где и свинье быть вредно... Тупосердие — вот этому имя, слово ввел А. И. Герцен, поразительно соединив в нем и тупость, и усердие, и бессердечие. Лучшего определения тому, что сотворил бригадир в украинском селе, я не знаю».

Аграновский не стремился к легким победам, не упрощал дело, не обходил того, что не укладывается в схемы,— он не уставал повторять, что жизнь вообще не укладывается в схемы, проблемы никогда не заслоняли ему людей — он понимал, что в человеке нередко разное намешано,— в этом тоже был писателем. А кроме этого, он хорошо знал, что легкие победы таят в себе тяжелые поражения.

Но вот ведь как получается: пишу воспоминания, а цитирую его очерки и статьи. Наверное, потому, что, перечитывая их, я все время слышу его живой голос. Та же манера, что и в жизни, рассуждать — неторопливо, взвешенно, проверяя все, в том числе и собственную точку зрения, иронией. Может быть, поэтому многие истории, крылатые фразы, возникшие и бытовавшие в доме Аграновских, которые я слышал то от Толи, то от Гали, затем оказывались к месту в каком-нибудь очерке или статье. То же, что и в жизни, сквозящее даже в интонации неприятие узости, ограниченности, шор — даже в тех случаях, когда все это возникало на почве вполне благих намерений. Тот же, что и в жизни, тонкий нравственный слух,— черствость, неделикатность, демагогия, самомнение — даже в микроскопических дозах — обнаруживались им мгновенно.

Вспомнилась одна история. Мы с Толей как-то оказались в Доме творчества вместе с Максом Бременером — прекрасным детским писателем и очень милым человеком. С детства Макс был тяжело болен — любая простуда грозила ему тяжелыми осложнениями, все ему запрещалось, в том числе и морские купания. А стояло нестерпимо жаркое даже для Крыма лето, вода была сказочная. И мы уговорили Макса впервые в жизни искупаться. После телефонных консультаций с Москвой — Макс был сыном и внуком врачей — разрешение, сопровождаемое всякими

рекомендациями и предостережениями, было получено. Толя, взяв Макса за руку, вошел с ним в море, я стоял у самой воды с полотенцем. Макс, естественно, нервничал: обойдется ли все благополучно,— но старался вида не показывать. Всю эту эпопею Макс затем превратил в очень смешную новеллу — он был прекрасным рассказчиком с превосходным чувством юмора, обращенным прежде всего на себя самого. Но он видел не все. Это необычное купание вызвало веселое оживление на мужском пляже — какой повод для остряков поточить языки! И как трудно им бывает остановиться. Прекратил становившееся тягостным зубоскальство Толя — одной репликой: «Ну чему вы смеетесь? Неужели вы не можете понять, что ему выкупаться было так же страшно, как кое-кому из вас когда-то подняться под пулями?»

Толя иногда говорил: «Я отстаиваю лишь здравый смысл». Здравым смыслом для него была человечность: ею проверялись и экономические выкладки, и административные решения, и доводы хозяйственников, и служебные и бытовые отношения. Нередко его суждения и выводы — и в жизни и в очерках — поражали неожиданностью, казались даже парадоксальными, потому что он обнаруживал скрытое нравственное содержание явлений, которые обычно под таким углом зрения не рассматривались,— он словно бы возвращал им забытый подлинный смысл.

В чем он увидел, скажем, причины той тяжелой драмы, которой посвящена статья «Вишневый сад»:

«Если в корень смотреть, все беспорядки в вашем саду проистекают оттого, что хозяин в нем один — бригадир. При такой постановке дела в одном развиваются куркульские черты, во всех остальных — черты поденщиков. И чем меньше хозяина в работниках, чем меньше подкреплено это чувство — организационно, экономически, нравственно,— тем выше надобны заборы.

Кто спорит, нужен урожай, и дело надо делать, но не любой ценой. Нужны деловые люди, но люди!»

В очерке «Аскания-Нова», написанном в 1964 году, Аграновский выступил в защиту этого уникального заповедника, который уничтожался под лозунгом: «Народнохозяйственного значения не имеет» (я намеренно назвал год — такие слова, как «Красная книга», «экология», «охрана природы», тогда, двадцать лет назад, еще не вошли в газетный обиход). Он пересказал все соображения практического порядка, которыми с ним поделились сотрудни-

ки заповедника, защищающие свое детище, он сослался на почерпнутые в документах сведения. Он изложил все это для того, чтобы в заключение сказать: «Асканийские энтузиасты, затюканные хозяйственниками, сами заговорили их языком. Им говорят, что дикая лошадь не имеет народнохозяйственного значения. А они доказывают: нет, имеет. Да разве в этом дело? Разве только в этом? А если зебру так и не удастся запрячь в бричку, убить ее за это, что ли? А если, не дай бог, молоко канны не окажется целебным, что же, и ее тоже того... отстрелять?.. Мы просто обязаны вручить нашим детям, детям наших детей мир не голым, не обструганным, а живым, во всем его красочном многообразии».

В очерке, посвященном состоянию техники безопасности, Аграновский подробно, не боясь наскучить читателю, занялся экономической стороной проблемы. Но и здесь решающий для него довод — он оставил его под конец — находится в иной сфере, в иной плоскости: «Ну, докажем мы, что вложение капитала в охрану труда выгодно. А если б оказалось невыгодно, что тогда?.. Хочу познакомить вас с людьми, которые независимо от веяний, мод и кампаний бьют в одну точку. Забота о человеке нужна потому, что она нужна человеку; этого им предостаточно. Мечту их легко осмеять с позиций житейского расчета, но трудно подняться до их мечты».

О чем бы ни писал Аграновский, за какую бы тему ни брался, цель его — человеческое содержание проблемы, ее нравственный эквивалент. Он тоже независимо от веяний, мод и кампаний бил в одну, именно в эту точку. Он как-то написал: «Трубу в конце концов можно переложить и железо можно послать на переплавку, но кто переплавит обиду людей? Кто подсчитает цену усталости, безверию?.. Нравственные потери — они ведь самые невосполнимые».

«Ты думаешь, тут машины испытывают? Все так думают. А тут не машины — людей испытывают: чего кто стоит» — это слова известного летчика-испытателя Алексея Гринчика, одного из любимых героев Аграновского, но они принципиальны, программны для его творчества: так думал и он сам, так смотрел на любое дело — через человека...

Сказав «любимые герои», я не оговорился, хотя непривычно это звучит, когда речь идет об авторе очерков. Не романов, не рассказов, а очерков. Но если очерки принадлежат художественной литературе, у автора могут быть

излюбленные герои — ничего странного здесь нет. Были они и у Аграновского. Это люди, которым свойственны «гордость мысли, независимость принципов, самостоятельность суждений», они «мечтают о благе человечества, а не о повышении по службе».

Этой же породы человеком был и Анатолий Аграновский. Не случайно многие люди, о которых он писал, становились затем его друзьями. К нему тянулись незаурядные люди, потому что сам он был человеком крупным, интересным. Я помню, как Игорь Евгеньевич Тамм, который был вдвое старше Толи, сразу же выделил его из довольно большого числа писателей, находившихся в Доме творчества. С Толей он охотнее всего проводил время — и не только оживленно рассказывал, но и с большим вниманием слушал...

Есть у Аграновского цикл очерков «Счастливые» — о тех, кому повезло в науке: открыл комету, расшифровал письменность исчезнувшего народа, обнаружил поселение древнего человека и тому подобное.

Во время давнего «трепа» в «Литературке» кто-то с подковыркой спрашивает:

— Старик, что это ты все пишешь о счастливчиках, о прославившихся?

Толя не принимает вызов и отвечает лениво безмятежным тоном:

— А я, старик, вообще певец светлых сторон действительности...

Мгновенное замешательство, однако атака продолжается:

— Нет, ты все-таки скажи...

Толя, видимо, злится, но улыбается, тона не меняет:

— А я пишу о них, потому что не хочу врать...

Он потом много писал и о том, что называется отрицательными явлениями, непременно докапываясь до причин, до обстоятельств, которые были питательной почвой для зла...

Да и у его счастливых героев путь часто бывал драматическим. Успех их — это он доказывал и утверждал с абсолютной убежденностью — не слепая игра случая, доставался он нелегко.

Аграновский сам принадлежал к тем, кого он называл счастливыми, ему все шло в руки: люди, события, проблемы. А природа этого успеха была та же, что у его любимых героев...

Мы познакомились тридцать лет назад. Какими короткими оказались эти тридцать лет...

В одном из стихотворений Симонова есть такие строки:

Раньше как говорили друг другу мы с ним?
Говорили: «Споем», «Посидим», «Позвоним»,
Говорили: «Скажи», говорили: «Прочти»,
Говорили: «Зайди ко мне завтра к пяти».
А теперь привыкать надо к слову: «Он был»,
Привыкать говорить про него: «Говорил»...

Не могу привыкнуть к этому роковому «был»...

Константин ВАНШЕНКИН

«Предстоит на свете жить»

Начну с конца. С того субботнего раннего звонка, когда сперва ни слова нельзя было разобрать. Потом второй, слышнее: это Галя Аграновская, говорит из Пахры — мы это знаем,— у Толи подозревают инфаркт, нужно подняться к ребятам, чтобы включили телефон, она не может до них дозвониться. Антон, наверное, как нарочно, уехал, у него дела. А Оля дома. Нужно организовать перевозку. Договориться с клиникой... Потом наши лихорадочные, разыскивающие звонки. А потом звонок в дверь, заплаканная невестка. Ничего уже не нужно. И все это в течение часа.

Потом «Известия», панихида, дождь — как сквозь сон. Алеша с Сашей и Машкой, прилетевшие из Эфиопии, речи, цветы...

А по порядку? Галю мы вообще знаем с незапамятных времен. А его? Помню «Литгазету» начала пятидесятых. Ее коллектив, подобранный Симоновым поштучно, как собирают коллекции. Оттуда многие вышли. Ее ансамбль «Верстки и правки». Грандиозное выступление в перерыве московского писательского собрания в пятьдесят четвертом году — наверное, пока печатали бюллетени для голосования. Аграновский — солист, красивый, почти смазливый, в тельняшке. Исполняется на мотив «Раскинулось море широко» песня о том, что честь смолоду нужно беречь, «а также и в зрелые лета». Толя поет со вкусом: «в зрелаи лета»...

Еще раньше я видел и слышал его отца, известного в ту пору журналиста. Я учился в Литературном институте, а он в качестве руководителя ездил с тремя нашими студентами — Борисом Бедным, Владимиром Тендряковым и Григорием Баклановым — на Волго-Дон. Каждый из троих написал в результате очерк, их публично обсуждали в институтском конференц-зале. Лучшей была признана работа Бориса Бедного.

Документальную повесть о Волго-Доне «Утро великой стройки» (в соавторстве с В. Галактионовым) написал

и Толя. Она была выдвинута на Сталинскую премию, но осталась за чертой отмеченных — к удивлению многих. А получи он тогда премию, как бы сложилась его судьба? Думаю, что так же.

С 1957 года мы стали жить в одном доме. Рядом росли, а потом учились в одной школе наши дети. Аграновские вначале занимали двухкомнатную квартиру. Однажды, придя на день рождения Толи и собираясь позвонить в дверь, я обнаружил, что количество прожитых им лет совпадает с номером квартиры — 37. Спустя немалое время, когда они жили в нашем же доме, но в трехкомнатной квартире, я, тоже на дне рождения, вспомнил об этом и выразил пожелание, чтобы подобное совпадение в будущем повторилось,— теперь номер их квартиры был 83. Увы, до этого возраста ему не хватило более двадцати лет.

Широко известны его очерки, его книги. Он имел своего — умного, обширнейшего — читателя. Но как он стал журналистом такого класса? Конечно, способности, дарование. Однако главное — он поднял, воспитал и усовершенствовал себя сам — путем огромной и постоянной внутренней работы. В своих «известинских» очерках он ставил проблемы государственной важности. Для этого нужна была немалая смелость. Он развил и продолжал развивать в себе это качество.

Он болел за дело не на словах. Он бывал отчасти оппонентом — если хотите, даже официальным,— как при защите диплома или диссертации.

«Принципиальность» — пишут в служебных характеристиках едва ли не каждому. А у него были п р и н ц и п ы. Не специально сформулированные и расположенные по параграфам, нет, они были в нем самом — к случаю, к месту.

У него был друг Олег Писаржевский — я его хорошо знал,— публицист, ученый, занимавшийся главным образом делами и вопросами науки. Он работал взахлеб, не жалея себя, по восемнадцать часов в сутки, беспрерывно глотая кофе и дымя сигарой. Он все делал стремительно, он и умер на бегу, упал на улице. Но ведь, в общем, похоже умер и медлительный Толя.

И вот в день смерти Писаржевского пришло в редакцию обращенное к нему наглое, развязное письмо от очковтирателя, невежды, уверенного в своей неуязвимости.

Ответил Аграновский. Сдержанно, холодно, вежливо расщелкал адресата по всем пунктам. Но сперва поехал, конечно, в хозяйство, изучил положение на месте,— он всегда шел от жизни, а не придуманных заранее схем.

Он был остроумен, тонок, ироничен, саркастичен, наконец, резок.

Он умел получить от собеседника то, что ему было нужно. У него, безусловно, была хватка — прежде всего журналистская. Он не стеснялся уточнять, надоедать, переспрашивать,— ему нужно было дойти до сути.

А вообще-то он был, если угодно, тугодум. Писал не как газетчик — по темпу, оперативности отклика. Не обладал быстротой реакции — здесь, скорее, отличалась Галя. В этом было у него и что-то защитительное.

Мы с женой, а потом и с дочерью обычно читали в газете все его статьи. Я тут же и звонил: высказывал мнение.

Однажды, уже поздним вечером, позвонила Галя Аграновская:

— У вас все в порядке?

— Да,— ответила моя жена.— А что случилось?

— Напечатана статья Толи, а вы молчите, я и решила проверить...

Тогда сказал я:

— В нашем экземпляре не было... (Разумеется, мы просто пропустили ее.)

Эта фраза вошла у нас в обиход. Когда печатали что-нибудь я или Инна, звонили Аграновские и начинали так: «В нашем экземпляре есть...»

И еще — забавная деталь в отношениях. Люди, столь близко знающие друг друга, говоря по телефону, обычно не называют себя, за них представляется их голос. И вдруг — что случилось? Толя не узнал меня. Сказал свое обычное «аллёу», но чувствую, говорит с кем-то другим. Я спрашиваю: «А ты знаешь, с кем беседуешь?» Он несколько опешил и назвал имя — не мое.

Я предложил: «Называй уж меня просто Петей».

Он уже узнал и, несколько смущенный, протянул: «Ладно. И ты меня, Петюня».

И мы стали так друг друга называть, сначала смеясь, а потом, попривыкнув, и серьезно. Люди, даже знавшие нас, порой таращили глаза, ничего не понимая.

Дошло до того, что его сыновья начали называть меня дядей Петей, а моя дочь именовала так его. А недавно —

Толи уже не было — я поднялся к ним, и Антон, врач-офтальмолог Антон Аграновский, открывая мне дверь, сказал: «Здрасьте, дядя Костя,— и тут же поправился: — Дядя Петя». В этой его нарочитой как бы оговорке было что-то очень трогательное, преемственность, что ли.

Толя любил футбол, был давним приверженцем «Спартака». Предпочитал смотреть в одиночестве, на кухне, по маленькому черно-белому телевизору. Вертел шеей, словно ему что-то мешало, грыз от волнения ногти. То и дело хватался за коробку «Казбека» и, постучав мундштуком папиросы о коробку, закуривал. (Даже когда он пел, у него часто торчала в углу рта «казбечина».)

Однажды я взял его на стадион. Он колебался, принять ли приглашение, потом согласился. Был прекрасный летний вечер, мы пошли пешком, загодя, и уже на Ленинских горах почувствовали себя причастными к некоему важному общему событию. Народ валил валом. Игрался официальный матч СССР — Венгрия на первенство Европы. В Будапеште наши недавно проиграли 0:2 и теперь жаждали реванша. Команда у нас была еще настоящая. Когда мы поднялись на трибуну и, отыскав свои места, уселись, Толя был слегка ошеломлен реальной огромностью густо заполненной лужниковской арены. Стемнело. Включили прожектора. «И освещен прямоугольник поля, как поле биллиардного стола».

Преимущество наших было подавляющее, но забили они в первом тайме только один гол.

— Ну, как? — спросил меня Толя в перерыве, глубоко затягиваясь.

— По игре должны были закатить еще два,— ответил я.

На футболе незнакомые люди общаются, обмениваясь мнениями и репликами, с совершенной естественностью.

— Ну, как? — спросил Толю человек, сидевший с другой стороны.

— Что сказать? — произнес Толя веско.— По игре-то ведь еще должны были закатить парочку. Так я понимаю.

— Да-да! — соглашался сосед с пылкостью.

Тем действительно и окончилось.

У них дома обычно бывали одни и те же люди: два-три литератора, крупные медики, партийные работники, авиаторы.

Это те, кто всегда. А еще я встречал у него академиков, генеральных конструкторов. Он не стеснялся приглашать

их в свою даже маленькую двухкомнатную квартирку. Они интересовали его, а им было интересно с ним.

Чаще всего он писал на экономические темы, в том числе и тогда, когда говорил, к примеру, о медицине. Главной же привязанностью его жизни была авиация. И последняя его, посмертная, неоконченная статья начинается так: «Как сокращают аппарат? Любой. Ну, скажем, летательный. Способ один: убрать лишнее».

«Убрать лишнее» — главный принцип и в искусстве. Уметь это — признак высокого мастерства. В нынешней литературе это встречается столь редко.

Работа в газете, его статьи и очерки были для Аграновского основным. Но он писал и прозу, и сценарии художественных фильмов. А в документальном кино он считался мэтром,— его приглашали не только с собственными сценариями, но частенько — дотянуть чей-то, помочь, написать дикторский текст. В кино он подписывался А. Захаров — и на Аграновского смотрел снизу вверх, хотя и здесь порой с гордостью рассказывал о какой-нибудь находке.

Он был отчасти артистом, не только когда брал в руки гитару. Он хорошо рисовал, мастерил всякие поделки: из мягкого песчаника — руку с факелом или подаренную моей жене фигурку из яичных скорлупок, сидящую нога на ногу и читающую книжку с надписью на обложке: «Инна Гофф «Поэтом можешь ты не быть». А сколько он придумывал и конструировал всего для внучки Машеньки!

Он любил иногда сказать что-нибудь подчеркнуто аффектированно или пройтись по комнате, что называется, эдаким фертом.

Они оба с Галей были в некотором роде светскими людьми: любили всевозможные премьеры, просмотры, вечера, посиделки. Он оживлялся там, даже преображался и казался не таким, каким я привык его знать.

Они любили ходить в гости и принимать гостей. За столом у них бывало весело: рассказывали, каламбурили, острили, но, как правило, не он. Он посмеивался, похмыкивал, иногда несколько таинственно.

Вот я сказал, что он любил повеселиться, рассеяться. Но, казалось, и тогда что-то не отпускало его.

Он был очень внимателен к друзьям. За послевоенные годы я трижды лежал в больницах, и всегда он меня навещал. Мчался одним из первых. И посещал не меня только, разумеется.

(И вот тогда, апрельским утром, когда раздался звонок из Пахры и Галя сказала, что у Толи подозревают инфаркт, в голове у меня мелькнуло: ну, инфаркт, ничего, выберется. Переведут из реанимации в палату, я приду к нему... Мелькнуло на миг, а потом уже было не до этого.)

Он многим помогал в жизни, в том числе живущим в нашем доме: Власенковым, Фадеевой. Люди ценили это, уважали и уважают его...

Да, так вот опять о другом, о другом его таланте.

Он пел — под гитару. Что он пел? Сперва чужое: песни Булата, Галича, Анчарова, старинные романсы, всяческую стилизацию. Они лихо пели с Галей на два голоса, он кивал ей в нужных местах: «Галка, давай!» С годами, когда иногда он пробовал вспомнить что-то старое и сбивался, она подсказывала ему слова. Оба сына, Алеша и Антон (у того и у другого в детстве была во дворе кличка «Агроном»), когда подросли, тоже играли на гитарах — здорово, лучше, чем отец, помогали, аккомпанировали ему. Гитары у всех троих были настоящие, старые, кажется, краснощековские.

А потом он начал исполнять свое. Сочинял музыку на отысканные или приглянувшиеся стихи. И так же, как над статьями, работал долго, упорно.

Он пел песни и романсы на стихи Твардовского, Пастернака, Ахматовой. Пел Кедрина, непесенного Слуцкого (чем особенно был горд), Межирова, Самойлова, Тарковского.

Кайсын Кулиев, учившийся вместе с Толей на Высших литературных курсах, и не подозревал об этих его занятиях и, помню, восхитился через много лет, в Дубултах.

Пел Анатолий Аграновский и мое. А нашу, совместную с Инной, песенку «Пока ты рос, носил матроску» Сергей Орлов услышал на Беломорканале и потом не хотел поверить, что она наша.

Толя обижался, если я отдавал стихи — после него! — профессиональным композиторам,— бывали и такие случаи. Обижался не вполне всерьез, конечно, но из своего репертуара песню исключал.

Одно время он пел мою песенку «Пожелай удачи!».

Отплываю завтра я.
Что ж, не первый случай.
Ты, хорошая моя,
Зря себя не мучай.

Я вблизи тебя люблю,
А вдали тем паче.
На прощанье кораблю
Пожелай удачи.
Там повсюду снег да лед...— и так далее.

Он очень душевно ее пел.
Это было в пятьдесят девятом году.

Вскоре я напечатал это стихотворение в «Правде». А затем вдруг, через месяц с небольшим, получил следующую радиограмму:

«Москва Воровского Союз писателей поэту Константину Ваншенкину=28 ноября ДЭ Обь направляющемся Антарктиду вечере самодеятельности связи прохождением экватора впервые была исполнена ваша песенка Пожелай удачи мелодия моя тчк Успех объясняю прежде всего вашим искренним текстом близким каждому участнику экспедиции привет южного полушария=Кричак=»

Согласитесь, приятно. Кто этот Кричак? Ясно, один из ученых, зимовщиков. Интересно с ним будет потом встретиться. (Его хорошо знал Юхан Смуул, ходил с ним в предыдущую экспедицию, после которой написал «Ледовую книгу». Он с ходу назвал мне несколько других его песен: «Антарктический вальс», «Белый айсберг»,— Кричак был там признанным бардом.) Я послал на борт дизель-электрохода ответную телеграмму — с пожеланием удачи и сказал Толе:

— Слушай, у тебя появился конкурент...

А потом было напечатано сообщение о трагической гибели в Антарктиде нескольких наших зимовщиков. В том числе Оскара Кричака. Не только я, но и Толя принял это близко к сердцу. По его инициативе появилась в «Известиях» статья об этой истории.

А я с тех пор печатаю эти стихи с посвящением: «Памяти Оскара Кричака». Потом их положил на музыку Э. Колмановский, песня довольно часто исполнялась, была записана на пластинку.

Кончалась она так:

Светят звезды в тишине.
Ветер. Ветки гнутся.
Предстоит уехать мне,
Предстоит вернуться.

Предстоит еще решить
Разные задачи.
Предстоит на свете жить.
Пожелай удачи!

Так и звучит в ушах хрипловатый Толин голос...

Когда я стоял у его гроба, а потом сидел у них дома, я думал и о том, что сыновья его уже взрослые мужчины, что невестки потрясены горем, как родные его дочери.

Вижу его за машинкой, с папиросой в углу рта, на диване, с книгой, в разговорах, у нас или у них, запросто, на кухне, сначала вчетвером, а впоследствии и с подключением ставших взрослыми детей. В разговорах — о чем? Как ответить? О жизни, вероятно.

Принято считать, что напечатанное в газете работает один день,— ведь назавтра выходит следующий номер. С ним не так. Тому, что сделал он, предстоит на свете жить. А нам предстоит его помнить, о нем думать.

* * *

ПЕВЕЦ

А. Аграновскому

Когда с настойчивостью старой
Мела за окнами пурга,
Он, взяв соседскую гитару,
Садился — на ногу нога.

Откашливаясь то и дело,
Он о солдатской пел судьбе,
Задумчиво и неумело
Аккомпанируя себе.

Он пел старательно и хрипло
С самим собой наедине
О том, что все же не погибла
Когда-то молодость в огне.

И видел: дым плывет, как вата,
По большаку идет солдат...
Он пел негромко, сипловато
И струны трогал наугад.

1960

Э. КАНДЕЛЬ

Слово о друге

Тридцатилетняя дружба, верная и надежная, связывала меня с Аграновским. Это, я полагаю, дает мне право, как и при жизни, называть его Толей в этих заметках о нем.

Об его уме. Толя был очень умным. Это знали все — не только друзья и все, кто его знал лично, но и миллионы читателей «Известий», для которых каждый очерк А. Аграновского в газете был событием. Когда-то Кант написал, что ум — это соединение способности к рассуждению и остроумия. Если у человека есть только одно из этих качеств, его нельзя назвать умным. Если есть только первое — это скучный резонер, если только второе — это легкомысленный, поверхностный остряк. Если же эти оба качества соединяются в одном человеке, то чудесным образом и получается этот драгоценный сплав — ум.

Я думаю, что короткая оценка «умная статья» — высшая похвала для журналиста. О Толиных статьях именно так, не сговариваясь, отзывались все. И ценили их главным образом за это качество. Способность к рассуждению была у него уникальной. Строгая внутренняя логика развития идеи статьи, достоверность и многократная проверенность фактов, убедительные и веские аргументы, яркие и точные примеры — все это было обязательным для каждого его очерка. И столь же обязательно в них присутствовал юмор — один-два коротких смешных эпизода, шутливая оценка ситуации, ирония. И всегда это было к месту, не просто украшение очерка, но и раскрытие новых граней темы.

Драгоценное свойство таланта. Толя обладал уникальным качеством, которое я затрудняюсь назвать двумя-тремя словами. Тривиальное словосочетание «чувство нового», пожалуй, не подходит для определения этого свойства ума и души. Смысл его заключается в удивительном умении увидеть в случайном и, казалось бы, незначительном явлении важное, проблемное уже сейчас или то, что станет важным и значительным в недалеком будущем.

Самое удивительное в этом очень редком и потому особенно драгоценном качестве то, что, увидев это явление, остановится лишь один человек из ста или из тысячи, в то время как все остальные пройдут мимо.

Несомненно, что этим талантом, этим редким качеством обладают большие писатели и поэты. Я убежден, что этим качеством наделены и большие ученые. Неизвестно, когда были бы открыты антибиотики, если бы Флеминг не обратил внимание на чашку Петри, в которой исчезли колонии микробов, когда на ней выросла плесень. Не подлежит сомнению, что и до Флеминга это явление видели другие микробиологи. Скорее всего, качество это свойственно не только писателям и ученым, но и всем талантливым людям.

Однако увидеть — это еще не все. Необходимо, как сказал Ганс Селье, видеть то, что видят другие, но думать так, как не думал никто. Вот это качество и было развито у Толи в высочайшей степени.

Позволю себе привести два примера.

После опубликования «Писем из Казанского университета» — одной из самых глубоких и блестящих его работ — Толя получил среди множества писем письмо из г. Чебоксары от доктора Федорова. Молодому провинциальному врачу захотелось выразить автору свое восхищение прекрасными статьями о современной науке. Этот врач ничего не просил и, наверное, даже не рассчитывал на ответ от известного московского журналиста, понимая, какую лавину писем получит он после этих статей. Тем не менее врач написал и о своих делах. Он сам смастерил тонкие инструменты, выточил ими из пластмассы искусственный хрусталик и пересадил его в глаз молодой девушки. Хрусталик прижился, и глаз стал видеть.

«Приезжай вечером,— позвонил мне Толя,— я хочу показать тебе одно любопытное письмо».

Я не специалист в области офтальмологии, но письмо это и на меня произвело сильное впечатление. «Если эту операцию не делают ни в Москве, ни в Париже, ни в Нью-Йорке, а в Чебоксарах и если это правда, то ...я не смогу этим не заняться!» Так появились статьи А. Аграновского, спустя, правда, достаточно времени для проверки и перепроверки журналистом «чистоты эксперимента», о докторе Федорове. Так Федорова «открыл» А. Аграновский. Сколько смелости, проницательности нужно было иметь журналисту, чтобы поддержать новое направление

в офтальмологии, которое не смогли вовремя оценить и заметить даже крупные офтальмологические авторитеты!

Еще один пример. Как-то я рассказал Толе некий забавный на первый взгляд случай из собственной практики. Не пересказывая содержания одного из лучших Толиных очерков, я только кратко напомню суть дела. Ко мне в клинику пришел незнакомый человек, который оказался старым врачом, пенсионером. Он раскрыл потрепанную хозяйственную сумку и начал выкладывать на мой письменный стол мотки пластиковых и силиконовых трубок и катетеров разного размера. Дело в том, что в то время (а было это лет пятнадцать тому назад) даже ведущие хирургические клиники не имели этих очень нужных трубок, промышленность наша выпускала их в малом количестве. И вот этот старый доктор, со странной фамилией Курбака, добывал эти трубки на разных заводах и развозил по клиникам и больницам. Толя после моего рассказа немного помолчал, а затем сказал: «Я хочу видеть его, этого Курбаку». И хотя я не знал ни адреса, ни телефона этого человека, Толя его нашел. Так появился очерк в «Известиях» — «Курбака и другие». Как ярко и прекрасно, без громких слов и сентиментального любования Толя показал душевное благородство, верность долгу и скромность старого врача, который бескорыстно ездит на заводы Москвы и области и делает дело, которого никто ему не поручал. Статья кончалась прекрасной фразой: «Курбака — не учреждение, Курбака — человек!» И самое главное — трубки после этой статьи появились.

Как-то, гуляя со мной по берегу моря, на отдыхе, рассказывая о новой, сложной теме, Толя сказал: «Знаешь, как важно не опозориться на старости лет...» Признаюсь, я как-то не сразу понял смысл этих слов. А он уточнил: не отступиться от принципов, которым следовал всю свою жизнь,— писать правду, поддерживать достойное и нужное, отстаивать *свою* точку зрения.

Все, кто знал Толю, и представить себе не могли, чтобы кто-то или что-то могло заставить его поступиться своими убеждениями. Он сам был себе судьей. Огромное уважение, которым Толя пользовался у всех, на всех «уровнях»,— прямой результат его бескомпромиссной принципиальности.

Темы. О чем писал Аграновский? В наше время в журналистике, как и в медицине, утвердилась узкая специализация. Есть журналисты-международники, спортивные

журналисты, другие пишут только о сельском хозяйстве, судебные очерки или путевые заметки.

На первый взгляд, Толя писал обо всем: об авиации и о науке, о промышленности и о строительстве, о технике безопасности и сокращении штатов. И даже о работе официанта в провинциальном ресторане. Тем не менее тема всегда была у него одна — судьба человека и его взаимоотношения с обществом.

Цитаты. Почти в каждом из Толиных очерков есть цитаты — из Ленина и Маркса, из классиков русской и мировой литературы, высказывания знаменитых ученых. Это не те цитаты, которые знают все и нередко переписывают из других статей и книг. Цитаты в статьях Толи «оригинальные» — это всегда маленькое открытие, которое может сделать человек, читающий много и вдумчиво, оценивающий глубину содержания и афористичность формы, цитаты, раскрывающие и подкрепляющие мысли и идеи автора.

О медицине. В наше время в некоторых кругах стало чуть ли не модой или не признавать достижений современной медицины, или же снисходительно похлопывать ее по плечу: «Вот в физике и электронике — действительно фантастические успехи. А в медицине? Грипп не могут вылечить». Психологически это понять можно. Поскольку все люди смертны, а умирают они от болезней, всегда есть причины быть недовольным медициной. И тем не менее в наш век научно-технической революции успехи медицины столь же велики и значительны, как и в других областях науки. Пишут об этих успехах мало. Даже информационный «всплеск» о пересадке сердца утих сравнительно быстро. О футболе газеты пишут много и каждый день. А сообщение Всемирной организации здравоохранения о том, что на земном шаре полностью и навсегда ликвидирована оспа, заняло три строки петитом. Если вспомнить, что еще полтора века назад оспа уносила десятки миллионов жизней, это ли не пример великого достижения медицины!

Медицину Толя не только уважал, но и хорошо знал, насколько это возможно для человека другой профессии. Он нечасто, но точно и ярко писал о врачах, дружил с ними. «Расскажи, что у вас (то есть в медицине) нового?» — этот вопрос я слышал от него десятки раз. И слушал всегда с чутким вниманием. Его беспокоило, что не всюду медицинским работникам обеспечены хорошие условия труда

и быта. Он писал о том, что даже небольшой завод имеет свои ясли и сады, дома отдыха, а крупные больницы этого не имеют. Его волновала проблема больничного питания, он написал об этом.

Оба сына Аграновского избрали медицину своей профессией. Старший сын Алексей (он, правда, по образованию не врач, а биолог) уже кандидат наук, работает в области молекулярной биологии, которая является теоретической основой медицины. А младший сын Антон — врач-офтальмолог и уже самостоятельно производит сложные операции. Еще когда Антон был на пятом курсе, Толя позвонил мне вечером и сказал: «Знаешь, сегодня мой младший сделал свой первый аппендицит». Сколько радости и гордости было в его голосе.

Артистичность. Когда у Аграновских собирались друзья, многие годы одни и те же, к концу вечера Толя говорил сыновьям: «Ну-ка, принеси гитару». Все мы, предвкушая удовольствие, ждали этого момента. Он долго и сосредоточенно настраивал гитару, потом начинал петь. Пел он негромким, чуть хрипловатым голосом, без всяких музыкальных экзерсисов, но абсолютно правильно музыкально. Эмоциональное воздействие его пения было исключительно сильным. Я не решаюсь сказать, что он был композитором, но совершенно уверен, что его собственные мелодии на стихи поэтов — прекрасная музыка. Научились у отца играть на гитарах и сыновья. И вот уж зазвучали три гитары. Как прошедшие годы, которых не вернешь, звучат в памяти его песни.

Эпилог. Эта книга — литературный памятник Аграновскому. Его друзья, люди разных профессий, в меру своих возможностей рассказали об этом замечательном человеке, о неповторимости его личности и его творчества. Пройдут десятилетия и века. Хочется верить, что наши далекие потомки, живущие в новом прекрасном мире, где не будет войн, болезней, несправедливостей, прочтут книги А. Аграновского и эту книгу о нем. И, несмотря на чувство оправданного превосходства, задумаются и скажут: «Какие все же прекрасные люди жили в конце бурного и тревожного XX века».

А. БОРЩАГОВСКИЙ

Окна друга

Не умею объяснить себе, почему среди горчайших потерь эта — самая неправдоподобная. Почему, вопреки ошеломленной памяти, чувства сопротивляются яростно и жалко и что ни утро я вглядываюсь через двор, поверх зеленых верхушек деревьев, на окна с живым, до неловкости и детской обиды, ожиданием.

Жду промелька его белой рубахи, рассеянного взгляда в балконное окно, поднесенной ко рту папиросы, загоревшегося на кухне света телевизора, стоящего ко мне «спиной». Жду того, что за четверть века вошло не только в сознание — в кровь, в потребность глазной сетчатки, в ритм и инерцию моей жизни.

Жду совершенно домашнего человека, которому нигде не дышалось так хорошо, как дома, с близкими. Вся любовь к жизни, все тревоги о ней, вся глубина ее исследования и настойчивость вмешательства в нее — все это освещалось добрым, ровным и справедливым светом Дома и домашности. Всякий очерк или статья, даже и та, которая могла показаться написанной порывом, одним усилием мастера, проходила здесь свое неповторимое парадоксальное з а м е д л е н и е, домашний искус, испытание намеренной неторопливостью во имя справедливости и точности.

Мы живем с ним и его Домом близко. Ближе, чем если бы на одной лестничной площадке, когда слышишь голоса и хлопанье чужих дверей. Малые деревца, посаженные двадцать семь лет назад, вымахали по шестые этажи, нам, жителям седьмого и восьмого, они не мешают. Кажется, шумливое зеленое озерцо с годами для того и плещется все выше и выше, чтобы нашим окнам говорить друг с другом без помех. Детство в таких случаях мечтает о чудо-телефоне: проволока, протянутая через двор, два спичечных коробка — кто из нас не мастерил такого!

А мы могли подолгу обходиться и без настоящего телефона. Язык движений и света, усвоенные обыкновения, голоса привычек, проницательность сердца — у них ведь бездна своих молчаливых слов и иероглифов. Но вот что-

то оборвалось в привычной цепочке сигналов, и сразу звонок, голос Гали: «Что это вы два вечера без света в окнах? Ах, уезжали! Так надо и о друзьях думать, предупреждать надо: не одни на земле живете!» В игре, в шутке Гали или Толи всегда бьется пульс дружеской заботы и нежности.

Но игра — непременно. Их Дом, как ионами жизни пронизан и искрится остроумием, шуткой, игрой. А это заражает: случается, нарочно звоним, заметив, что не гаснет внутреннее, подпотолочное, выходящее в кухню оконце: хватит, мол, ему там рассиживаться, дело есть... Но дела нет — просто ждешь ответного быстрого звонка и притворного, тоже с игрой, нарочито ворчливого голоса: «Проклятые Борщи! Никакой нет личной жизни!» Не видишь его там, у аппарата, но представляешь себе довольный, лукавый прищур: хорошо! Весь мир заселен, друзья на вахте. Он и близкий его друг Константин Ваншенкин давно нарекли друг друга Петей, и тот и другой — Петя. Зачем-то же им нужен этот мифический Петя, давно нужен, так что и все мы вокруг привыкли, не вздрагиваем.

Он никогда не тяготился домом и покидал его с известным усилием, будто со сдержанным, закрытым вздохом сожаления,— куда бы ни лежал путь, в дальнюю ли командировку, в театр на премьеру, в редакцию или на полуторачасовую прогулку по Ленинскому проспекту. Все это для него не выходы, а как бы *отплытия* из родной гавани, а затем и возвращения в нее, безотлагательные, при первой же возможности.

Торопливый взгляд не соединит этой потаенной «обломовщины» с живым и подвижным существованием публициста, журналиста, изъездившего, излетавшего страну и мир, с образом человека, тесно связанного с жизнью и так хорошо ее знавшего. И все же это так. Более того, я думаю, что святая и трепетная приверженность дому, семье, прекрасная «прикоренность», ощущение полноты жизни в родных стенах сообщали и особое свойство прозе Аграновского, интонацию живого разговора с близкими людьми, когда невозможны и тень притворства, позы, лжи «во спасение». С близкими так не заговоришь: стыдно, кафедры под тобой нет, да и как витийствовать, глядя в умные, иронические, любящие глаза жены, куда спрячешься от живого ума подрастающих сыновей?.. Духовность, сама атмосфера дома обретают всеобщность, ты и с другими,

с миллионами читателей газеты можешь говорить только начистоту, иначе ты уже не можешь.

Время от времени я *вытаскиваю, вывожу, прошвыриваю* Толю — это как сформулирует по телефону Галя — на дневную прогулку. Он сдается не сразу, с покряхтыванием: так и быть, он уступит заговору, насилию, решится на риск «кислородного отравления» (любимое его определение!), но он заранее предупреждает, что ни на шаг не двинется дальше ресторана «Гавана», дальше дома, где конечная остановка троллейбуса № 33!

Жду у разделяющего наши дома кинотеатра «Прогресс», вижу его раньше, чем он замечает меня, вижу красивого, всегда одетого элегантно и просто,— впору в театр, на премьеру,— шагающего со спокойной энергией и присущим его движениям артистизмом. «Ну, Борщ,— притворно сетует он, протягивая руку,— опять раньше меня явился: ничего, в следующий раз караулить буду я...»

Такого почти не случалось. Во мне издревле живет провинциальная суетность перед любым выходом, мне нужны торопливые две-три минуты, чтобы выскочить в затрапезе, Толя готовился к *отплытию:* когда еще он вернется домой, час, а то и полтора пройдет до этой благословенной минуты. Но в считанные разы, когда он опережал меня, радости и этакому снисходительному благодушию не было предела. По такому случаю он мог даже пойти на перемену маршрута, двинуться на Молодежную, а потом и на Университетский проспект, в сторону смотровой площадки. Но исчезали привычные ориентиры Ленинского проспекта, он чаще посматривал на часы, в какую-то минуту останавливался на аллее, подле рябин, лип и голубых елей, ворчал, что это нечестно, в *лес* забираться мы не уговаривались, и поворачивал к дому. Мои интриги, красочные описания панорамы Москвы со смотровой площадки цели не достигали, я как будто покушался на некий непременный, святой ритуал его домашней жизни.

Вспоминаю о прогулках по Ленинскому проспекту и потому, что во все эти годы он был единственным моим спутником, но более всего потому, что именно в эти часы открывалось многое такое, чего почти не касались наши разговоры в его домашнем кабинете. Странно, дома мы, как правило, говорили о книгах, о делах и людях литературы, но очень редко о его работе, хотя рядом письменный стол, машинка с недопечатанной страницей, листки записей, черновиков, бесконечных вариантов.

Но едва мы попадали на «натуру», в людской поток, на тенистую аллею вдоль проспекта, рядом с проносящимися машинами, едва заканчивался короткий обмен новостями, Толя заговаривал о том, что не просто занимало его мысли, а наполняло всего, искало смыслового и образного выражения. Главная работа жизни продолжалась — и даже не подспудно, а со всей очевидностью.

Шли не дни — недели, месяцы, а его мысль не отступалась от одной какой-нибудь проблемы, одной сферы или жизненного материала. Поначалу я с удивлением слушал странные повторы и возвращения. В них было сходство с уже говоренным, но только сходство — если вслушаться, то оказывается, что мысль ушла глубже, разговорная фраза обрела законченность, отточенность, силу строки уже отлитой, зафиксированной, публицистической. Он говорил: «Я в общем-то спокоен за ядерную физику: она защищена от некомпетентного вмешательства», или: «Надоели дураки в кинематографе», или: «Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает», или «Выучить на зубного врача, наверное, любого можно. Так многие думают. Откровенно говоря, и я так думал. Пока у меня зуб не заболел». Эти устные поначалу фразы из Аграновского, вскоре становившиеся печатными строками (а может быть, уже давно им записанные!), составили бы объемистый сборник мыслей, наблюдений и парадоксов. А меня не покидало ощущение, что будущий очерк уже написан, что автор попросту знает его наизусть, как поэт стихи, но зачем-то медлит, снова и снова возвращается к тексту, и когда-то еще мы найдем этот очерк на газетных или журнальных страницах.

Не перегорит ли все в сердце и в мыслях? Для чего эта мука, когда к талантливому, умному публицисту и мысль приходит живо, энергично, а знания житейского материала более чем достаточно, чтобы «обставить» эту мысль убедительными примерами? Зачем, не щадя себя, работать месяцы над газетным очерком, все раздвигая и раздвигая его скрытые, невидимые читателю пределы, исследуя и то, чем можно бы, на первый взгляд, и пренебречь, что и лежит-то как будто в стороне от *магистрали*?

Он работал над газетным очерком, как над книгой.

Магистраль открыта всем, и как соблазнительно утвердить печатно ее очевидности, подкрепив их красноречием, острым словом; сколь многие журналисты составили себе

репутацию, ни разу не рискнув сойти с магистрали, ступить на непредвиденную землю жизни.

...Еще в январе 1984 года, в день сырой, оттепельный, но со злым северным ветром, заставлявшим нас хвататься за уши, он повел разговор о раздутых штатах, об этой болезни века и нашей особенно. Заговорил вдруг горячо, даже с перехлестом темперамента, будто я спорил или возражал. Останавливался, бросал недокуренные папиросы; по объему и выношенности информации он говорил так, словно уже не один месяц копался в этом.

Кто из нас не изощрялся с трибуны или в застолье на эту тему! У каждого в запасе десятки примеров, наблюденных и дома, и в поездках. Проблема как на ладони: раздутый аппарат — плохо, разумное сокращение — хорошо, жизненно необходимо. Ровная, хорошо укатанная магистраль! А что ужа́ть, укоротить аппарат, как правило, не удается, так об этом ведь еще поэт сказал: «Чтобы сократить, надо увеличить...»

Я принялся было торопить, понукать этот январский разговор, спросил, набрана ли уже статья, а может, и напечатана, и я пропустил? «Саша, Саша! — вздохнул он.— Вы как все, вам все ясно. Вы уже все решили: вчера еще, а может, позавчера? Но жизнь уже не та, что позавчера, и на вчерашнюю не совсем похожа...— Он сердито, характерным движением, свел, стиснул губы.— Я еще и не брался за перо, только прикидываю, самое-самое начало, что-то вроде такого: как сокращают аппарат? Скажем, летательный. Возможность одна: убрать лишнее... Что, недорого дадите? Конечно, начать так можно, а дальше? Дальше жизнь, целый океан жизни, однотипных решений нет».

Прошла зима, прошли март и апрель, и вот только 12 мая «Известия» преподнесли нам *урок* Аграновского. Газета вышла с посмертной публикацией, которая может служить и образцом журналистики, и своеобразным учебным пособием для тысяч молодых литераторов.

Оказывается, и к концу апреля статья не была завершена. Половину публикации «Сокращение аппарата» составили законченные страницы, вторую половину — записи из блокнотов. Это не описка: не из одного блокнота, одного бы не хватило, из блокнотов, заполненных выписками, попутными заметками, размышлениями, сведениями, цифрами, цитатами, живыми наблюдениями и т. д.— все на ту же тему: сокращение аппарата. Шаг и вы-

нужденный, и беспрецедентный, делающий честь газете, но именно такая публикация позволила показать читателю хоть небольшую часть огромной подводной части «айсберга».

«Если вы оставите за рамками повествования какие-то важные подробности, которые вы хорошо знаете,— писал Хемингуэй,— рассказ от этого только выиграет. Если вы откажетесь от чего-то или что-то опустите только потому, что вы это недостаточно хорошо знаете, рассказ получится никудышный. Хороший рассказ проверяется тем, насколько *хорош материал, который вы — а не ваши редакторы! — опускаете»*. Какая точная, верная мысль! И не только для рассказчика: она не менее истинна и для художественного очерка. А ведь по громаде *опущенного* материала — и не редактором, а им самим — Аграновский, кажется, не знает себе равных. Он хотел знать все, чтобы иметь право сказать только важнейшее.

Перечитываешь полосу «Сокращение аппарата» и погружаешься в действительные противоречия и сложности жизни, в ее рабочие нужды, не терпящие верхоглядства, наскоков, бездумного скоростного разгона по условной *магистрали,* когда скорость оборачивается лихостью, а собственно жизни и не видишь: люди, проблемы — все промельком, как придорожные столбы.

«Сокращение аппарата» — самый близкий по времени пример, к тому же позволивший всем заглянуть в «кухню» публициста: у 400 строк записей, отобранных к печати, плотность непривычных нам измерений. По удельному весу, по напряженности и остроте мысли каждый из абзацев, отбитых звездочкой, равен серьезной, оригинальной статье.

А ведь так работалось почти все, за редким исключением, и с годами все вдумчивее и основательнее. С годами и я привык, меряя рядом с ним шагами Ленинский проспект, прислушиваться к тому, как исподволь ворочается и зреет в нем новый материал, новая насущная тема, как овладевает его мыслями и его молчанием, тяготит, порой и сердит.

И вот что поразительно: зная уже все — и мысли, и сомнения, когда, как говорится, все уже будто в зубах навязло, я прочитывал его готовую статью с абсолютным ощущением новизны, а случалось, и с необъяснимым ощущением обманутости, обиды,— вот оно, оказывается, как все здо́рово, что же ты, друг, так долго скрипел, вникал

во всякие унылости!.. Ощущение новизны мог подарить только талант: готовый очерк захватывал гармонией, соразмерностью — или взрывной, кажущейся, намеренной несоразмерностью — неотступным движением мысли, артистизмом и красотой — именно красотой — доказательств.

Его статьи и очерки обладали редким достоинством: неопровержимостью. Не той, которую дает дотошность автора, точность и выверенность фактов и цифр,— неопровержимость очерков Аграновского другого, высшего порядка. Ее рождают и писательский талант, и обостренная совестливость, и неусыпное чувство справедливости, трезвость взгляда, гражданская прямота и не в последнюю очередь — доброта к людям и любовь к жизни, сдержанная до стыдливости, до нахмуренных бровей. Он не пользовался тем, что воображаемый (но вполне реальный) противник его позиции не сможет высказаться на тех же страницах, он рыцарски шел ему навстречу и честно, без лукавства сам излагал его контраргументы. Не таясь от читателей, он трезво выслушивал голос «оппозиции», соображения скептиков,— эксперимент должен быть чистым и вполне научным.

Неутомимый читатель художественной литературы, русской классики, он умел, перечитывая читаное, не только наслаждаться *словом,* но и нащупывать, открывать множественные связи этой литературы с нашей жизнью, даже и со злобой дня. Но ссылки на классику в его работах, как правило, особые: не от слабости, не *взамен* собственных мыслей или доказательств,— это не цитатничество, а радостное открытие, что вот, оказывается, как умные люди, не нам чета, смотрели на сей предмет! Его собственная мысль всегда свободна и раскрепощена, все ей подсудно,— новизна, а не оригинальничание, непременная ее черта. «Справедливость в том, чтобы не было пропастей между сословиями»,— напишет он в очерке 1968 года «Перед стартом». Мысль бесспорная, точная, но кто из нас удержался бы от того, чтобы заменить (по просьбе редактора или по собственному почину) немодное, мягко говоря, определение *сословия* каким-нибудь пообтекаемее, чем-нибудь вроде «слоев населения», «прослойками», «категориями жителей» и т. д.— несть числа словам-заменителям, эрзацам. Так, чтобы поспокойнее и ничьему глазу не зацепиться!

А ему надо, ему непременно было надо, чтобы глаз

читателя *зацепился,* не скользил в бездумном согласии, чтобы читатель думал, спорил, искал истину. Даже в сложившийся, хрестоматийный мир пословиц, поговорок и сказок он входит не в рабьем принужденном поклоне. «Есть старая русская сказка,— писал как-то он,— о дураке, который на свадьбе плакал, а на похоронах смеялся. Мне иногда кажется, что никакой он был не дурак. Просто он боялся перегибов».

Все его творчество — преследование неправды, бой косоротой лжи на каждом квадратном метре жизненного пространства, яростное опровержение конъюнктурщины во всем многообразии ее проявлений. И еще одно редкое и, может быть, определяющее качество: обдуманное, гордое неподчинение нравственности и морали чему бы то ни было другому. Категории нравственности и морали у него никогда не служанки отвлеченных принципов или самой жгучей, насущнейшей злобы дня. Они — мерило. Вместе с Аграновским, читая его, мы проходим через сложный мир реальностей, через весь безграничный материальный и общественный мир только для того, чтобы непременно выйти к человеку...

Но я оборву себя, осажу в себе бывшего критика, вернусь к другу, вновь двинусь с ним мимо окон и витрин почты, сберкассы, булочной, электротоваров, «Власты», мимо облетевших осенних берез, к «Гаване» и обратно, под уклон, теперь уже размашистее, может быть, оттого размашистее, что теперь это дорога домой, к близким, к семейному кумиру и любимцу Толи — палевому дворняге Джонни.

Случалось, я высматривал его в окнах и звонил, зазывал на прогулку не без умысла. Что-то случилось у друзей или у друзей моих друзей, как мне кажется, совершена ужасная, *чудовищная* несправедливость (другие слова искать — лень!), не понята или понята превратно какая-то важная проблема, дело нужно исправить, вмешаться силой печатного слова, и притом немедленно. Кому же и вмешаться, как не первому публицисту! Мне приходят на память люди, защищенные Аграновским, но поначалу как-то не думаешь о том, что всякий раз это была защита человека и *его дела.* Проблема, которой горю я, кажется такой ясной, очевидной, что хоть садись и пиши. Я и написал бы с маху, но не напечатают, нет у меня своей влиятельной газеты, нет наработанного годами авторитета публициста,— тут карты в руки Аграновскому.

А он не берет их из дружеских рук. И самых-самых «козырных» не берет. Обидно до перехваченного дыхания. Особенно обидно, что он несерьезен, не снисходит к моей лихорадке, даже ухмыляется. В прижмуренном глазе, в иронической гримасе допытливого лица разве что оттенок грусти и сочувственного сожаления. Но никакого воспламенения я в нем не вижу и сразу вспыхиваю, обвиняю его в лени, в стремлении оградить свой «душевный комфорт», в убийственном равнодушии...

Он прихватывает рукой мой локоть, то ли успокаивая, то ли проверяя, долго ли еще будет меня трясти «священный гнев». А ведь я в воображении уже видел газетную полосу с большим очерком, видел наказанный Аграновским порок и торжествующую добродетель.

Помолчав, он задает вопросы. Простые, неудобные для меня именно простотой и, казалось бы, маловажностью. Они очень обыденны и потому скоро обнажают и существо дела, и неполноту моей осведомленности, односторонность позиции, удобной для одних и весьма, оказывается, несправедливой для множества других людей. Я на десять лет старше, но характер есть характер, характер неисправим, а донкихотство — привилегия души и совести, его нельзя разменивать на расхожие пятаки бездумной отзывчивости, услужливой готовности. Мой теперь уже навсегда молодой друг обладал отзывчивой и поэтической душой, но соединял ее с редкой трезвостью несуетного ума. Вспоминая все былые мои горения и вспышки, погашенные им, я по справедливости должен сказать, что течение времени всякий раз показывало его правоту и проницательность.

Только однажды отказ вызвал во мне горькое и долгое несогласие. Я попросил помочь моему знакомому, замолвить о нем словечко перед хирургом, который в прошлом многим был обязан выступлению Аграновского. Я позвонил, не сомневаясь в успехе. Толя в ответ долго молчал, слишком долго, потом произнес голосом почти незнакомым: «Не могу, Саша,— я уже исчерпал *лимит милосердия*». Я сдержался; мне несложно было просить о пустяке, ему — очень трудно отказать.

Лимит милосердия!.. Сказано отчетливо, неожиданно, с печальной окончательностью, которая возникает из соединения, кажется, несоединимых слов: практического, делового — *лимит* и доброго, не признающего расчета, рамок — *милосердие*.

Я был ошеломлен, обижен, оскорблен в лучших своих чувствах, уже и эта мелодрама была мгновенно сыграна в воображении. Отрезвляющая мысль пришла много позже: в сущности я просил о протекции, о привилегии для кого-то. Но ведь о том же просили Толю от зари до зари десятки (хорошо, если десятки!) знакомых и друзей: Москва велика, и одна ли Москва названивала и просила — а ему приходилось всякий день обращаться к человеку, в чью защиту он выступил печатно, брать с него некую дань, что ни говори, искать некой *платы* за свой журналистский поступок. И вот надо было однажды набраться храбрости и сказать «нет»! И лучше сказать это близкому человеку, тогда легче будет отказывать и знакомым. Надо, так сказать, поставить голос, защититься хотя бы и обескураживающим, но честным «лимитом милосердия».

Это позиция, сохраняющая не только обоюдную независимость, но и нравственность, и подлинную интеллигентность отношений. Иначе во что бы превратилась жизнь; ведь со многими героями своих очерков он подружился на всю жизнь,— с учеными, педагогами, летчиками-испытателями, самолетостроителями, с врачами, инженерами, мастерами и руководителями предприятий. Дружба на равных, без тени покровительства. Она была продолжением начатого однажды дела публициста и порой требовала от него новых усилий, новой работы, повторных выступлений или, скажем, кропотливой литературной работы над чужой рукописью, над подготовкой ее к печати. Объемистый том «Избранного» Анатолия Аграновского — это не соединение отзвучавшего, не просто зримые следы прошлых десятилетий, а живая и трепетная ткань нашей сегодняшней, длящейся жизни. Голоса живые, и жив озаряющий все пламень искусства: попробуйте, раскройте «Избранное» издания 1980 года на любой из страниц любого из 71 очерков, помещенных в книге, и вас захватит, не отпустит сила публицистического повествования, единственность слов, которая и есть великая тайна искусства.

Жизнь писателя с добрым именем невольно обрастает и непредвиденными обязанностями. Его зовут на просмотры и обсуждения, на генеральные репетиции, особенно если судьба спектакля трудна, и опасаются осложнений, и требуется поддержка ума живого и независимого. В этих обстоятельствах возникает искушение благодушного адвокатства, этакой расплывчатой меценатской псевдошироты или слепого азарта. Аграновский и тут оставался самим

собой — я помню это по множеству обсуждений,— независимым, никого не обслуживающим из соображений «тактики», а потому и самым надежным другом. Его и в этом случае занимало обнажение сути, истина, а не ее плутоватая театральная тень.

Он был очень близок искусству театра, музыки, живописи и рисунка,— остроумный выдумщик, автор и участник сатирических представлений ансамбля верстки и правки «Литературной газеты», талантливый, никого не повторяющий исполнитель песен с гитарой в руках, сольный исполнитель и в прекрасном квартете с Галей и сыновьями — Алешей и Антоном, автор музыки к стихам Пастернака, Цветаевой, Мандельштама и многих других, неутомимый рисовальщик, как многие писатели на Руси.

Я не знал среди своих друзей другого, кто читал бы современную литературу так настойчиво и так справедливо судил о ней. Я еще только открывал номер журнала с новой повестью Айтматова, Трифонова, Быкова, Белова, Распутина, а он уже прочитал их добрыми и неревнивыми глазами, как будто у него уйма свободного времени и он не публицист «Известий», не занятый по горло литератор, а профессиональный критик, от которого срочно ждут помесячного обзора толстых литературных журналов. И каждый из нас, друзей, ждал — чего греха таить! — ждал, прочтет ли он твою новую публикацию, что скажет о ней и скажет ли или промолчит...

...Зимой наш двор обнажается, посредине виден каток с оградой и сеткой, уже не для детей наших, а для внуков. Фотографии, если вглядишься, вопиют, что старимся, но в нем, на глаз, я не замечал внешних перемен: все так же молод, собран, артистичен, памятлив, так же готов взять в руки гитару, спеть чужое, но чаще свое, свои песни на стихи ушедших и живых поэтов.

Зимой снегопады то и дело разделяют наши дома, пропадает отчетливость, но живо тепло освещенных окон седьмого этажа, окон музыки и поэзии. Однажды зимой он вызвал меня на прогулку голосом, обещавшим неожиданность.

Так и случилось. «Борщ! — сказал он.— Я буду писать книгу, я попробую написать книгу. Повесть для серии «Пламенные революционеры».— Тон почти виноватый.— Не нахал?! Куда лезу, зачем... Свое разучился делать, так я еще и за чужое».

Скептический, самоуничижительный рефрен (первый

признак святого авторского трепета!) часто сопровождал наши разговоры об его будущей книге о Вилонове. Это не было игрой или только психологической самозащитой — здесь выразились и опасения, что не сладить, тревоги, колебания, и та спасительная неуверенность, честная требовательность к своему *слову*, по которым узнается человек и мастер. Ведь как часто он говорил: «Что-то не идет», «не получается»,— и это в пору работы не над исторической повестью, а над статьей или очерком, которые вскоре становились украшением нашей публицистики, литературы. Нужно ли удивляться его метаниям, когда он встал перед сложностями и загадками исторической прозы, и случилось это не в тридцать лет, когда море по колено, а ближе к шестидесяти.

Не знаю, как пришел к нему интерес к фигуре Никифора Вилонова, рабочего, революционера, умершего от чахотки в 1910 году двадцатисемилетним, но, имея широкую свободу выбора, Толя твердо держался Вилонова. Признаюсь, у меня и на слуху не было этого имени; с течением времени, слушая его рассказы об архивных находках, я узнавал все больше об этом самородке, любимце Горького, 22-летнем председателе Самарского совета в революцию 1905 года, неординарном участнике знаменитой Каприйской школы.

Повесть о Вилонове задумывалась в кризисную для Аграновского пору, в месяцы трудного душевного разлада с газетой, мучительных размышлений, не оставить ли штатную работу в редакции, где жизнь вдруг повелась не так, как привык жить и выполнять свой долг он.

Это так, воспоминания не должны лгать. Он не раз говорил мне, что работа над повестью займет его надолго и целиком, это самортизирует уход из редакции, если уход свершится. Это был один из важных для него духовных и житейских посылов.

Из газеты он, к счастью, не ушел, но и к Вилонову не остыл. Никифор Ефремович Вилонов стал ему близок до полного ощущения, что он бывал рядом с этим удивительным юношей и в каприйских спорах с Богдановым и Луначарским, и при встрече с Лениным в Париже, и в дни трагического угасания молодого революционера. Он знал о нем все, знал больше, чем сам Вилонов о себе: архивные листы, неопубликованные письма, документы, свидетельства со стороны, оценки Вилонова выдающимися людьми, посмертные характеристики, все то, чего сам Вилонов не

мог знать, все больше открывали и обаяние этой личности.

И все было не просто. Наступали дни неверия в свои возможности дать цельное, оригинальное художественное повествование на историческом материале, приходили совестливые сомнения, хотя проза Аграновского, пластика его слов, диалоги его документальных повестей обещали успех и этой работе. На время он как будто забывал о Вилонове, а если я спрашивал, он молча разводил руками характерным жестом,— защитно вывернув ладони чуть приподнятых рук...

В один из таких трудных для Толи вилоновских периодов меня позвал к себе на другой конец Москвы, на Дмитровское шоссе, талантливый ученик Константина Паустовского, скромнейший из скромных писателей Лев Кривенко. Позвал шутливо-приказным тоном, хотя и до шепота ослабевшим от долгой болезни голосом. Он — солдат, вечный странник, пантеист-философ — уходил из жизни, оставив нам всего два изданных сборничка и небольшую повесть о Ван Гоге, опубликованную в «Октябре», но еще оставил он груду рукописей, которые стали хорошими книгами уже после его смерти.

До Дмитровского шоссе и отдельной квартиры с видом на плац, где, к великой и последней в его жизни радости, выезжали лошадей, он жил в центре Москвы, в коммуналке, и где-то там среди его друзей была старая большевичка, в прошлом библиотекарь общества политкаторжан, преданно сохранившая большое количество книг, хранить которые по жестокой слепоте давнего уже времени было почему-то предосудительно. Нужные, чистые — и помыслами и словом — книги и брошюры, вместилище опыта русской революции, воспоминания, документы, голоса подвижников, зеркало нескольких эпох от середины XIX века и до 1908—1910 гг. Часть этого богатства перешла от нее ко Льву Кривенко, бескорыстно, подарком, и теперь он с такой же душевной щедростью дарил эти книги мне.

Лев Кривенко и сам ударялся в историю, но, оригинал во всем, он и в этом был неординарен: его увлекала Франция, эпоха французской революции, конец XIX и начало XX века, философы-просветители. Повесть о Ван Гоге, чем-то оказавшаяся близкой и судьбе его таланта, судьбе *души,* была как бы пробой сил, обживанием французского материка. К этому времени он завершал работу над книгой о Кондорсье.

Мужественный человек, он знал свою близкую судьбу и намеренно делал мне этот подарок при жизни, делал его так просто и заботливо, с такой редкой радостью книжника-дарителя, что не взять, отнекиваться, жеманничать было бы пошлостью.

Я вернулся домой за полночь с двумя неподъемными связками книг, разложил непредвиденное, горькое свое богатство на широкой тахте, вгляделся, полистал, нашел и книгу о Софье Бардиной — я мечтаю написать повесть о ней,— но большинство книг касалось последних двух десятилетий прошлого века, Шлиссельбурга и особенно 1905—1907 гг.

Сразу подумал: книги эти нужны Толе! Конечно, он найдет каждую из них в библиотеке, в фондах или в спецхране, но я хорошо знаю, как удобно иметь книгу под рукой, насколько это облегчает работу. Нетерпеливо смотрел я в окна над зашевелившейся поутру листвой тополей и лип, считывая движения: загорелся свет, Галя кормит завтраком торопящегося в клинику Антона («Никакой личной жизни — проклятые Борщи!»), а вот появился и Толя.

Через десять минут он был у меня, прижимал к груди книги, одну за другой, жестом радостного и жадного обладания, и скоро унес свое богатство домой. «Борщ! Борщ!» — только и повторял он, но с таким богатством интонаций и смыслов, будто произносил важную благодарственную речь. Он постанывал, светился от подбородка до лысины, и я понял: Вилонов с ним, Вилонов будет, напишется.

Но повесть о Вилонове не возникла; зачем же я пишу об этом?

Иногда он говорил, что не принялся еще писать. Я этому не верю. Иногда — отмалчивался, «темнил», отделывался ухмылкой. Я знаю, как трудно было бы ему сказать в ответ: «Уже пишу. Начал». Напиши он и половину книги, он все равно отвечал бы уклончиво-суеверно, лучше сказал бы, что дело не клеится, скрипит, что человеку не надо браться не за свое и т. д.

Зачем же я вспоминаю о ненаписанной книге?

Исключительный, даже уникальный интерес представляет вся его подготовительная работа. Она — реальность, она отложилась во множестве тетрадей, блокнотов, о которых нельзя не сказать.

Как должен был готовиться к большому историческо-

му повествованию человек, который к газетному очерку готовился, как к книге! Я в этом не новичок. Прежняя научная работа, а затем и подготовка к четырем историческим романам, открыли мне некоторые тайны ремесла, пути и способы систематизации материалов, от распространенных картотек до диковинных исписанных гроссбухов с «ключами» — расшифровкой к ним, позволяющими быстро отыскать все необходимое и по персоналии, и по любым, самым дробным, темам.

Его подготовка к Вилонову поразила меня. Он охотно показывал мне свои тетради, радовался им, пожалуй, гордился: тут ему не мешали ни скромность, ни комплексы. Ведь это все не он, а *они*, удивительные люди прошлого, рыцари, дискутанты, провидцы.

Он купался в этом.

Он, живой, весь в деятельной сегодняшней жизни, проводил в архивах месяц за месяцем, не разгибая спины и ликуя.

Он переписывал рукописные документы и письма, старался воити в их почерк, сохранить, *срисовать* все подробности, срисовать не только казенную печать на документе или департаментский штамп, но и оборванный угол бумаги, случайную кляксу, характер начальственной подписи, росчерка. Если попадалась резолюция, положенная чернилами другого цвета, он воспроизводил ее в цвете.

Из архива ИМЭЛа он возвращался возбужденный, переполненный радостью узнавания, причастности к былой жизни. Хотя Вилонов умер в 1910 году, Аграновский исследовал далеко вперед биографии его соратников и противников, их бытие в 1917 году, в гражданскую войну и в годы нэпа,— ведь часто доигранная, досказанная судьба бросает драматический свет истины и на давние споры.

В отличие от тех, для кого подготовка к историческому повествованию заключается в успешном *подборе* возможно большего количества фактов и сведений для заранее принятой схемы, для готового замысла, он упорно стремился *прожить время* Вилонова, обнаружить истину, прийти к духовным, философским открытиям так, будто он первым коснулся этого жизненного нерва, а до того был чистый лист бумаги. Вилонову в последние годы жизни было отдано столько сил и времени, столько мечтаний и сомнений, а найденное Аграновским так значительно, что не сказать об этом невозможно.

Мне невозможно еще и потому, что самые последние услышанные мною слова Толи были о Вилонове.

Он позвонил утром, еще до девяти, извинился, что тормошит так рано: они с Галей сегодня едут на выходные в Красную Пахру, а до этого ему еще надо в редакцию. «Сам виноват, Саша: я терпел, до глубокой ночи читал «Портрет по памяти», закончил, теперь ты терпи...» Он обстоятельно говорил о том, как читал и как прочел мой роман «Портрет по памяти» в мартовском (вышедшем только что, в апреле) номере «Октября», говорил слова ободряющие и добрые. И в ответ на мое сконфуженное бормотание сказал: «Ладно. В понедельник идем на прогулку и подробно поговорим. О сюжете поговорим, о самой постройке. Буду расспрашивать: что-то мне увиделось важное для Вилонова».

Из разговора было ясно, что он имел в виду: построение сюжета, когда время действия сжато, ограничено неделей-двумя, но в эти рамки свободно, ненасильственно входит вся прожитая жизнь персонажей. Композиция совсем не новая в литературе, но она всякий раз задерживает наше внимание, если задача решена просто, без фокусничанья.

Счастливый понедельник не наступил, вползли черные, длиной в неизбывную беду дни. Накануне, воскресным утром позвонил Антон и голосом, в котором с первого звука билось опустошительное несчастье, сказал:

— Дядя Саша, вы, наверно, не знаете, что папа умер...

Я этого не знаю вполне и сегодня. Не принял, не признал и прежними глазами надежды, привязанности, жизни смотрю на его окна.

Э. ГОРЮХИНА

Дом Аграновского

Недавно получила письмо от бывшей студентки Лены Ухановой. Работает учительницей в Новосибирской области. В письме есть такие строки: «Начать с прошлого лета. Сразу после госэкзаменов — поездка в Москву. Среди множества забот — первейшая — поход в редакцию «Литературной газеты» с просьбой в память об Аграновском напечатать статью о всех наших экспериментах. В ответ недоумение: какая дерзость — приходить сразу к редактору, кто вы и что из себя представляете, чтобы мы занимались подобной ерундой. Июль — август — больница. Вести о смерти Топорова, Думбадзе. Наваждение какое-то... Затем тяжелое врастание в жизнь моих 6—7-классников».

Зримо представила себе сцену: наша сибирская красавица двадцати лет Лена Уханова в апартаментах «Литгазеты». Лена, убежденная в том, что именно «Литературная газета» спит и видит, как мы в деревнях читаем книжки и как наших размышлений на эту тему ждет читатель.

Была ли Уханова героиней очерка Аграновского? Нет! Была ли знакома с ним? Тоже нет! Так откуда же эта неистовость в молодой учительнице? Каково происхождение той фразы, которой Лена встретила меня в коридоре института, узнав о смерти Аграновского: «Эльвира Николаевна, а как же теперь мы...». Я написала чистую правду в телеграмме, которую дала Адриану Митрофановичу Топорову в Николаев: «Смерть Аграновского ударила и в сердце, и по рукам. Мысленно ему посвящаем свою поездку». Топоров получил эту телеграмму, но жить ему оставалось всего двадцать дней. С него-то, алтайского просветителя, и началось мое знакомство с Аграновским, хотя в 1961 году мы в Николаеве так и не встретились. Разминулись несколькими днями. К Топорову я ехала по заданию «Литературной газеты». Приехала к шапочному разбору: журналисты многих газет уже разъехались по домам. В доме Топорова говорили только об одном журналисте — Анатолии Абрамовиче Аграновском. Говорили как

о подарке судьбы. Он вошел августовским утром на улицу Мархлевского, 8, и хозяевам дома показалось, что время вернулось в тот самый 1928 год, когда спецкор газеты «Известия» появился в коммуне «Майское утро». Да, да, на пороге стоял Аграновский. Только теперь его звали не Абрамом Давидовичем, а Анатолием Абрамовичем. Это был сын первого и бесстрашного защитника большого культурного дела коммуны «Майское утро».

Прошло 33 года. В 60-х годах о Топорове писали многие журналисты. Аграновский был единственным, для кого топоровская тема стала темой жизни, фамильной темой. С августа 1961 года и до конца своей жизни Анатолий Абрамович неустанно занимался делом, которое ему вручила сама судьба. Топоровская тема накрепко свяжет меня на целых два десятилетия с Анатолием Абрамовичем и очень многое определит не только в моей жизни, но и жизни моих студентов.

В июле 1962 г. появился в «Известиях» очерк «Под лежачий камень» о специализированном классе программистов Сибирского отделения Академии наук СССР. И в нем — фраза: «...в класс пришла аспирантка педагогического института, молодой филолог, и 30 оголтелых математиков стали заядлыми литераторами». Этим молодым филологом была я. К сожалению, я настолько была озабочена судьбой своего собственного пребывания в математическом классе, что ничего другого в статье не заметила и отправилась в Москву писать опровержение. Мне предстояло целый год работать в этом классе, и я на собственном опыте знала, чем может обернуться газетная похвала. Ослепленная гневом, я приехала в Москву и зашла в «Литературную газету» к своему давнему знакомому Соломону Владимировичу Смоляницкому. Он остудил мой пыл, сказав, что Аграновский ошибаться не может, а допустить этический прокол вообще не в состоянии. Я поняла, что авторитет Аграновского в журналистских кругах непререкаем, и серьезность интонации Смоляницкого меня насторожила. Напоследок я получила совет — позвонить Анатолию Абрамовичу. Набрав номер и услышав голос Аграновского, я снова пустилась во все тяжкие: почти кричала, что это безобразие — писать непроверенные факты и т. д. На той стороне провода дали мне выкричаться и предложили встретиться. Согласившись на встречу, я почувствовала себя еще более агрессивно. Встретились у Библиотеки им. Ленина. Я завелась с ходу, но вскоре поймала себя

на том, что как-то странно начинаю стихать. Дело в том, что Анатолий Абрамович был не просто внимателен к собеседнику, мягок, добр, как пишут многие. Он обладал редчайшим в наше время даром вести с собеседником диалоги. Противоположная позиция ему была по-настоящему интересна. Какой бы чуждой ни была логика другого, Анатолий Абрамович стремился постичь ее такой, какая она есть на самом деле, без малейшего уподобления своей позиции. Он не играл в смены позиций, а давал возможность другому, выговорившись, дойти своим путем до логического конца. Не сбивал собеседника, не ловил на осечках. Хотел понять до конца суть дела во всей его сложности, не спрямляя углов. Я не заметила, как сошла с тропы пустопорожнего негодования на обсуждение проблем соотношения гуманитарного и естественнонаучного образования.

Аграновский был первым, кто поднял вопрос о специализированных классах. Попав в Новосибирский академгородок, в это физико-математическое пекло, откуда пошла гулять по стране дискуссия о физиках и лириках, Аграновский ошеломляюще прямо поставил вопрос о судьбе гуманитарного образования. Но — странное дело — в этом же 1962 году Анатолий Абрамович напишет своего знаменитого «Однолюба». Так будет называться очерк об ученом Богдане Войцеховском, и вызовет этот очерк всеобщий восторг «физиков», которые с особым удовольствием прочтут фразу об «узости» Бетховена. На какое-то время покажется, что Анатолий Абрамович потрафил клану представителей точных наук. Все было бы так, если бы не знать, что именно после общения с Войцеховским Аграновский задаст президенту Сибирского отделения Академии наук СССР М. А. Лаврентьеву тот самый вопрос о нарушении гармонии в содержании образования, который и составил подлинную суть статьи «Под лежачий камень». Вот тогда-то он и услышит слова Лаврентьева о молодом филологе. Однако Анатолий Абрамович понимал, что дело не в конкретной фигуре словесника. Его интересовал вопрос принципиальный, и он переадресовал его по назначению — Академии педагогических наук. Вернемся все-таки к «Однолюбу». Спустя годы, очерк читается совсем иначе, чем читали мы его в 1962 году в эпицентре схваток представителей точных наук с обороняющимися гуманитариями. Прочитайте этот очерк сейчас, и кроме чувства восторга перед одержимостью Войцеховского вы услышите явно

еще и вопрос. Вот она, страсть Аграновского в конце проясненного разговора ставить вместо ожидаемой точки неожиданный знак вопроса. Мне кажется, что именно это обстоятельство дает долгую жизнь публицистике Аграновского. В ней всегда присутствует контрапункт. Всегда содержатся другие возможные повороты темы. Не случайно иногда кажется, что будто один очерк противоречит другому. На самом деле уже на уровне одного очерка вы можете почувствовать некоторую, я бы сказала, незавершенность проблемы, которая, казалось, уже была проработана ходом всего очерка. Эта незавершенность есть фиксация сложности и противоречивости самого бытия. Отсюда своеобразная стереоскопия очерков. С ними происходит то же самое, что и с настоящей художественной литературой: с годами при чтении обнаруживаешь новые глубины. С «Однолюбом» — та же история. Да, Анатолий Абрамович не рискнул назвать Войцеховского гармонически развитым человеком в привычном смысле этого слова! В «односторонности» сибирского ученого он уловил гармонию другого порядка. Пройдет не один год, прежде чем я научусь слышать эту гармонию в своих программистах. Сначала я буду опрометчиво сражаться с теми взглядами на искусство, которые не вязались с моими обычными представлениями, но постепенно я открою для себя другой эстетический мир, который даст мне возможность услышать ту симфонию, которая звучит в головах моих учеников в момент рождения мысли, пользуясь словами Анатолия Абрамовича. Мне станет ясно, что без понимания «странностей» мышления одержимых трудно пробраться к их святая святых, и можно остаться со своим Пушкиным и Окуджавой по другую сторону жизни тех, кого учишь. Анатолий Абрамович дает урок воспринимать жизнь как она есть, независимо от того, нравится тебе это или нет. И я уже не стану сердиться, когда в сочинении Толи Буды, входившего в десятку лучших математиков страны, прочту целые страницы о нашей Вселенной, которой нет конца, а навеяны эти размышления будут лермонтовским «Фаталистом». Мне надо будет стараться постичь логику мышления поколения, для которого нет перегородок между художественным и научным, для которого научное выступает как эстетическая категория. Ни в одном педагогическом сочинении я ни разу не встретила размышлений на тему, которая так остро и точно была сформулирована Аграновским. Потом позже мы прочтем блестящие лекции

Сноу о пропасти между двумя культурами. Анатолий Абрамович не только сформулировал проблему, но и предложил путь ее решения. На дворе стоял век научно-технического прогресса, а педагогические трактаты оставались безжизненными, вне пульса времени. Я вспомню еще раз очерк Аграновского. Это будет через 20 лет, когда волей президиума АПН будет разогнана лаборатория Института психологии, в которой работали блестящие философы Библер и Арсеньев, критик и литературовед из «Нового мира» Игорь Виноградов и другие талантливые люди. В статьях некоторых из них я нашла теоретическую разработку вопроса, поставленного в свое время Аграновским. По сути Анатолий Абрамович призывал обратить внимание на процессы, которые возникают в педагогике в связи с ускорением научно-технического прогресса.

На заре появления первых классов программистов журналист поставил вопрос о всеобщей компьютерной грамотности, пользуясь сегодняшним термином. И уже тогда предупреждал о том, что необходимо позаботиться о гармоническом взаимодействии всех сторон содержания образования. Благополучие с литературой в том первом математическом классе его не могло успокоить и сбить с толку. Он потому и не назвал моей фамилии, ибо его интересовала не частная удача, а корень вопроса. Сегодня в том же Академгородке вводят часы информатики и вычислительной техники за счет часов литературы. Статья Аграновского через четверть века становится еще более злободневной.

Вот так и случилось, что каждый раз, приезжая в Москву, я первым делом набирала телефон Аграновских. Если подходила жена Галина Федоровна, она тут же или звала Анатолия Абрамовича, или точно называла время, когда надо было позвонить. Господи! Только теперь я подумала, сколько же нас таких было, звонивших Аграновскому, приходивших в дом... Галина Федоровна узнавала мгновенно нас по голосам. Была же семья, росли малые дети, была своя работа, а мы приезжали, звонили, и невдомек всем нам было, что отрываем людей от дела, отдыха. При всей современности, остроте понимания важнейших сиюминутных проблем Анатолий Абрамович был по-старомодному несуетлив, что ли... Не знаю, как это назвать. Когда бы вы с ним ни говорили, вы никогда не чувствовали неудобства: вот у человека времени в обрез, а ты тут занимаешься кражей чужого времени. Я не могу пред-

ставить себе Аграновского взглядывающим на часы, когда он ведет нескончаемые беседы с разными людьми. Уму непостижимо, как много он сделал и как щедро тратил свое время на все наши вопросы, недоумения, взрывы, приходы, долгие-предолгие телефонные звонки, длиною в десятки лет. Почему же не было ощущения, что ты не вовремя попал, что нарушаешь какую-то сосредоточенную работу? Помню, только однажды Галина Федоровна сказала: «Анатолий Абрамович не может подойти к телефону. Сегодня умерла его мама...»

Каждый, кто хоть раз был под пристальным интересом профессионального журналиста, знает, что это такое — ощущать себя «материалом». Независимо от дарования журналиста ты чувствуешь, что являешься предметом манипуляции: твоя жизнь, твоя работа — болванка, на которую натягиваются актуальные сюжеты, а чаще — конъюнктурные подходы. Сколько же это было раз со мной, когда мне пытались объяснить, будто какие-то особые, «высшие» соображения руководили журналистом, когда он вынужден был слукавить, смолчать, убрать из текста самое главное. С Аграновским вы чувствовали себя не только в безопасности. Было ощущение защищенности, даже если ты находился с ним в острой полемике.

Думаю, что это-то и привлекало всех нас к Аграновскому. Сколько в этом даре профессионального, сколько истинно человеческого, судить не мне. Аграновский был неделим на ипостаси: журналист и человек, дело и не дело. Должно быть, поэтому в самое трудное время я позвонила именно в дом Аграновского. Это было в апреле 1963 года. За две недели до защиты диссертации. Ситуация складывалась не в мою пользу: я писала о писателях, поэтах, которые в тот период были подвергнуты критике. Мне сказали, что конъюнктурщики готовы поплясать на моей защите, и я взбунтовалась весьма своеобразно: не пойду на защиту! И все тут! Сколько же потратили они сил, Аграновские, чтобы убедить: защищаться надо во что бы то ни стало! Анатолий Абрамович умел обернуть даже неблагоприятно сложившуюся ситуацию в предмет исследования: «Посмотрим, Эльв-и-и-ра, что они будут говорить, ваши противники. Разве вам это не интересно?» На защиту Анатолий Абрамович пришел раньше меня. В пакете пирожки, присланные Галиной Федоровной. Аграновский садится в последний ряд, открывает блокнот, но записывать было особенно нечего. Мои противники, узнав,

что в зале Аграновский, скисли. Официальным оппонентом была профессор Валентина Николаевна Шацкая, умевшая стать выше мелкобесовских научных страстей, а методист-классик Василий Васильевич Голубков, выступивший неофициально, открыто признался, что диссертацию не читал, а с работой моей знаком. Так вот: не пора ли защиты превращать в научный разговор по поводу нерешенных, спорных проблем педагогики? Принять участие в таком разговоре мои «оппоненты» не рискнули. В целом защита была вялой, скучной, как мне показалось. Теперь я достаточно отчетливо понимаю, что присутствие Аграновского на защите для меня было решающим. Решающим для самочувствия, как любил он выражаться. Уже позже я натыкалась в очерке на такие слова: пошел с тем-то в министерство, с другим — на коллегию, с третьим — к прокурору... Так какая же она была, его работа? Где границы его работы и где начало собственно его жизни? А мы все ехали, ехали, звонили, приходили, просили помощи, совета... Как же его хватало на всех нас... Как это выдерживал дом?

Из очерков Анатолия Абрамовича видно, что он не терял интереса к своим героям в течение многих лет. Часто сам их отыскивал по прошествии многих лет, помогал, чем мог. И даже больше, чем мог.

Начиная с 1962 года в наших разговорах то и дело возникала топоровская тема. Я не знаю, с каким чувством ушел бы из жизни Топоров, если бы не Анатолий Абрамович. В одном из писем ко мне Адриан Митрофанович жаловался на Сибирское отделение Академии наук СССР. По просьбе сотрудников Института истории, философии и филологии он послал свой труд на 900 страниц. Топорову шел 83-й год. Он торопился. Он писал в институт письма, но ему не отвечали. По сей день этот труд лежит в архивах Сибирского отделения никем не востребованный. Аграновский на своей машинке перелопатил все 900 страниц, и в Детгизе появилась прекрасная книга «Я — учитель». Себе Анатолий Абрамович отвел скромное место редактора. Им он стал впервые в жизни. Наш спор с Аграновским касался главного: можно ли сегодня хоть в какой-то степени воспроизвести опыт Топорова. Старик обижался по-детски, что опыт его не внедряется.

Больше, чем кто-нибудь, Аграновский понимал, что внедрение в такой тонкой сфере, как педагогика, чревато

серьезными последствиями. Он тревожился за судьбу дела Топорова.

— Нет, Эльвира, поймите же вы, наконец, что историческая, нравственная ситуация «Майского утра» невоспроизводима. В эпоху телевизоров собирать людей читать книги — гиблое дело. Сегодня мне «Поднятую целину» читает Матвеев. Завтра «Тихий Дон» — Ульянов...

— А функция общения,— не унималась я.— Почему вы все время говорите об образовании. Ведь в читках Топорова отчетливо видно, что обсуждения были прежде всего средством общения...

— Не забывайте, Эльвира, что все исходило от уникальной фигуры Топорова... Вы можете воспроизвести уникальность таланта?

...Через год я снова звоню Аграновскому и говорю, что вовсю читаю крестьянам книги Думбадзе, Шукшина, Платонова. Анатолий Абрамович слушает, как всегда, с большим интересом, иногда останавливает рассказ, просит повторить какое-нибудь слово, выражение. Чутье на слово было поразительным. Он угадывал за словом изгиб человеческой души, пытался по слову определить характер человека, способ мышления. Речь других воспроизводил скрупулезно, сохраняя ритм фразы. Вот так, значит, я «опровергаю» Аграновского. И в заключение слышу: «Это очень интересно. Но вы, Эльвира, тоже не показатель. Вы из разряда «тронутых» Вы рассказываете, а я отлично вижу именно вас во всех деревенских историях. Вот подождите, вымрут старики и на их место придут те, кого обучили литературе учителя. Придут «жертвы» обязательного обучения. Вот посмотрите, какие будут суждения о книге: покатятся стандартные, обкатанные, шаблонные фразы. Поймите, индивидуальность, самобытность топоровских крестьян шла от их необразованности...» Я уже привыкла к этой манере Аграновского сказать решительное «нет» таким образом, что за ним открывалось целое поле для исследования. Провоцирующие способности Аграновского были поразительны. Дразнящие «нет» становились частью твоего поиска, были тем сомнением, без которого не добывается подлинное знание. Уняться я уже не могла. Мы начали со студентами ездить по деревням и читать книги. Поскольку своей работой мы не вписывались в программу фольклорных экспедиций, мы обособились, гордо назвав себя группой психологов. По совести, мы именно психологией и занимались. Нас интересовала

психология жизни стариков. Мы познавали ее через восприятие художественных текстов. Эффект получался неожиданным. Слово художественное выволакивало из глубин старческой памяти такие факты, что становилось страшно от той ответственности, которую берешь на себя, присутствуя при исповеди. А слово стариков, сцепляясь с авторским словом, становилось сокровенно-исповедальным. Суждения Аграновского, все его «за» и «против» становились для нас своеобразным научным инструментом. Нигде в научной литературе мы не могли найти совета. Имя Аграновского прочно вошло не только в мою жизнь, но и в жизнь моих студентов. «О! Сейчас бы Аграновский сказал»; «Вот услышал бы Анатолий Абрамович...»; «Аграновский этого не выносит...».

Зимой 1982 года с группой студентов мы поехали в крошечное село Тараданово Сузунского района. В деревянной школе, состоящей из двух классных комнат, мы читали дояркам и скотникам местного отделения колхоза стихи Блока. А лето следующего года принесло нам настоящую сенсацию. В селе Богатиха Барабинского района студент Женя Шумахер отыскал прекрасную старуху Багрову, одарившую нас своим прочтением «Незнакомки» Блока. Богатиха стоит в 100 верстах от железной дороги. Типичная сибирская глубинка. Багрова увидела в героине Блока блудницу, перед которой мир виноват. На вопрос Шумахера «что такое «истина в вине»?» Багрова отвечала в полном согласии со своей концепцией: «Это не вино, а вина... Наша вина друг перед другом. И повиноватиться каждому надо. Вот где истина есть, там ее и искать надо» Шумахер настойчиво звал меня в Богатиху. Он ни много ни мало намеревался показать болгаро-советский фильм «Барьер», считая, что суждения уникальных старух о фильме значительно пополнят наши представления о книге Павла Вежинова. Я добралась до Богатихи, правда, с другим фильмом. Так вот: после богатихинской экспедиции был в моем доме очередной сход. Снова говорили об Аграновском, отвечая на его контраргументы. Собственно, что мы ждем? Есть же телефон. Подходит Анатолий Абрамович. Я взахлеб начинаю спорить. Он все так же иронически мягко улыбается, заводя меня еще сильнее: «Эльвира, это все от вас». И тогда я передаю трубку молодой сельской учительнице Надежде Линевой. Вот уже полчаса она говорит с Анатолием Абрамовичем, будто всю свою жизнь знает его. Надя рассказывает, как мы читали

в Богатихе рассказ Юрия Нагибина «Гибель пилота», как смотрели и обсуждали фильм Резо Чхеидзе «Отец солдата». Потом трубку берет Женя Шумахер. И вот уже я слышу голос Аграновского: «Я рад, Эльвира, что ошибся. Ваши ребята меня убедили...» Ошибся... Потом мы поймем, что, возражая нам, он так хотел, так надеялся на наш успех.

Анатолий Абрамович спрашивает Женю Шумахера о его планах на лето, не собирается ли в Москву. По лицу своего студента я уже вижу, что грядет поездка в Москву. Осенью Шумахер вернулся в институт окрыленный. «Аграновский нас благословил»,— коротко отрезал он. Женя ходил в дом Анатолия Абрамовича со своей будущей женой, мало что понимавшей тогда во всех наших делах. Анатолий Абрамович подвиг Шумахера к писательству. Он выслушал записки Жени о бабе Наташе из села Кирза Ордынского района и посоветовал начать писать. Но «подначки» Аграновского продолжались:

— Давайте на вещи смотреть трезво, Эльвира: высечь из чтений тот результат, который удавалось Топорову,— дело не достижимое ни для кого сегодня, ни для вас, ни для ваших учеников. Та-а-а-к, не заводитесь... я вижу другой вопрос во всей вашей ситуации: что может дать молодым общение с поколением, которое уходит? Наконец, что старикам может дать общение с молодыми? Ваши чтения, мне думается, ставят совсем другие проблемы, чем те, которые возникали в коммуне. И вы зря пытаетесь воспроизвести то, чего воспроизвести нельзя... Вот возьмите вашего Шумахера. Уверен, что беседы со стариками пробудили в нем писательский дар. Не исключено, что чтения дадут возможность другим...

— Другим,— вспыхиваю я,— нужен сам метод Топорова. Да, да, сам метод. Теперь я возвращаюсь к вашей же мысли об образованности и уникальности личности. Проблема в том и состоит, как, приобщая человека к культуре, сохранить его индивидуальность. Если хотите, как с помощью искусства обнаружить самобытность человеческой личности? — Топоров доказал, что это возможно только одним путем — через диалог с культурой, когда автор книги и читатель равноправны, когда они находятся в диалоге...

— Ну и как, Эльвира, преподавание литературы в школе построено по типу диалога? Вы считаете, что у Топорова в чтениях присутствует диалог? Ошибаетесь. Там

чистой воды триалог: автор — сам Топоров — читатель. И заметьте: центральная фигура все-таки Топоров. Он — начало и конец разговора, как бы ни прятался за спины своих выступальщиков. Почитайте-ка под таким углом зрения его книгу. Ну, а педагогическому институту под силу воспитывать Топоровых?

И снова пошло-поехало... Снова тема для размышлений. Теперь уже на всю жизнь. В последний раз мы собрались на очередной малый сход 14 апреля 1984 года. Обговаривали летнюю поездку в Косиху — родину Топорова. Решили позвонить Аграновскому Анатолию Абрамовичу. К телефону никто не подходил. Показалось странным. Обычно кто-то бывал дома. Лена Уханова, та самая, что заявилась в «Литгазету», робко сказала: «Может, они все на даче». Он был в тот день на даче. В тот день его не стало. Мы об этом не будем знать еще несколько дней.

...Поездка на Алтай в Косиху много раз была темой наших разговоров. Вот ведь, казалось бы, чего проще: порадуйся нашему энтузиазму, брось банальную фразу: «Ах, какие вы молодцы!» — и наглухо забудь про нас. Ан нет... Аграновский взрывает наши иллюзии: «Ну и что вы там надеетесь увидеть, Эльвира? Кого опросить? Какую анкету запустить? Первого поколения коммунаров в живых нет. Ну, а даже если бы они были живы? Вышли они в Белинские? Нет! Кем стали? Будете искать выдающихся учеников? Пустое занятие. Скажите-ка, Эльви-и-ра, кто был учителем Курчатова? Нет-нет, школьным учителем физики. Не знаете? То-то и оно! Назовите выдающихся учеников Макаренко, Сухомлинского? Нет выдающихся учеников и у Топорова... Так зачем вы туда едете? Что намереваетесь найти?.. Нет, ехать, конечно, можете, но надо заранее отрешиться от иллюзий... А-а-а, вспомнили любимого ученика Топорова Степана Павловича Титова. Я ждал, что вы назовете это имя... А стал ли бы Степан Павлович учителем без Топорова? Ну, вот видите, как славно мы с вами беседуем...»

Этот разговор вышел у нас сразу после поездки Аграновского в Болгарию. Я знала, что он болен не просто статьей о болгарском учителе Златарском. Он болен идеей, концепцией, он живет этим вопросом: что может учитель? Да, он разбивал наши иллюзии особым способом, через включение в процесс размышления всех «за» и «против» на равных. Он выводил собеседника на тот уровень разговора, который в конечном счете оказывался полезным

прежде всего тому, с кем он спорил. Прочитайте любой из его очерков, и вы поймете, что он не просто сражался против монополии в науке, он был против монологизма как способа анализа явлений в жизни. Чего стоит одна фраза из очерка «Вишневый сад»: «Лучше бы мне этого не знать»... В том-то и суть, что кроме моего комфортного «лучше», «хорошо» есть еще нечто, лежащее за пределами моих симпатий и не желающее совпадать с моими намерениями. И это нечто не отбрасывается, не выносится за скобки, а становится в центр размышлений.

Так вот: в Косиху мы все-таки поехали. Нас было трое: моя подруга, специалист по зарубежной литературе, сельская учительница Мила Ведерникова, бывшая наша студентка.

Он тысячу раз был прав, наш друг Аграновский, знаменитостей в Косихе мы не нашли. Но поездка по Алтаю одарила нас величайшим открытием другого порядка. Это была встреча с Аграновским, с той частью его жизни, которая лежала за пределами одного из лучших его очерков — «Как я был первым...» Если все по порядку, то это было так. В Косихе нам сразу указали на дом Блинова, узнав, что мы приехали по «топоровским» делам.

Встретил нас поджарый старик, которого и стариком-то не назовешь. Держится прямо. Во внутренней крепости нет старческого бодрячества. Дом как дом. Но прежде всего бросается в глаза отсутствие лишних вещей. Во всем какая-то аскеза. Старик смотрит на нас недвижным взглядом и вдруг сухо говорит: «Подождите меня на дворе. Я закончу свое чаепитие». Вот так да! Не успела взыграть обида, как нас приглашают в дом. Но настороженность, вызванная нашим визитом, остается. На всякий случай протягиваю фотографию, на которой Адриан Митрофанович и я. На обратной стороне рукой Топорова написано: «Эльвира Горюхина в гостях у Топорова. Август, 1961 год. Николаев, УССР». Хозяин дома внимательно рассматривает лицо молодой женщины, потом переводит взгляд на меня и недоверчиво выговаривает: «...Тут у вас носик остренький». Господи! Это же было почти четверть века назад. Знает ли Блинов Адриана Митрофановича? — Старик внезапно, ни слова не говоря, исчезает. Приносит папки с письмами Топорова. Всего их 53. Вот так-то: пятьдесят три письма, подшитые в папках по годам. С писем Блинова Топорову сняты копии. На всем следы профессиональной архивной работы. Набрасываемся на папки, еще не в силах

осознать, какое счастье нам привалило. И вдруг я выпаливаю: «Случайно Аграновского не знаете?» Старик исчезает снова. Появляется новая папка, и в ней письма Анатолия Абрамовича. Написаны чернилами. Горячей рукой. По всему видно, что копий этих писем нет. Передавая нам письма, Григорий Никитич Блинов произносит такую фразу: «Замечательный был человек. Редкой смелости и порядочности. Редкой!» Теперь нам стало ясно, почему такой жесткой была первая встреча с Блиновым. Старик растерялся. Он не чай допивал. Он готовил себя к встрече с нами. Он не верил, что после Аграновского может кому-то серьезно понадобиться: «Господи! Как хорошо, что я так долго живу,— вот и настал мой светлый час: понадобился труд моей жизни».

Три дня пребывания в доме Григория Никитича раскрыли нам подлинный драматизм истории, которая лежала за скобками очерка «Как я был первым». Перечитайте его сейчас. Он лишен патетики, в нем много юмора, мягкой иронии. В нем много воздуха, красоты, силы — все это идет от свободного владения предметом, о котором он писал. На самом деле за этой легкостью дыхания стояла сложная история, борьба не за страх, а за совесть. Аграновский сам затеял эту борьбу и проявил присущие ему бескомпромиссность и бесстрашие. Чтобы лучше все это понять, вернемся, пожалуй, в август 1961 года, когда космонавт-2 Герман Титов свершал витки вокруг земного шара. Пока журналисты осаждали дом Титовых в Полковникове, пока шел веселый грабеж семейных реликвий, пока телевизионщики устанавливали свои камеры и охорашивали объекты съемок, Аграновский думал о встрече с человеком, про которого твердо знал только одно: «Понять его будет непросто». «Я готовил себя к этой встрече» — вдумайтесь, пожалуйста, в эту фразу. Ведь наступил звездный час алтайского просветителя Адриана Митрофановича Топорова, которому Титовы были обязаны всем, как сами они сказали. Чего же, казалось бы, надо еще журналисту Аграновскому, который все равно оказался бы первым, даже если бы приехал на Алтай последним. Но Аграновский был верен себе: он жаждал диалога с оппонентами Топорова. Он знал, что они живы. Докопаться до социальных, нравственных корней опыта алтайского просветителя, стянуть в единый узел причины и следствия уникальнейшего в истории мировой культуры явления — это возможно было сделать только через разговор

с теми, кто был решительным противником опыта. Один из гонителей Топорова жил в Барнауле. К нему устремился Аграновский на следующий же день после приземления Германа Титова. Беседа содержится в очерке. Но это малая часть того, что происходило на самом деле. Встреча с оппонентом Топорова убедила Аграновского в правильности выбранного пути: исследовать все «за» и все «против» социально-культурного эксперимента в коммуне «Майское утро». Со страстью ученого-историка, социального психолога он взялся за историю дела Топорова, начало которой положено фельетоном Аграновского-отца. За день до отъезда с Алтая — места торжеств по случаю приземления Германа Титова — в Косиху ушло письмо Аграновского. Адресовано ученику Топорова Григорию Никитичу Блинову. Замысел Анатолия Абрамовича смутил косихинского бухгалтера: «Многоуважаемый Григорий Никитич! Пишет Вам А. Аграновский, спецкор «Известий». Очень жалею, что, будучи в Полковникове 5—6 августа, не знал еще, сколько необходима мне встреча с Вами. А теперь, видимо, не выйдет этого: завтра должен лететь в Москву. Остается одно — написать Вам. Вы, возможно, слышали мою фамилию. А. Аграновский, мой отец и тоже спецкор «Известий», был в «Майском утре» в 1928 году. Он написал статью в защиту А. М. Топорова, которая стала позже предисловием к книге «Крестьяне о писателях». Это-то и волнует меня — вся эта история. Еще не знаю, как и что буду об этом писать. Одно скажу, и Вы вполне меня поймете: мне интересны «гонители» Топорова — учитель Кокорин и бывший председатель коммуны Мананников. Я бы хотел читателю рассказать о них и некоторых других деятелях. С Кокориным я в Барнауле свиделся, имел долгую беседу и вижу, что он весь целиком прежний: по сей день убежден, что Топоров барин, мещанин, недобитый враг. Это всего поразительней. Владимир Васильевич Гусельников говорил мне, что примерно на той же позиции стоит Мананников, которого я, увы, не повидал. Охота мне нарисовать портреты этих людей. Думается, что они еще поучительны и говорить о таких типах полезно!» Письмо помечено 14 августа 1961 года. Здесь поразительно все, начиная с фразы: «Вы, возможно слышали мою фамилию», кончая тихим упоминанием роли своего отца в драматической истории Топорова. А чего стоит фраза: «...мне интересны гонители». Ему они действительно были интересны, хотя карта их была бита.

Известна ли была фамилия Аграновских на Алтае? Еще бы! В свой второй приезд в Косиху я попаду в семейство второго поколения коммунаров — к Бочаровым. Когда разговор случайно зайдет про Егора Сергеевича Блинова, однофамильца косихинского бухгалтера, старуха Бочарова воскликнет: «Ой, да это же его дочка Клавдия с Аграновского пальто сымала... Он, вишь, девка, в перву-то избу к Егору зашел. По деревне-то ходил без сопровождатых. Ему все самому надыть было поспеть». Так с 1928 года эта фамилия вошла в жизнь коммунаров наравне с именем Топорова. Она стала синонимом порядочности, высокой нравственности для коммунаров и их потомков.

Итак, получив первое письмо от Аграновского, Григорий Никитич Блинов не возгорелся разделить намерения спецкора «Известий». К тому было много причин. И не о них сейчас сказ. Он просто знал, этот свидетель и летописец коммуны, чего стоит возврат к новому разговору о «Майском утре». Знал это не на словах, а на деле. В одной из многочисленных папок Блинова уже лежало письмо Павла Владимировича Мананникова. Это было обвинение, написанное почти через три десятилетия. Обвинялся снова Топоров, который дал знать о себе статьей в районной газете. Чего стоят такие строчки в письме: «...Он (Топоров) в апреле был снят с работы и отправлен куда для нас неизвестно, а мы считали, что его уже нет в живых, а теперь вот на тебе, через 29 лет объявился». Нрав Павла Владимировича Мананникова, одного из руководителей коммуны, был известен Григорию Никитичу не через третьих лиц. В том письме, отрывок из которого я привела, Аграновский просил поговорить с Мананниковым подробно: «как держался он, что говорил, каков он внешне, какова его нынешняя должность. Я понимаю, что прошу у Вас слишком многого, но, право, это может пойти на пользу дела». Нет, Блинов не разделял намерений Аграновского. Он решительно не видел никакого смысла вступать в диалог с Мананниковым. 27 августа он направил письмо Анатолию Абрамовичу, в котором были такие строчки: «...вся эта дикая история такая мерзкая, такая грязь, в которой копошиться тридцать лет спустя вряд ли есть надобность. Ведь подлецы в злобной клевете приписывали Топорову такую несусветную чушь, что оспаривать это бесполезно, попусту тратить время и бумагу. Да и Топоров вряд ли нуждается в защите». На просьбу Анатолия Абрамовича описать Мананникова и поговорить с ним

Блинов ответил резко: «С подлецом Мананниковым разговаривать у меня нет ни малейшего желания. Пусть с клеветником говорит сам сатана». Таков Григорий Никитич. Это его право, но сегодня, спустя годы, отчетливо ясным становится, что косихинский летописец не был уверен до конца в затее Аграновского. Был и упрек, которого Анатолий Абрамович не заслужил. Упрек вроде прямо и не высказан, но безошибочный нравственный слух Аграновского его мгновенно уловил. Блинову казалось, что при всей своей порядочности младший Аграновский все-таки подвержен космическому буму, и поскольку не на каждого Топорова пришелся свой космонавт, то и нечего трогать топоровскую историю. Максималисту Григорию Никитичу, каковым он остался и в 78 лет, нужны были нравственные гарантии вмешательства в давнюю ситуацию. Даже малейшая тень конъюнктурного отношения к коммуне вызывала стойкий протест Блинова. На это были все права у верного стража дела коммуны. Анатолий Абрамович допускал, что Григорий Никитич может иметь причины, по которым откажется помочь. «Буду ждать Вашего письма. Ответьте мне при всех условиях, даже если не захочется отвечать. Так и напишите тогда, что времени или желания нет у Вас отвечать на длинное письмо. Разумеется, все сведения, которые получу от Вас, я использую, дам со ссылкой на Вас. Дружески жму Вашу руку. А. Аграновский».

Независимо от отношения Блинова, Аграновский настойчиво изучал все перипетии давнего дела. Он истово веровал, что конфликт имел отнюдь не частное значение. Он видел в нем остро современный смысл и как блестящий публицист обращался к прошлому, чтобы понять настоящее и предупредить будущее. Он хотел знать все! В тот момент, когда я, вернувшись из Николаева, писала свою статью под пышно-безвкусным названием «Где живет жар-птица?», Аграновский дотошно продолжал выспрашивать историю: «...Судя по письму Адриана Митрофановича, которое есть у меня, Мананников обвинял его в поддержке кулаков и «единственного батрака» Носова, которого в 1936 году репрессировали. Вы ведь старожил этих мест? Что это за «кулаки», ведь они к 1936 году были в коммуне 10 лет, то есть все эти годы «имущества» не имели. А до 20 года воевали с Колчаком. Чего-то я тут не понимаю. И еще: нет ли сведений в районе о реабилитации Ивана Носова (Топоров уверен, что он реабилити-

рован). Вот сколько вопросов я вам задал за один раз. Не ругайте уж меня очень — взволновала меня эта человеческая история. Думается, что теперь, на пороге строительства коммунизма, мы обязаны смелее и злее выкорчевывать все проявления паразитизма и негодяйства. Буду очень ждать Вашего письма». Меня почему-то пронзили именно эти строчки: «Чего-то я тут не понимаю...» Господи! Уже вовсю писались повести о космонавте, к Топорову пристроилась целая армия исследователей, снимались фильмы, телепередачи, а Аграновский чего-то не понимал. Как же надо врастать в дело, чтобы написать такую фразу про историю, в которой он был первым по всем статьям. Он умел задавать вопросы жизни. Задавал вопросы себе. Самые сложные — себе. Они нередко загоняли его в тупик. И хотя под рукой лежали журналистские хлесткие повороты, которые обеспечивали безбедную, бесхлопотную жизнь, он не прельщался ими, этими поверхностными ходами.

Знакомство с историей, раскрывавшейся по косихинскому архиву, по рассказам Блинова, потрясло наши души. Другого слова я не нахожу. Стало ясно, что за строкой, за пределами напечатанного слова стояла, быть может, самая главная жизнь спецкора «Известий» Аграновского. Исследование затянулось. Анатолий Абрамович располагал уже всеми материалами, помощь Блинова ему уже не была нужна. Он и в глаза не видел косихинского бухгалтера, но сквозь прямые и косвенные «нет» Блинова уловил упрек, адресованный его совести. Если попытаться отыскать нравственную доминанту во всей нашей поездке, то можно сказать, что определена она была чтением второго письма Аграновского Блинову.

Сила этого документа в уроке, который извлекает для себя читающий. Этот урок — чистое золото гражданской и нравственной мысли и что еще важнее — поступка. Решимость человека довести дело до конца независимо от того, каковы возможные последствия. Опуская из письма детали, касающиеся конкретных вопросов, я привожу это письмо.

«Прошу простить мне первое сумбурное письмо. Выложил в «первозданном» увлечении темой все скопом, подряд, вот Вы и не поняли самой сути моего замысла. Постараюсь теперь рассказать все толком. Разумеется, рассказывать во всех деталях давнюю грязную историю травли Топорова — дело пустое. Тут я полностью согла-

сен с Вами. Доказывать правоту его также излишне. Топоров победил по всем линиям. Полет Германа Титова, который, как Вы пишете, сделал фигуру учителя «модной», есть последнее доказательство его правоты. В сущности, сверкающая ракета была как бы точкой над «и», до конца исчерпавшей старый спор. Однако спор поучителен. И я по-прежнему убежден, что рассказать о столкновении противоборствующих сил полезно и нужно.

Не о старых дрязгах, не о вздорных обвинениях, не о доносах и клеветах (их опровергать-то не к чему), а о двух взглядах на жизнь, о двух моральных кодексах, о двух мировоззрениях. О, это столкновение далеко еще не кануло в вечность! Новаторы и косные люди, истинные коммунисты по духу и равнодушные формалисты, готовые загубить любое живое дело... Давний спор Топорова с Кокориным и Мананниковым решен... Блистательно решен самой жизнью. Но и сегодня где-то борются между собой новые топоровы с новыми кокориными, потому тут стоит после драки помахать кулаками. Ей-богу, стоит! Потому что выводы поучительны и весомы. Потому что пример Топорова — добрым молодцам урок. А пример Кокорина и Мананникова — дурным людям годен в назидание и предостережение. Это главным образом взволновало меня на Алтае. Об этом хочу писать. Что же касается «деталей», так тут могут быть мнения самые разные. В старых дрязгах, повторяю, у меня нет желания копаться... Есть в Барнауле и Новосибирске и другие деятели, которым Топоров до сих пор «не по душе» (скажем так). Все это очень сложно, очень непросто. Тут требуется серьезное исследование, а не репортерский наскок, и я это отлично понимаю. Вряд ли смогу написать быстро, может понадобиться и год, и два. Но напишу непременно. Мне эта тема и лично дорога: в 1928 году в «Известиях» выступил в защиту Топорова А. Аграновский. Так что он вроде бы завещал мне доспорить этот давний спор.

У Топорова я был. Вчера только вернулся из Николаева (потому, кстати, и задержал ответ на Ваше письмо). Адриан Митрофанович многое мне рассказал, о многом мы вспомнили с ним, множество драгоценных документов передал он мне, разумеется, и копию послания Мананникова, так что просьба моя к вам снимается с повестки дня. Видел, как Вы знаете (кажется, я писал Вам), и Кокорина и весьма подробно беседовал с ним. Таким образом, основное у меня есть. Теперь надо обдумать все это подробно,

тщательно, строго. Если будет нужда, приеду на Алтай и тогда рад буду свидеться с Вами.

И последнее: меня немного обидело Ваше пусть чуть заметное между строк убеждение, что я взялся за эту тему «по моде», по причине «космических дел». Уверяю Вас, мне это не свойственно. И я надеюсь, в будущем Вы сможете увидеть, что очерк мой модой никак не продиктован. Он должен быть глубок и серьезен. Или его вовсе не будет. Быть может, мне придется написать в «Известия» небольшую вещь о Топорове, просят меня написать. Так это, если и выйдет, совсем не тот большой очерк, о котором я мечтаю и долго-долго буду думать.

Вновь прошу Вас простить мне сумбурное первое письмо. Я писал его, будучи сильно увлечен темой, которая тогда только приоткрывалась мне.

Благодарю Вас за скорый и вполне ясный Ваш ответ...»

Когда такой очерк появится, одним из первых его получит Блинов с дарственной надписью Анатолия Аграновского.

Топоровская тема, взявшая свое начало в беседах с Анатолием Абрамовичем, стала делом моей жизни. Потому она и здесь, в воспоминаниях об Анатолии Абрамовиче, вытеснила многое другое, о чем надо было бы рассказать.

Пожалуй, я ограничусь напоследок одной историей. Отношение Аграновского к ней показалось мне странным. Я приготовилась к очередному «нет!» Анатолия Абрамовича, но на этот раз оно не прозвучало. Случилось вот что: в школу, где я работаю, приехал социальный психолог из Академии общественных наук при ЦК Болгарской компартии. Он познакомился с сочинениями учащихся по книгам Павла Вежинова и начал убеждать меня, что для писателя вся эта работа представляет особый интерес. Вернувшись в свою страну, он рассказал Павлу Вежинову о наших детях. И я загорелась. Собрала несколько сот детских работ и стала хлопотать о туристической поездке в Болгарию — другого способа я не видела попасть в Софию. В последний момент мои документы изъяли из папки, видимо, какому-то нужному человеку понадобился жаркий август в Болгарии.

Я ринулась к профсоюзному лидеру — Купчинскому, по профессии учителю, полагая, что уж он-то меня поймет: дети очень ждут моих рассказов о Вежинове и его реакции на их сочинения. Но Купчинский был не просто неумолим. Он испытывал особую радость — не пустить меня, одарив

на прощание такими словами: «Если вы такая умная, почему вас не пошлет педагогическая академия?»

Я еще не все поняла и не успела оскорбиться. С ходу пишу в Академию педагогических наук все тому же Кондакову, полагая, что речь идет о престиже нашей школы, достоинстве наших детей. На этот раз президент ответил. Из письма было ясно, что местные профсоюзные органы сами лучше знают, кому дать туристскую путевку. И мне ничего не оставалось делать, как ждать три года — в январе 1984 года меня включили в группу работников сельского хозяйства, которая отправлялась спецмаршрутом. Один из скотников Тогучинского района отказался от поездки, и я получила место. Но в последний момент, когда я собралась платить деньги, из Софии пришла печальная весть: Павел Вежинов умер. И меня со всех сторон уговаривали уняться: «Кому и куда ты повезешь детские работы?», «Ну не глупо ли все это?»,— «Пора совершать взрослые поступки» и т. д. Я никому не могла объяснить, почему я должна была ехать.

Прямо из Домодедова я позвонила в дом Аграновских. Все-таки надо было знать, правильно ли то, что делаешь, о чем думаешь. Помню, что говорила я ужасно, сбивчиво, подавленная сумятицей чувств,— в самом деле, куда еду и зачем? И вдруг услышала почти нараспев: «Все правильно. Ехать на-а-до».— «И сочинения с собой везти? На могилу первым делом сходить?» — «И сочинения везти непременно. И на могилу первым делом сходить. Найдите вдову писателя. Это в Софии несложно. Обойдетесь русским языком». Я знала, что Анатолий Абрамович любил Болгарию, но я всегда помнила самые первые слова, которые он произносил на мой очередной взрыв: «Давайте, Эльвира, разберемся. Посмотрим трезво...» Почему же в этот раз он не призвал меня разобраться?

Ранним утром 10 февраля 1984 года, оказавшись в Софии, я пошла на Центральное гробище. Директор кладбища, узнав мою историю, ничему не удивился. Я нашла парцал, на котором похоронен писатель. Цветы запорошены снегом. Запорошен снегом и номер «Литературного фронта». Стоял тихий зимний день. Я положила красные гвоздики на могилу и раскрыла письма, которые мои ученики писали Павлу Вежинову, когда он был еще жив. Странное дело, как будто я заново открыла здесь всех своих ребят. На следующий день я встретилась с другом Вежинова, главным редактором журнала «Семья и школа».

Это вышло случайно, я просто вошла в пустой кабинет, чтобы позвонить вдове писателя. Пришел хозяин кабинета и, узнав о моих приключениях, попросил почитать сочинения. Мы читали их несколько часов кряду. Он отобрал два из них — Наташи Дворкиной и Лени Бурдакова, сказав при этом поразившие меня слова: «Вы привезли нам не просто школьные сочинения. Вы привезли нам реквием по Павлу Вежинову...» В поездке по Болгарии было еще несколько странных историй, о которых я потом рассказывала Анатолию Абрамовичу. И на этот раз Аграновский сказал: «Здесь нет ни странностей, ни случайностей. Вы обратили внимание, что все происходило как бы по типу книг самого Павла Вежинова? Все правильно...» И все-таки Анатолий Абрамович показался мне каким-то другим. Что же могло стоять за этим решительным «Ехать!»? ...Сижу в доме Аграновских и спрашиваю об этом Галину Федоровну. Ни на минуту не задумываясь, она произносит: «Да что вы! Это вполне в духе Анатолия Абрамовича. Таким он был всегда. Это очень просто, Эльвира Николаевна. Он считал, что надо выполнять свои обещания»...

Р. Н. БУРУКОВСКИЙ

«Незримый, прочный след»

Думая об Анатолии Абрамовиче Аграновском, я всегда вспоминаю стихи Л. Мартынова, строка из которых приведена вместо заглавия. Мысль не новая — мне она встречалась неоднократно на страницах многих книг: мы формируемся не сами по себе, а под влиянием людей, с которыми нас сводит судьба. Это и родители, и учителя — те, кто, как говорится, вкладывает в нас душу. Но бывает, что, казалось бы, случайная встреча оставляет такой же след...

С Анатолием Абрамовичем я встретился впервые на страницах его книги «Репортаж из будущего» — ни много ни мало почти 30 лет тому назад. Как ни странно, я хорошо помню обстоятельства этого.

В нашей районной библиотеке, которая находилась как раз против нашего дома, я пользовался большими привилегиями из-за своей буквально исступленной любви к чтению. И каждый день после школы я забегал туда, забирался между стеллажами и путешествовал от книги к книге. Листал, ставил обратно на полки... Увлекшись, мог присесть там же на подоконник и... опомниться лишь тогда, когда меня хватятся. Так я наткнулся и на книгу Анатолия Абрамовича. Каюсь, меня завлекло название «Репортаж из будущего». Я думал, это фантастика, к которой и сейчас неравнодушен. Но это была публицистика.

Несмотря на это, я прочел книгу единым духом, а фамилия автора отложилась в памяти.

И вот через несколько лет, ровно четверть века тому назад, в коридоре факультета меня остановила какая-то девчонка с нашего курса и сказала, что на кафедре физиологии растений будет встреча с писателем Аграновским. Я тут же вспомнил о понравившейся книге и конечно же заявился на встречу.

Мы расположились вокруг огромного старинного стола, во главе которого сидел Анатолий Абрамович. В памяти хорошо сохранилась сама обстановка, а вот о чем говорили — не помню. В процессе беседы А. А. Аграновский

спросил, не читал ли кто-нибудь его книгу «Репортаж из будущего», и оказалось, что я — единственный. Как мне сейчас кажется, именно это послужило поводом для приглашения вечером зайти к нему в номер гостиницы побеседовать. Для такого случая я даже принарядился. Это значит — надел не ту ковбойку, в которой ходил в университет, а другую; по правде говоря, других рубашек у меня и сейчас не водится. Моя жена, когда сердится на меня за это однообразие, утверждает: это потому, что Анатолий Абрамович описал меня в очерке «Факел, который нужно зажечь» именно в ковбойке. Я, конечно, протестую, но... если заглянуть мне поглубже в душу... Не знаю, не знаю.

В тот вечер была моя первая встреча с журналистом. Потом мне не один раз приходилось сталкиваться с представителями этой профессии. Так уж получилось, что обо мне писали даже слишком много — из-за моей коллекции ракушек в основном. Поэтому я имею возможность сравнивать. И вот что я скажу.

Среди журналистов встречались мне люди разные. Откровенные ремесленники, не скрывающие, что им важен не я, а материал. Они приходили в наш дом, но не хотели видеть и слышать. Главное — записать факты и чтобы они уложились в заранее сложившуюся схему. И даже когда я их начинал интересовать и просто как собеседник, как человек, вырваться из капкана узко понимаемого профессионализма они уже не могли. Иногда это было просто неприятно.

Приходили в наш дом и другие, которых мы вспоминаем с удовольствием и до сих пор поддерживаем хорошие отношения. Но — пусть они не обижаются — и на них ощущался некоторый налет профессионального цинизма.

Вот что абсолютно не было присуще Анатолию Абрамовичу. В нем прежде всего чувствовался глубокий интерес к людям вообще и к его конкретному собеседнику — в частности. Ты понимал: ему интересно! Меня особенно уговаривать не надо: я и сейчас не дурак «потрепаться», особенно с интересным человеком, а в юности был просто болтлив. Не думаю поэтому, что разговорить меня стоило А. А. Аграновскому больших трудов. И он меня не интервьюировал, он просто активно участвовал в беседе. О чем мы только не говорили! Я — о биологии, о сокровенно мне дорогом. Анатолий Абрамович — о летчиках-испытателях. Я — о Белом море, А. А. Аграновский — об

Архангельске. Я читал стихи, а Анатолий Абрамович пел (как я сейчас понимаю — свои собственные песни). Но я-то заливался соловьем, что называется, «из любви к искусству», а Анатолий Абрамович, как я понял позднее, работал. Напряженно, с отдачей всех сил! В этом я убеждаюсь, перечитывая тот памятный очерк. Как он сумел выловить, ничего не записывая, в том, казалось бы, сумбуре, мысли и образы, которые стали ключевыми для всего очерка, а потом — и для меня, для моего миропонимания, так как заставили многое переосмыслить, решить для самого себя и в какой-то степени руководствоваться этим в своей жизни!

Если взять книжку А. А. Аграновского «Письма из Казанского университета» и прикинуть хотя бы примерно количество героев, на каждого из которых было потрачено сил не меньше, чем на меня, а потом, так сказать, экстраполировать на всю книгу — вы сможете представить, какой это гигантский труд!

И для меня это — главное в Анатолии Абрамовиче. А также ощущение тепла, исходившее от него. Оно чувствовалось и при личном общении, и в его очерках. В тех строках, что были посвящены мне, Анатолий Абрамович не пожалел иронии. Весь университет потешался над «типичным зоологом». Но обижаться я не мог: за строками этого «дружеского шаржа» чудились тепло улыбающиеся глаза А. А. Аграновского.

Потом я написал письмо и получил ответ. Потом, через год, будучи в Москве, буквально напросился в гости. Теплые ощущения усилились. И позднее, бывая в Москве по крайней мере раз в год и обязательно посещая по своим делам биофак МГУ, я проходил по Ломоносовскому проспекту и, оглядываясь на знакомый дом, всегда с удовольствием думал: вот здесь живет Хороший Человек.

И еще одно. Анатолий Абрамович был не просто хороший, а надежный человек. С моим коллегой случилась беда. Это была житейская неприятность, несправедливость. Правда, из тех, которые иногда могут до предела осложнить жизнь. Я тут же бросился к Анатолию Абрамовичу, а он буквально сидел на чемоданах: уезжал в отпуск. Несмотря на это, он связался с кем-то из своих коллег, и проблема была решена в ближайшее время. И я знаю, что мой коллега был далеко не единственный, кому пришел на помощь А. А. Аграновский.

С годами многое приходится пересматривать в своих

взглядах на жизнь и на людей. Испытываешь разочарования, накапливаешь печальный опыт. Иногда сталкиваешься с таким, что после этого буквально не хочется жить. Поражаешься, до каких пределов могут дойти в людях равнодушие, неблагодарность, непорядочность, мелкое житейское рвачество. Но я всегда вспоминаю Анатолия Абрамовича, да и других дорогих мне людей, и ничто не может для меня заслонить мысли — не новой опять-таки, но вновь открываемой каждым на своем опыте: какое значение может иметь все это, когда есть люди, подобные Анатолию Абрамовичу Аграновскому?

Е. И. КАПАНИЦЫН

Борец за справедливость

> **«Мой герой, я понял, педант, эти люди бывают несносны, для приятного времяпрепровождения я бы выбрал, наверное, кого-то еще, но уж самолет, на котором мне надо лететь, пусть ремонтирует педант».[1]**
>
> *А. Аграновский*

Мое знакомство с Анатолием Аграновским как с писателем состоялось в начале шестидесятых годов. Тогда, живя в Сибири, точнее, в селе Нарва Красноярского края, я в каком-то «толстом» журнале, кажется в «Октябре», прочитал его повесть «Открытые глаза». Рядом с заголовком был его маленький портрет. Повесть «Открытые глаза» — о трудной работе летчиков-испытателей. Я прочитал ее с большим интересом. Меня поразила удивительно интересная манера повествования, слог самой повести и глубокое знание всего описываемого автором. Чувствовалось, что автор основательно изучал авиацию и разбирается в ней профессионально. В сочетании с писательским даром получилась очень увлекательная и познавательная повесть. Прочитав ее, я еще раз внимательно вгляделся в его портрет. Высокий лоб с аккуратно зачесанным назад чубчиком.

Больше, к сожалению, ничего из произведений А. Аграновского мне не попадалось, а о том, что мне придется стать героем его очерка и встретиться с ним в жизни, я конечно же не думал. А пришлось ведь!

В 1973 году я работал токарем на Минераловодском авиаремонтном заводе гражданской авиации в цехе № 9. Был на хорошем счету, членом цехового комитета профсоюза, депутатом горсовета. С начала моей работы в цехе № 9 я ратовал за перестройку формы организации

---

[1] Аграновский А. Очерк «Обтекатели».— «Известия», 1973, 3 октября.

и учета соцсоревнования, о чем говорил на собраниях, писал в стенгазету, но безуспешно. Наших «организаторов» устраивала существующая форма. В конце каждого месяца на цеховом собрании объявляли не выполнивших нормы выработки, имевших замечания по работе и дисциплине и объявляли таковых «непобедителями», а все остальные были «победители», о чем на доске показателей против фамилии в соответствующей графе писали «поб.» или «непоб.». Передовиков премировали по очереди, отстающих не было. Обязательства индивидуальные брались нисколько не связанные с конкретным планом цеха, а потому не подконтрольные проверке. Некоторые даже брали обязательства «не допускать брака в работе» и прочие «не...».

И вот я отказался брать такое «обязательство», и меня лишили звания «Ударник коммунистического труда». Я написал об этом в газету «Известия».

Вскоре я ушел в отпуск. В канун окончания моего отпуска, придя домой, я увидел человека, беседующего с моей женой, Ольгой Ивановной. Я его узнал сразу, вспомнив его портрет в том давнем журнале. Чубчика, зачесанного назад, уже не было. Познакомились, он представился: Анатолий Абрамович Аграновский, специальный корреспондент газеты «Известия». Он рассказал мне, что побывал уже на заводе, познакомился с рабочими, расспрашивал обо мне, узнал, что я в отпуске, потому и пришел к нам домой.

Я сказал Анатолию Абрамовичу о том, что читал его повесть о летчиках-испытателях, но забыл название. Он мне напомнил: «Открытые глаза», в журнале «Октябрь», в 1961 году. Поговорили о героях повести, в частности о Гринчике. Между прочим, мне довелось, будучи в Москве, на Новодевичьем кладбище, случайно набрести на могилу Гринчика, где я увидел его портрет на обелиске. И я удивился, сравнив его со словесным портретом в повести. Как точно сумел Анатолий Абрамович подметить характерные черты лица своего героя!

На другой день я вышел на работу и оказался в центре внимания всего завода. Со мной там Анатолий Абрамович беседовал мало, больше с другими, интересовался обязательствами и вообще организацией соревнования. И все писал, писал в свою объемистую записную книжку. Писал он перьевой авторучкой, черными чернилами.

Между прочим, с его приездом администрация завода

рьяно принялась за реконструкцию вентиляции нашего цеха, о которой несколько лет подряд записывался пункт в коллективный договор, и ничего не делалось. На сей раз к отъезду А. Аграновского все было сделано, а пробыл он у нас не больше недели.

В один из дней, по окончании моей смены, Анатолий Абрамович заехал за мной на машине и привез в гостиницу, где он жил. Там, в его номере, раздевшись до пояса (было очень жарко), мы долго беседовали с ним обо всем. Вот там-то я и поправил ковровую дорожку, лежавшую непараллельно кровати. И это он отметил потом в очерке как черту моего характера — педантичность. Собеседником он был весьма интересным, расспрашивая о моей жизни, он поведал мне пространно и о своей. Так я узнал, что он тоже имеет отношение к авиации, окончил во время войны авиационное штурманское училище. Отсюда мне стало понятно его увлечение авиацией вообще. Это потом часто просматривалось в его публикациях в газете, вплоть до последней, посмертной, о сокращении аппарата. Проговорили мы с ним до позднего вечера, и я уехал домой. Еще несколько дней бывал Анатолий Абрамович на заводе, побывал и у нас дома, где жена моя угостила нас обедом. Когда она упрекнула меня в том, что я написал в газету, дескать, дождешься, выгонят с работы, Анатолий Абрамович на это реагировал так: «Жен надо слушаться, но не всегда». Мы посмеялись его шутке, а он продолжил: «А насчет «выгонят» — был я у брата А. Твардовского, колхозного кузнеца. Он тоже критиковал колхозное начальство, и его жена тоже ему указала, что выгонят, мол, с работы. На это он ответил: «Меня с моей должности понизить невозможно». Вот так!

Расставались мы с Анатолием Абрамовичем в беседке напротив нашего цеха. На прощание он сказал: «Мне облегчает работу над статьей то, что вы работник хороший и по этой части заводское начальство вас упрекнуть не может». И еще, помолчав, добавил: «Кое-кому достанется крепко, потому что статья будет очень злая. Правда, не скоро. Я работаю очень медленно». Пожелав друг другу всего доброго, мы расстались друзьями.

И вот 3 октября 1973 года, развернув полученный номер газеты «Известия», я увидел заголовок «Обтекатели» с фамилией автора — Анатолий Аграновский. Прочитали с женой вслух. На работу в тот день я пошел во вторую смену и по пути спрашивал в киосках «Союзпечати» этот

номер газеты, но ее уже в продаже не было, и продавцы удивлялись тому, что этот номер пользуется таким спросом. У проходной завода меня многие останавливали и начинали разговор с вопроса: «Читал?», делились впечатлениями об «Обтекателях». Слово это стало крылатым, и даже меня в шутку стали называть «обтекателем».

Многие в тот день подходили к моему станку, благодарили за смелость, горячо советовали, о чем еще написать в газету, а когда в ответ я им советовал самим написать, их пыл угасал тут же. Приходили и домой со своими бедами и просьбами, и им я говорил: «Пишите сами».

Вскоре Анатолий Абрамович спросил меня в письме, не слишком ли резок был он в «Обтекателях», не сержусь ли я на него за то, что изобразил меня этаким «сухарем, педантом»? А как я мог сердиться, если все, что написано,— *правда.*

Позднее «Обтекатели» вошли в сборник его статей под общим названием «Порядок», на обложке которого запечатлен сам автор в белой меховой шапке и в полушубке на фоне какой-то стройки. Эту небольшую книжку Анатолий Абрамович прислал мне и моей жене Ольге Ивановне с дарственной надписью. Книжку эту мы храним как дорогую память и с гордостью показываем и даем читать друзьям и знакомым.

С Анатолием Абрамовичем мы переписывались долго. За это время мы переехали жить в новый дом, в трехкомнатную квартиру со всеми удобствами, где живем и по сей день. Об этом я тоже сообщил Анатолию Абрамовичу в письме, и он сердечно поздравил меня с новосельем. Обещал нас навестить, если будет в наших краях. Но, увы, не пришлось...

А я всегда с интересом ждал статьи А. Аграновского в «Известиях». А однажды мне дали маленький журнал «ЭКО», где Анатолий Аграновский, выступая на каком-то экономическом совещании, упомянул обо мне, сказав, что я при расчетах у станка пользуюсь логарифмической линейкой, но что об этом он не написал в «Обтекателях», почувствовав, что это будет «перебор», которому читатель может не поверить, а не поверив одному, не поверит и всему остальному.

...И вот 17 апреля 1984 года «Известия» принесли нам печальную весть: 14 апреля 1984 года внезапно скончался Анатолий Абрамович Аграновский. Эту газету я тоже храню в своем столе. С какой скорбью и печалью, с какой

сердечной любовью к нему сообщали об этом его товарищи по работе. Я не могу назвать это некрологом. Это краткая «Повесть о Настоящем Человеке». Я тут же направил в «Известия» свои соболезнования.

Нет с нами Анатолия Абрамовича, замечательного человека и прекрасного писателя, но труды его продолжают жить и удивлять нас глубиной суждений.

Прочитал я выдержки из его записных книжек в журнале «Дружба народов», и они поразили меня своей провидческой глубиной...

Настало новое время, как бы обрадовался Анатолий Абрамович новым переменам, сколько он написал бы статей! Какое поле деятельности для него, которое он засеял бы семенами своего таланта!

Память о нем, этом замечательном человеке, борце за порядок и справедливость во всем, будет, должна жить среди нас. И поддерживать эту память должны мы. В С Е!

Г. А. АРБАТОВ

Мера жизни

Я считал и считаю Анатолия Аграновского лучшим нашим очеркистом. Я читал все, что выходило из-под его пера, читал с увлечением, с восхищением, а подчас — с восторгом.

Но я не могу написать о его творчестве, потому что писать о чьем-то творчестве — это специальность, нелегкая, наверное, требующая особого таланта профессия. Пусть профессионалы и пишут об очерках Анатолия Аграновского,— он сам терпеть не мог любительщины, во всем уважал высокий класс мастерства.

Мне же хочется сказать о том, что прекрасные эти очерки были написаны редким по своим качествам человеком. Человеком, которого любили те, кто его знал. Человеком, со смертью которого у очень многих что-то в жизни потускнело, что-то из нее ушло.

Мне тоже всегда будет не хватать Анатолия Аграновского. Товарища, которому можно было верить, как самому себе. Собеседника, с которым было так интересно поговорить. Притом поговорить не только о том, что волновало его, но и обо всем, что волновало тебя (мне кажется, что это качество очень редкое). Человека, сочетавшего в себе множество красивых качеств: скромность и блистательную одаренность, высокую порядочность, искренность и мудрую сдержанность. Наконец друга, с которым всегда было так тепло.

Я никогда не забуду нашу последнюю «длинную» — часов на 4—5— встречу. После больницы меня направили на долечивание — «реабилитацию» (имеет это слово и такой смысл) в один из подмосковных санаториев. Мы с Толей (а он уже давно был для меня Толей) созвонились, и он приехал сразу после обеда. Был, по-моему, май. И мы бродили по дорожкам, увлеченные разговором, до темноты. Время от времени Толя вынимал коробку «Казбека» (этому, сегодня уже почти забытому, сорту папирос он так и не изменил). Иногда — чтобы закурить. А иногда — чтобы написать на коробке слово-другое (почему он редко запи-

сывал прямо в записную книжку — это уже один из секретов его творчества). О чем только не говорили! Но больше всего все-таки об экономике. Хотя и я здесь не профессионал, да и Анатолий Аграновский не посвятил свою жизнь только этой науке и этому занятию. Но, видимо, и он и я (дело было в 1982 году), как и многие-многие другие, ощущали, насколько острыми и важными стали накопившиеся здесь проблемы.

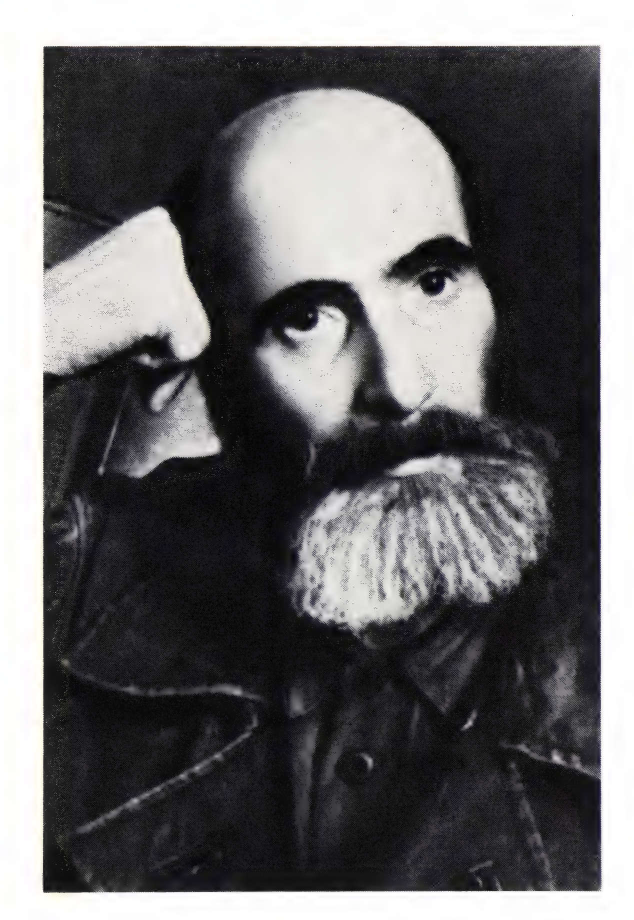
Некоторые из высказанных тогда мыслей попали потом в очерки. Другие — нет. Но все они так актуальны, как будто высказаны сегодня, когда в стране, в партии (а беспартийный Анатолий Аграновский был очень партийным человеком) идет большая дискуссия и о хозяйствовании, и о морали. Он ее предвидел и в меру сил готовил. И он в ней всем, что сделал, фактически участвует. Но какой бы ценный вклад он в нее внес, если бы прожил дольше! Я об этом часто думаю.

Говорят, что незаменимых людей нет. Я давно пришел к выводу, что если речь идет не о должности, а о жизни, это глубокая неправда. По-настоящему каждый Человек, достойный этого высокого звания, незаменим. А если человек, который ушел, к тому же талантлив, ярок, необычаен?

Вместе с тем раньше или позже из жизни уходят все. Потому, какой бы горькой ни была утрата, к смерти тоже приходится отнестись как к непреложному жизненному факту. И после смерти мерой того, как была прожита жизнь, становится прежде всего то, что осталось. Осталось в сделанном, в переданном другим, в памяти окружающих.

После Анатолия Аграновского осталось многое. Я даже не говорю о вещах очевидных — семье, детях, в которых он будет жить. Есть еще много людей и дел, которые он отстоял или которым помог. И мыслей, которым дал жизнь или в правильности которых убедил. Каждого, кто работал или общался с Анатолием Аграновским, это общение делало в чем-то умней и лучше. А для тех, кто лично его не знал, осталось замечательное литературное наследие, воплотившее многие стороны ума и души Аграновского. Его очерки еще долго будут читать, и, что особенно важно,— они долго будут учить читателя любить добро и отвергать зло, открытыми глазами смотреть на жизнь, думать, быть Человеком. Ради этого стоило жить и работать.

И еще одна мера того, как была прожита жизнь,— глубокое уважение и искренняя любовь всех, кому выпало счастье лично знать Анатолия Абрамовича Аграновского.



Отец А. Аграновского — А. Д. Аграновский, 1943 г.



А. Д. Аграновский, Ф. А. Аграновская — родители А. Аграновского, 1949 г.



А. Аграновский — слушатель Высшего военно-авиационного училища штурманов авиации дальнего действия. Челябинск, 1946 г.



А. Аграновский, В. Инфантьев, М. Дудин. Коктебель, 1950 г.



А. Аграновский, А. Анфиногенов, Н. Разговоров, К. Цыпленков, 1951 г.



А. Аграновский. Волго-Дон. Перекрытие, 1951 г.



Портрет жены. А. Аграновский, 1953 г.



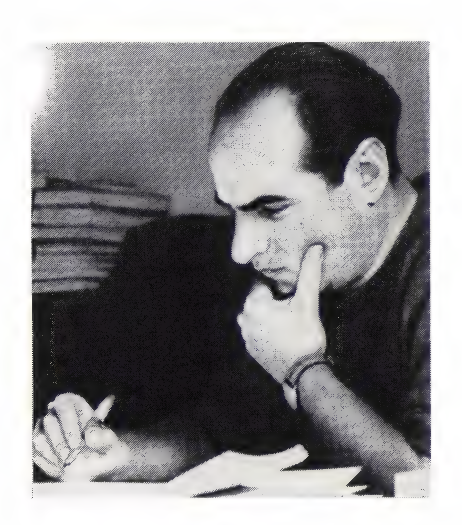
С. Н. Федоров. Рисунок А. Аграновского

А. Аграновский. Гагра, 1955 г.



А. Аграновский с женой и сыновьями, 1957 г.

Ф. Искандер, А. Аграновский, К. Кулиев, Н. Гребнев, С. Рассадин. Малеевка, 1960 г.



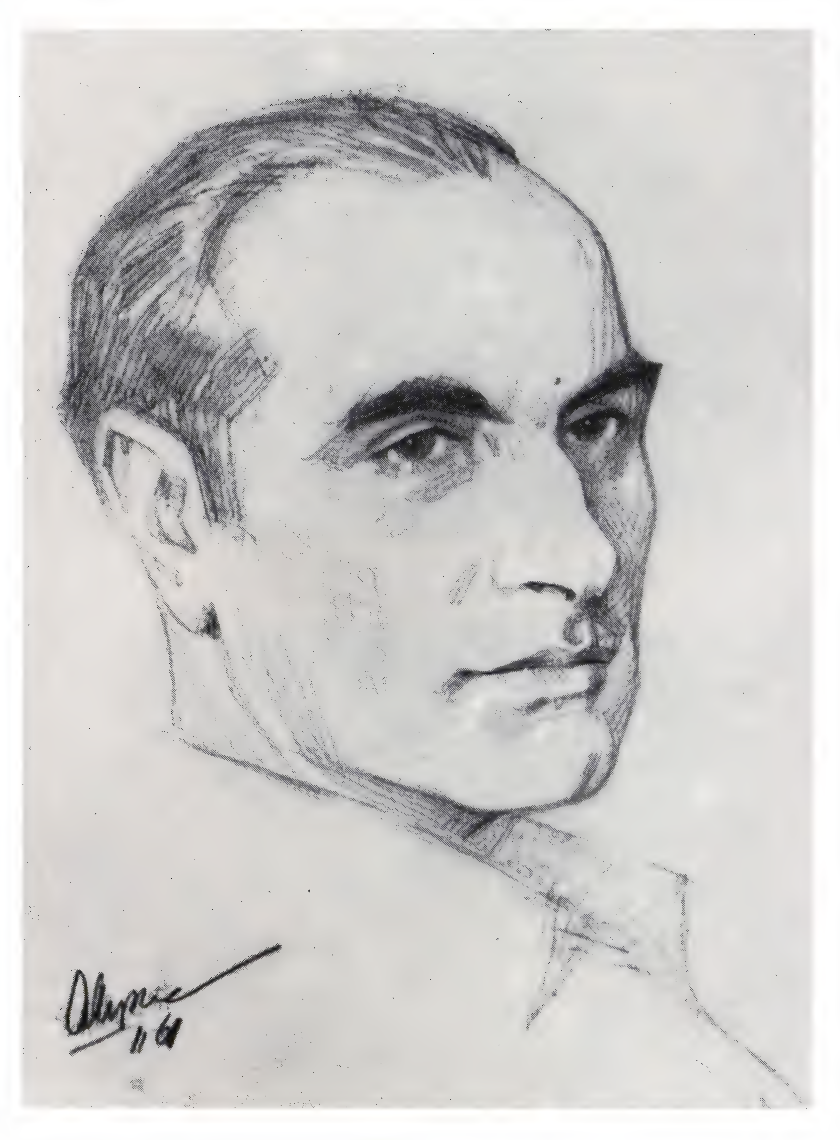
А. Аграновский, 1960 г.



А. Аграновский с сыновьями. Коктебель, 1960 г.

А. Березняк, А. Аграновский. Коктебель, 1960 г.

А. Аграновский и А. Топоров. Николаев, 1961 г.



А. Аграновский. Автопортрет, 1961 г.

А. Аграновский, С. Львов, И. Осипов. Париж, 1962 г.

А. Аграновский. Париж, 1962 г.

А. Аграновский. Париж, Монмартр, 1962 г.



А. Аграновский, С. Н. Федоров. Коктебель, 1962 г.



С. П. Титов, А. А. Аграновский, А. М. Топоров, Г. С. Титов, 1962 г.

А. Аграновский. Копенгаген, 1964 г.



А. Аграновский. Осло, 1964 г.

С. Залыгин, А. Аграновский. Египет, перекрытие Нила, 1964 г.



С. Залыгин, А. Аграновский. Египет, 1964 г.



А. Аграновский перед погружением на дно Нила. Египет, Асуан, 1964 г.

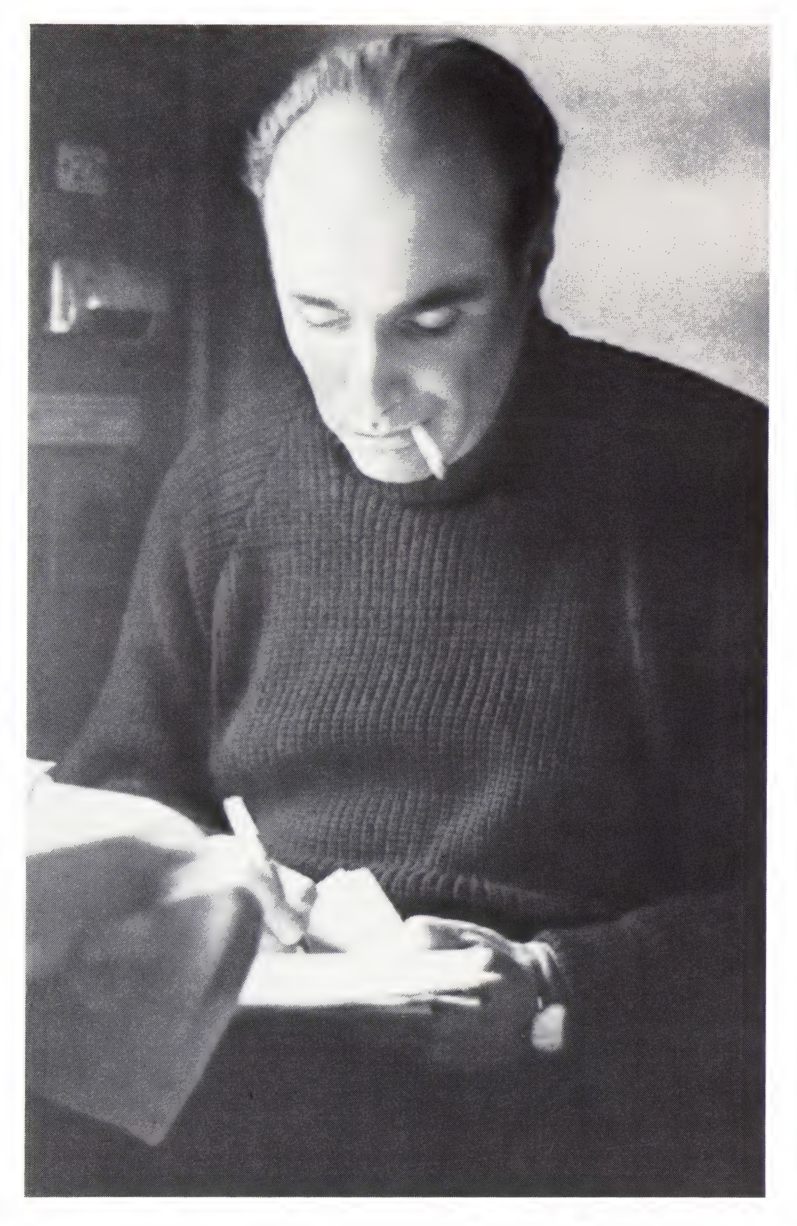
А. Аграновский. Египет, 1964 г.

А. Аграновский. Стокгольм. В парке скульптуры Миллеса, 1964 г.

А. Аграновский. Аскания-Нова, 1964 г.



А. Аграновский, 1965 г.



А. Аграновский, 1965 г.



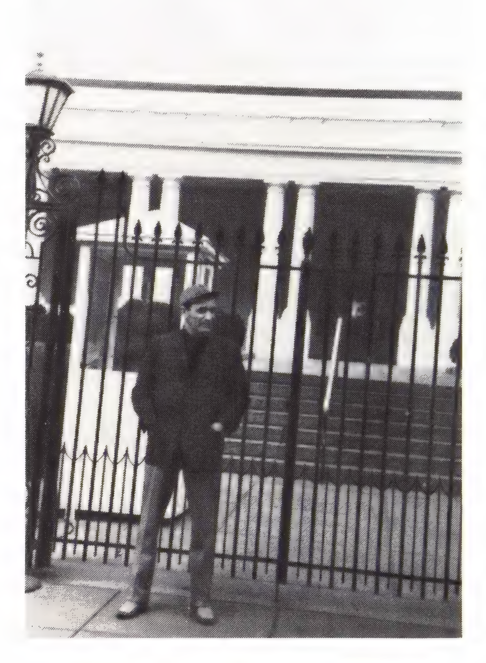
А. Аграновский дома, 1965 г.



Сын. Рисунок А. Аграновского, 1967 г.



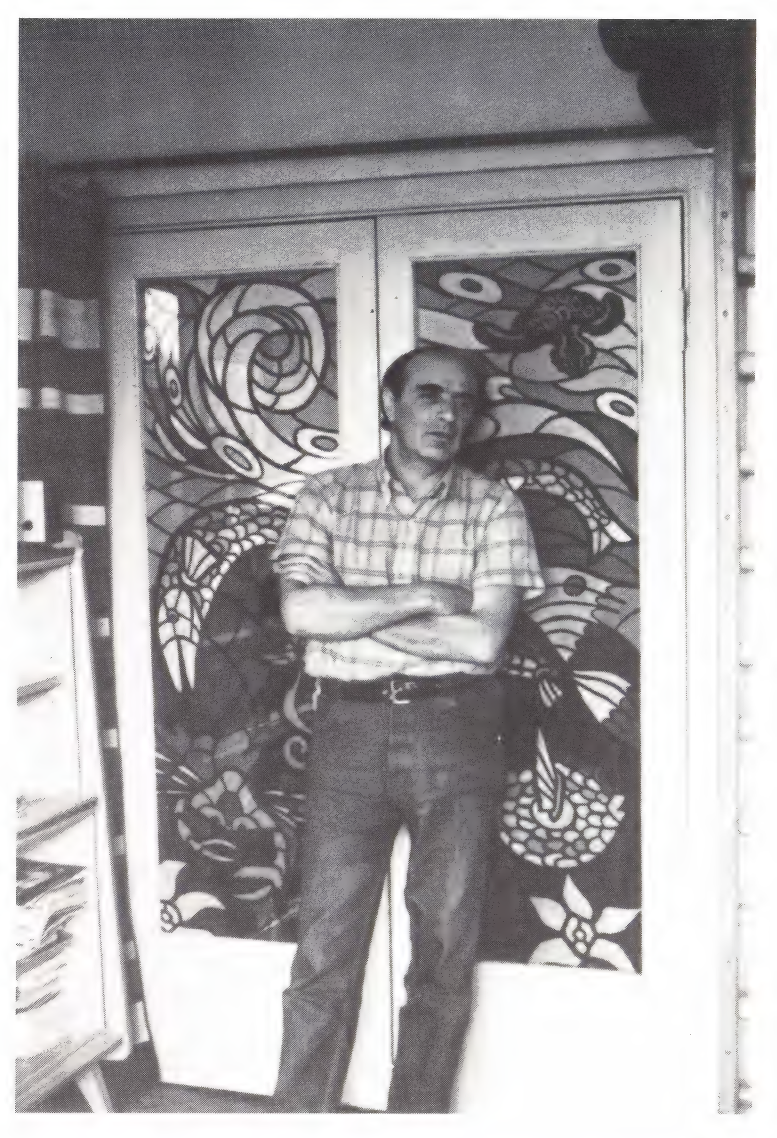
А. Аграновский. Вашингтон, Белый дом, 1969 г.



А. Аграновский. Вашингтон, 1969 г.



А. Аграновский, О. Васильев, 1969 г.



А. Аграновский дома, на фоне витража, сделанного им самим, 1969 г.

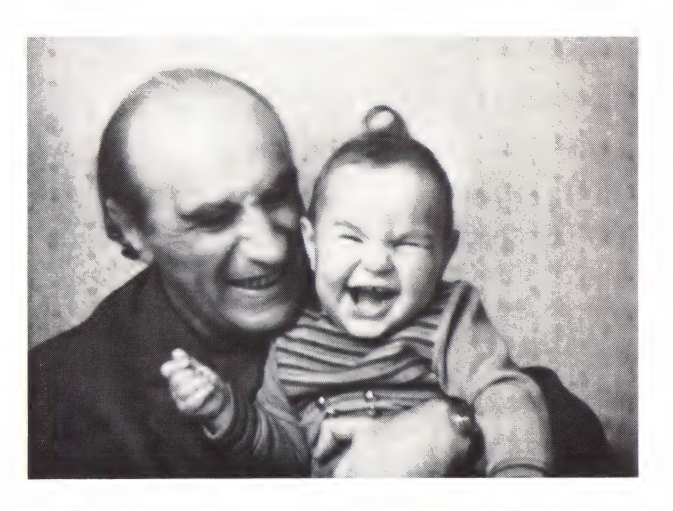
А. Аграновский, А. А. Туполев в салоне «ТУ-144», 1969 г.

А. Аграновский. Автопортрет, 1970 г.



А. Аграновский. Днепропетровск, 1975 г.

Министр здравоохранения СССР Б. В. Петровский, главный редактор «Известий» Л. Н. Толкунов, А. Аграновский в редакции газеты «Известия», 1975 г.



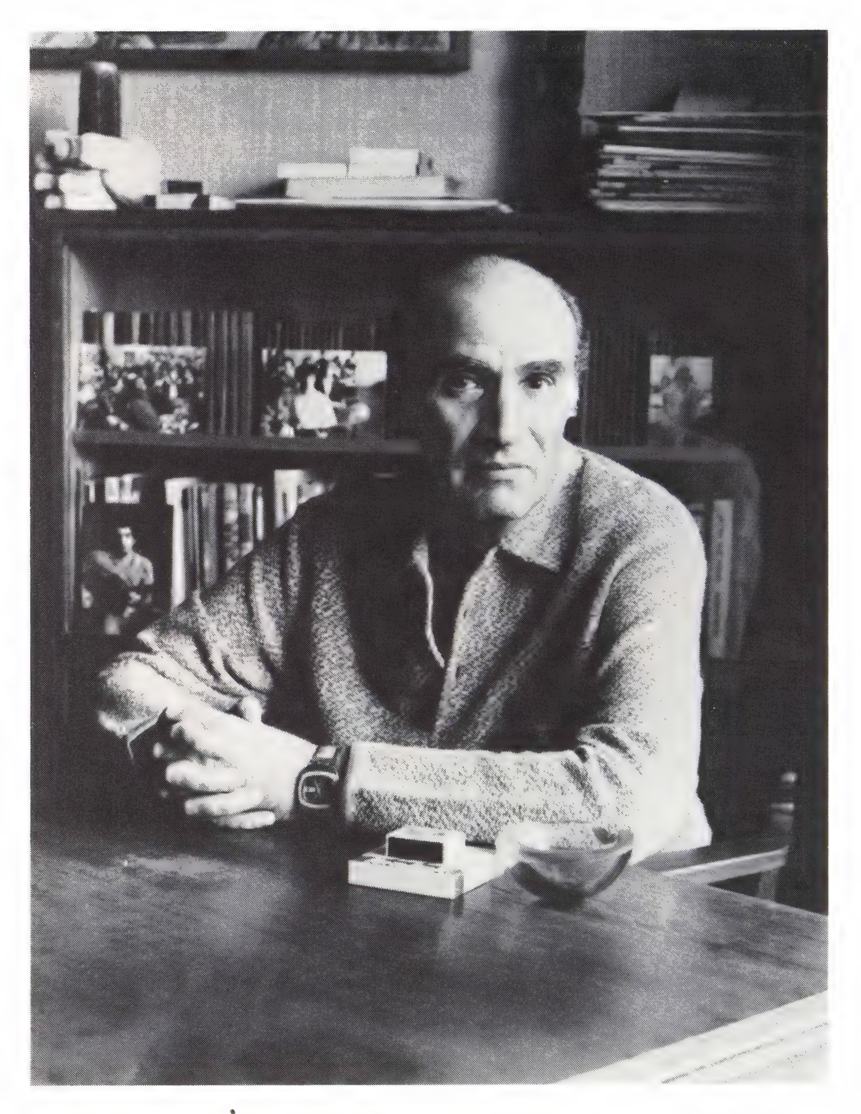
А. Аграновский с внучкой Машей, 1978 г.



А. Аграновский с женой, 1979 г.

В клинике С. Н. Федорова: Ч. Айтматов, С. Федоров, М. Айтматова, А. Аграновский, 1981 г.

Аграновские, Федоровы, Айтматовы на даче у Федоровых, 1981 г.



А. Аграновский. Из последних фотографий, 1983 г.

Евгения АЛЬБАЦ

Победа

> **Вообще говоря, талант очень сложное, трудное понятие, и дело здесь не столько в способности человека, сколько в том, что представляет собой человек как личность. Вот почему можно сказать, что талант есть способность обрести собственную судьбу.**
>
> ***Томас Манн***

В памяти много «локтей».

В памяти много локтей, которые остается только кусать. Помню, встретились в редакционном коридоре: «Женя, пошли пить кофе».— «Спасибо, Анатолий Абрамович, уже пила, бегу...» И побежала, понеслась куда-то... Возле лифта: «Видел, Слава Федоров читал верстку вашей книжки. Был доволен. Дали бы посмотреть...» И снова побежала, понеслась куда-то, спохватилась, а... «Вчера утром, в Пахре»... Чертова жизнь! Тратишь время на бытовые мелочи, ссоры, сиюминутные пустяки, кои никому не то что завтра — сегодня не нужны, тешишь ими собственное честолюбие и упускаешь те единственные мгновения, которые, быть может, главные во всей твоей жизни. Так в душе — как лакулы в металле — образуются пустоты, и никем другим их уже не заполнишь, это навсегда... И вот вместо ниточки — ее обрывки: в этом кадре ты куда-то вышел, в том — пришел, а зачем шел, как и почему — пустота... И остается только кусать себе локти...

Как славно было бы сказать: Аграновский был мне учителем. Не был. После смерти — стал. В очерках его ищу ответа на то, что могла бы спросить сама, кабы не неслась...

Нас познакомил доктор Федоров. То есть, конечно, я и раньше читала его статьи в «Известиях», изучала их в университете, не единожды видела его на редакционных этажах, в буфете, где он проговаривал то, о чем собирался

написать, однако дистанция — вполне справедливая, что неизбежно существует между начинающим журналистом и мастером (нет, МАСТЕРОМ, равных Аграновскому, по глубокому моему убеждению, не было и нет), так вот дистанция эта, легко преодолеваемая вовне, когда по заданию газеты надо встретиться с академиком, министром или еще каким деятелем большого масштаба, здесь абсолютно не преодолевалась. Подойти и сказать: «Здравствуйте, я...» — было невозможно никак, пиетет слишком велик. Это уже потом, познакомившись с ним, поговорив и послушав, я поняла: можно было. Вот так просто, без затей и реверансов, зайти к нему в кабинет или даже остановить на лестнице и промямлить: «Анатолий Абрамович, объясните...» И скорее всего, если не полную чушь ты несешь, он бы этому даже обрадовался, и уж во всяком случае ничем — ни словом, ни жестом, ни взглядом не добавил бы тебе неловкости, не выказал бы неудовольствия. Он не был начальником: не по положению — это-то понятно, в душе им не был. Он не считал себя великим и в среде прижизненных гениев был просто Аграновским. Как хорошо быть «просто»...

Да, а тут он однажды пришел к нам, в отдел науки «Недели» (темно-коричневый, кажется в полоску, костюм, зеленая шерстяная водолазка — таким он и остался в моей памяти навсегда, другим не вижу, хотя встречались потом не раз, и водолазки, видимо, были разные... галстуков не было — это-то точно), вошел, поздоровался и сказал, что в НИИ микрохирургии глаза будет пресс-конференция, что журналистам покажут институт и что, вероятно, это будет интересно нашим читателям. Послали меня. Было действительно интересно: мы походили по институту, поахали современности операционных и уютности палат, побеседовали с больными и послушали знаменитого тогда уже офтальмолога. Федоров говорил много и полезно, каждым слайдом и каждым фактом нанося ощутимый удар молодому скептицизму: когда-то давно, в детстве, мне — и удачно — прооперировал глаз ярый противник доктора Федорова... В общем, я чувствовала себя лазутчиком в стане врагов... Аграновский был здесь же: разговаривал с больными, заглядывал в окуляры мощных микроскопов, о чем-то расспрашивал врачей — короче, ничем не выделялся из нашей журналистской компании. Разве только не ахал... Ни полунамеком не дал он понять, что все, чему мы внимаем с радостным изумлением, он видел уже

не раз и что ко всему он имеет самое непосредственное отношение.

Еще накануне, в редакции, мы договорились с Анатолием Абрамовичем, что в институте я найду его. Он познакомил меня с Федоровым, Святослав Николаевич пригласил нас к себе в кабинет. Повторилось то же: Аграновский молчал, я же задавала, как мне казалось, ужасно каверзные вопросы, демонстрировала собственную осведомленность в проблеме — короче, «пушила перья», вела себя непростительно глупо даже для девицы двадцати трех лет...

Федоров меня покорил. Ибо это был человек верующий. Верующий в правоту избранного пути, готовый идти вперед, несмотря ни на что, и жертвовать ради этого всем. Это был человек идеи. В общем, моим восторгам не было предела.

Материал, естественно, не получился.

То, что надо было спросить, я не спросила, то, что следовало увидеть, не увидела, зато эмоций — через край...

Анатолий Абрамович, когда я пришла к нему в кабинет показать, как и обещала, репортаж, спокойно усадил меня напротив, взял чистый лист бумаги, нарисовал глаз и начал объяснять, как он устроен, что такое роговица и где делаются насечки. Потом стал рассказывать о японском офтальмологе Сато, впервые попробовавшем хирургически лечить близорукость, об англичанине Гарольде Ридли, о противниках Федорова, мягко, тактично, давая мне понять, что и как следовало бы написать, дабы не навредить делу, а, напротив, помочь ему...

Могла ли я тогда даже подумать о том, что спустя несколько лет буду писать эти строчки (так страшно впасть в обычную для «воспоминателей» болезнь — «я рядом с великим»)? Что редакция поручит мне написать историю «дела Федорова»? Что, наконец, буду читать адресованные Аграновскому письма и его записные книжки, которые пишутся не для чужих глаз...

* * *

«Уважаемый товарищ Аграновский! Удивительный Вы человек. Энтузиаст, искатель, подвижник!»

«Много у нас хороших и талантливых журналистов, и честь им, и уважение, а вот такого, как Вы,— нет. Я все хочу определить для себя: в чем сила, в чем притягательность, неповторимость и непохожесть Вашего дарования?

И вот что у меня получается: правдивость, мужество, смелость, убедительность (ясная убедительность!) — это свойства Вашего характера, и они требуют от Вас такого же языка, таких же мыслей, такого же поведения. Вы не можете не писать, не изучив досконально дело, за которое беретесь, как бы ново и трудно оно ни было... Вот поэтому так любят Вас читатели, и ценят Вас, и восхищаются...».

«Я полюбил Вас, потому что поверил...»

«Ваши статьи читаю всегда, имя Ваше известно, но этот рассказ — замечательный. Редко, чрезвычайно редко газеты балуют нас такими мастерскими произведениями своих журналистов».

«Я внимательно слежу за Вашими выступлениями в печати, и уже только подпись «Анатолий Аграновский» вызывает у меня интерес и внимание... разочарования еще не было».

«Спасибо за человеческий подход к своей журналистской профессии...».

«Бросьте все остальное и пишите только такие статьи... Вы напишите книгу... Напишите так, чтобы эту книгу мог прочитать любой человек земного шара. Вы понимаете? Любой! Этому условию удовлетворяет только правда. Вот так и пишите».

Все эти письма — отклики на статьи об офтальмологе Федорове. Публикаций было четыре: «Открытие доктора Федорова», «Десять лет спустя», «Два плана доброты», «Отписка». Главная, думаю, первая — в ней была заложена основа последующих выступлений.

В 1960 году в редакцию «Известий» пришло письмо: «Уважаемый товарищ Редактор! Вынужден обратиться к прессе, несмотря на то что она частично повинна в моих злоключениях. Дело в следующем. Я офтальмолог, руковожу отделением в филиале НИИ глазных болезней в г. Чебоксарах. Два года назад...».

Два года назад Святослав Николаевич Федоров — он и был автором этого письма — начал работу по замене мутного хрусталика искусственным. Во что это вылилось потом, в своем первом очерке рассказал Аграновский:

«Там (в Чебоксарах.— *Е. А.*) он и сделал редкую операцию, с которой начались все его беды... Сама-то операция прошла успешно. Как-никак Федоров больше года готовился к ней, ставил опыты на кроликах, искал дельных масте-

ров, и один из них, слесарь-лекальщик, помог изготовить хрусталик из пластмассы. И вот двенадцатилетняя Лена Петрова, которая из-за врожденной катаракты с двух лет не видела правым глазом, стала этим глазом видеть — успех!

А потом появился очерк в местной газете: врач-новатор, слесарь-умелец, девочка из чувашской деревни — все было преподано в наилучшем виде. А потом появилась перепечатка в одной из центральных газет, где врача-новатора назвали по ошибке директором филиала, чем навеки сделали его врагом действительного директора...»

Добавлю: это была не единственная ошибка в заметке, опубликованной уважаемой газетой. В шестидесяти трех ее строках их было еще как минимум пять: автор проявил редкую медицинскую безграмотность, перепутав хрусталик со зрачком, который, являясь отверстием в радужной оболочке глаза, естественно не мог быть ни «вынут», ни «заменен», не мог и «потускнеть». «Все эти глаголы должны были быть отнесены к хрусталику»,— резонно и, кстати, весьма деликатно сообщил той газете Федоров.

Для Аграновского эти промахи — детали. Важно другое: «Беда,— не скрывая иронии, продолжал Анатолий Абрамович,— если про вас напишут в печати! Худо, если раскритикуют,— это каждому ясно. Но вы покаетесь, и вас простят. А вот если похвалят вас, о, тут найдутся люди, которые никогда вам этого не простят. Короче, Федорова в Чебоксарах тривиально съели...»

Всю эту историю доктор Федоров и изложил в своем первом письме. В конце приписал: «Я с большим удовольствием читаю в вашей газете корреспонденции Аграновского, и это, пожалуй, одна из причин, побудивших написать вам это письмо».

Совсем скоро пришло второе. Адресованное уже непосредственно специальному корреспонденту Анатолию Аграновскому: как раз в то время «Известия» опубликовали серию очерков «Письма из Казанского университета».

Федоров прочитал:

«И... уж воистину страшна самодовольная посредственность, когда займет в науке хоть какой-то пост. Рядом с талантом ей делать нечего, талант ей страшен. И, узрев в толпе студентов мальчишку, который думает, ищет, мечтает, она, посредственность, все силы положит на то, чтобы предерзкого остановить:

Нет! Не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить,— не то мы все погибли.

Впрочем, нынешние Сальери Моцартов не отравляют. Они их травят...»

Доктор из Чебоксар был удивлен тем, насколько журналист знает болевые точки научной работы, понимает те, подчас малопривлекательные, механизмы, которые ею движут, вскрывает причины и видит следствия. Но потрясло его даже не это,— то, что, говоря о Казанском университете, о биологах, физиках, филологах — о конкретных людях в конкретных обстоятельствах,— корреспондент угадал и его, Федорова, беду, и его трудности, его головную боль, его бессонные ночи с нерешаемым вопросом: как быть?..

«Не вдаваясь в существо научной дискуссии, которую затеяли эти ребята (три талантливых выпускника биофака.— *Е. А.*), скажу о том, что поразило меня: их ругали как раз за то, за что хвалят студентов-физиков. Оказывается, они слишком много читали «посторонней» научной литературы, советской и зарубежной. Оказывается, они более всего интересовались вопросами сложными, спорными, наукой не решенными. И последний тяжкий грех: по всем вопросам они старались выработать свое суждение. Словом, как сказала главная их гонительница, ассистент без степени:

— Люди они вообще-то способные. Но какие-то нескромные. Много думали о себе. Спорят все, шумят... Из таких, знаете, которые много на себя берут».

Доктора Федорова обвиняли в саморекламе, в нескромности, в стремлении избрать свой путь в офтальмологии, в попытках делать то, что в самой (самой!) столице не получалось. Одним словом, выскочка. Одним словом, шумит...

Понятно, не написать письмо Аграновскому он просто не мог. Журналист ему ответил. Пригласил, если будет в Москве, зайти.

Так доктор Федоров впервые появился в квартире Аграновских на Кузнецком мосту. (В Чебоксарах дело тогда приняло уже серьезный оборот: «неуемного» хирурга вынудили подать заявление об уходе из института.)

Офтальмологу было 33 года. Специальному корреспон-

денту «Известий» —38. Жизнь уже не казалась бесконечностью, однако и конца не видать...

До публикации очерка «Открытие доктора Федорова» оставалось пять лет.

— Ну как? — спросила Анатолия Абрамовича жена, когда гость ушел.

— Интеллигент... Нахал...

— Почему же интеллигент?

— Мыслит так.

— И — нахал?

— Нахал. Но на таких мир держится. Когда их не ста нет — цивилизация умрет.

— Ну а что... этот его хрусталик? Серьезно или...

— А черт его знает! — ответил Аграновский.

Федоров ему понравился.

Понравился своим оптимизмом. Своей энергией и увлеченностью. Независимостью и прямотой суждений — «гордостью мысли», как говорил Лев Толстой. Понравился тем, что очень верил в свою правоту и не отступал, что все время стремился вперед. «...Чем больше я думаю, тем больше понимаю, сколько еще нужно сделать,— напишет ему Федоров потом в одном из писем.— Появляются новые интересные вопросы, их надо проверять и внедрять в практику. Возникает такое ощущение, что шар земной растет, но чем больше он становится, тем больше у него точек соприкосновения с неизвестным. Это сказал, кажется Спенсер. Умница был».

Понравился, ибо не боялся авторитетов и не сгибался перед вероятностью последствий.

«Это был молодой человек, широкоплечий, энергичный, безупречно одетый, и сразу видно, умница,— прочитаем мы потом в очерке.— Лицо его выражало волю и спокойную самоуверенность. У него были крепкие скулы, короткий, чуть вздернутый нос, широкие насмешливые губы, упрямый ежик на голове. Еще мне с первой встречи запомнилась его манера, слушая и отвечая, смотреть собеседнику прямо в глаза».

Понравился, наконец, тем, что думал о жизни, а не плыл по течению: «Ночью думается лучше. Проснешься и думаешь: а что ты делаешь? А куда ты идешь? Зачем живешь на земле?.. Так я задумался однажды -- я же на месте стою!» — записал Аграновский слова Федорова

в своем блокноте. И подчеркнул потом в плане-конспекте очерка: «Размышления интеллигента...»

И все же почему Аграновский заинтересовался им? Обаяние личности героя для журналиста, конечно, аргумент не последний, немаловажный и для Анатолия Абрамовича (в записной книжке в связи с другим очерком, «Аскания-Нова», нашла: «Чуть ли не впервые я в людей не влюбился...»), но в данном случае это ничего не объясняет — добавочный, но не причинный факт, не повод для статьи. Аграновский обычных, положительно-портретных очерков не писал. Или почти не писал. Тогда почему?

Дельного, на первый взгляд, человека съедают? Да, плохо, да, надо помочь, но не обязательно, совсем не обязательно через газету. Направить письмо, позвонить в инстанции...

Столкновение двух, прямо противоположных научных позиций? Острый сюжет? Да, кажется, острый, и к таковым Аграновский тяготел.

Но может и должен ли журналист встревать в научную дискуссию? Вряд ли. Так считал, да и писал об этом Аграновский: «Заметьте, не о законах науки говорим мы здесь, а о законах делания науки, об этом мы и вправе судить»[1]. Значит, тоже не тема, тоже не повод для выступления... Нет, одно, конечно, журналиста возмутило: безапелляционность оппонентов офтальмолога. Вы считаете, Федоров не прав? Хорошо. Но дайте проверить результаты, дайте виварий, дайте кроликов — дайте возможность работать!

Провинциальность мысли? Никто не пророк в своем отечестве? Вот это уже поворот темы. Аграновского волновала она давно, и он отчасти касался этой темы в очерке «Лукояновский задор»: «В сущности, главный признак провинции — застой мысли, нежелание думать. Никто не пророк в своем отечестве — вот исконно провинциальный, пошлый взгляд». «Провинциальность мышления: с одной стороны, оглядка на заграницу, с другой — пренебрежение ее опытом,— напишет журналист в плане-конспекте к статье о Федорове.— Странным образом это совпадает». И приведет слова Тургенева: «...Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях... Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идет,— ему все равно».

---

[1] «Наука на веру ничего не принимает», 1965.

И снова вопрос: а пророк ли Федоров? А что, если... обаятельный проходимец?

Впрочем, это-то Аграновский, с его знаниями и опытом, разглядел бы сразу, с первой встречи — второй бы просто не было. Кроме того, он чувствовал в Федорове характер — характер, способный, решившийся идти до конца, до диleммы: «либо пан, либо пропал». Забегая вперед, скажу: трудно предположить, как бы сложилась судьба офтальмолога, не вмешайся в нее вовремя публицист. Сломали бы? Вряд ли. Но то, что от новых операций отстранили бы, запретили бы их на годы,— боюсь, что да...

Наконец, было еще одно, быть может, самое важное обстоятельство, почему Аграновский решил — нет, еще не писать — внимательно разобраться в деле Федорова. В чебоксарском подвижнике он увидел и н т е л л и г е н т а. А через героя — проблему новую, впрямую, со всеми точками над «i», еще не ставившуюся в советской публицистике (ведь начало шестидесятых!) — проблему интеллигентности не как определения социальной группы, но как качества нравственного порядка. Качество хорошее (вспомните: «Нечего тут интеллигентность разводить», вспомните презрительное, ныне, к счастью, редкое: «Ну ты, интеллигент...»), важное для оценки личности, необходимейшее для общества, выдвигающего перед собой высокие нравственные задачи.

Это отвечало и гражданской позиции публициста, и его человеческим взглядам.

Не случайно именно со слова «интеллигенция» Аграновский вводит нас в очерк:

«Интеллигенция — слово русское. Было время, когда переводчики Чехова на английский, немецкий, французский испытывали затруднения с этим словом. Само собой имелись в тех языках «интеллектуалы», «люди умственного труда», «копфарбайтеры», но понятия эти не были обременены морально-этическим и общественным смыслом. Это в России интеллигенты шли в народ, потом — вместе с народом, потом начали выходить из народа, вырастать из гущи народной. Это по-русски интеллигентность давно уже перестала быть одной образованностью. Потому-то у нас и возможны словосочетания, в других языках противоестественные: «интеллигентный рабочий» или «малоинтеллигентный писатель».

Итак, ситуация с доктором Федоровым позволяла журналисту поднять проблему до уровня типической, увидеть

за конкретным фактом — явление, за частными выводами — обобщения, вскрыть на примере одной конфликтной ситуации сложный пласт внутриобщественных отношений и наметить путь к их разрешению.

Читатели писали ему: «...Сам начинаешь думать о том же, идти с Вами по следу, который Вы прокладываете...»[1]

Мы бесконечно любим все раскладывать по своим кассам и полочкам. Писатель, пишущий о деревне,— «деревенщик», о городе — автор городского романа, о море — маринист. Есть еще популяризаторы, фантасты, анималисты и те, о ком говорят: «Он глубоко разработал тему войны»...

Наверное, на неком среднем уровне работы подобное деление справедливо. Особенно в газетном деле, потребности которого чаще всего обусловлены фактом и нет, скажем так, времени подняться над ним.

Но скажите, так ли уж важно, где человеку плохо (или, напротив, хорошо) — в городе или деревне? Где он мучается, страдает, любит или ненавидит — в море, тропическом лесу или на другой планете? Где совершается подлость и попирается человеческое достоинство — в сфере медицины, на стройплощадке или в столичном вузе? Мне представляется ответ однозначным: все это лишь фон, прилагаемые обстоятельства, позволяющие сказать главное. Главное же, по моему глубокому убеждению, укладывается в столь же простую, сколь, конечно, и неисчерпаемую дилемму: нравственности и безнравственности. Удается ли ее поднять и донести до читателя — вот это уже вопрос мастерства.

Возможно, я ломлюсь в открытые двери. Однако делаю это сознательно — по той причине, что не раз слышала и читала: «Аграновский много писал об экономике», «Аграновский занимался вопросами медицины», «Аграновский немало думал о проблемах высшей школы». Да, все так. Только писал, занимался и думал он о другом — о том, что безнравственно, когда человек занимает не свое место («Письмо из главка», «Частные судьбы и общие выводы», «Сокращение аппарата»), безнравственно, когда за бумажкой кандидата наук скрывается проходимец, а человек без оной вроде бы и не совсем то («Вашу руку, Иван Иванович!»), безнравственно, когда подлость остается ненаказуемой («Вишневый сад»), а стремление унизить

---

[1] Из письма режиссера Козинцева.

человека выдается за общественную активность («Честь семьи»). Наконец, безнравственно лечить плохо, когда можно лечить хорошо («Курбака и другие», «Десять лет спустя», «Два плана и обороты»), безнравственно губить талант только потому, что он не укладывается в определенные рамки и мыслит не так, как авторитеты («Открытие доктора Федорова»)... Перечислять можно долго — проще посмотреть оглавление его книг либо же перелистать газетные подшивки. Важно другое: о чем бы Аграновский ни писал, какой бы материал ни исследовал, какого бы героя ни защищал — он всегда оставался публицистом одной темы. Точнее даже так — одной идеи и цели. Цель — взрывать общепринятый, но далеко не наилучший порядок вещей. Идея — восходящая к традициям русской классической литературы: поступать дурно нельзя не потому, что это кем-то или чем-то будет наказуемо, а потому, что в самом имяреке должен жить и властвовать нравственный закон (ведь именно его открыл для себя, в себе и в окружающих доктор Федоров) — закон, преступить который нельзя, ибо каждое его нарушение неизбежно ведет к разрушению личности, а та, в свою очередь, начинает отравлять атмосферу общую. Несет безнравственность.

Вот чему учил и учит нас Аграновский.

Вот почему его очерки всегда читаются так, как будто написаны сегодня. Собранные же под единой обложкой, они дополняют друг друга и все вместе создают — нет, даже не «картины русской жизни» — показывают движение, противоречия, искания общественной мысли.

Однако совершенно очевидно, что подобные задачи не решаются одномоментно. Что всякие идеи, не подкрепленные фактами, переходят в ранг демагогии и пустого сотрясения воздуха. Что столь высокие темы, для того чтобы они оставались таковыми и вместе с тем были понятны и приняты, должны упираться в «конкретную землю». Более того — основываться на злобе дня.

Сам Аграновский писал об этом в письме одному начинающему журналисту: «О Вашей теме (тема врачебной этики.— *Е. А.*). Полагаю, что писать об этом можно. Обо всем можно. Во всяком случае, я не раз убеждался, что критические очерки и статьи на темы не менее острые, которые писал я, публиковались и делали свое полезное дело. Но газета требует конкретики. Путь газетчика — от частного к общему. Чаще всего — так. Не люблю утверждений (и позитивных и, равно, негативных), что-де

«всюду так», «все сплошь такие», «сверху донизу» и т. д. и т. п. Помимо прочего, такого рода обобщения бывают чаще всего ложными. Практически Вам надо из многочисленных примеров, которые стоят у Вас перед глазами, выбрать один или два. Но уж «раскопать» их до тонкостей. Я бы лично пошел этим путем. Тогда Вы получите факты, даты, цифры, имена. Тогда можно писать. Обобщение (если факт, взятый Вами не уникален) выйдет само собой. Если вы помните некоторые мои вещи, то могли бы заметить, что, описывая завод, главк, институт или судебное дело, я никогда (почти никогда) не пишу: «и так повсюду». Прежде всего потому не пишу, что изучить, как «повсюду», возможности нет у меня. И тем не менее читатели всегда находят в наших писаниях типичное. Сами находят, находят безошибочно. Я не теоретик, но убедился давно в следующем: чем точнее, чем с большим проникновением в детали, чем с большей характерностью *описано данное конкретное дело,* тем сильнее будет выявлено типическое для всех людей и мест»[1].

Аграновский умел еще и предвосхищать, предвидеть злобу дня. Но об этом нужно писать отдельную книгу.

И уж конечно совсем не случайно работу над очерком «Открытие доктора Федорова» Анатолий Абрамович начал в первой половине 60-х годов. Именно тогда тема ценности каждой человеческой личности звучала особенно остро. Именно тогда было сказано — незаменимые есть, индивидуальность нельзя губить, таланты — разные и всякие — нужны обществу.

«Это вранье, что Федоровых много. Это дурная формула, что «незаменимых нет»,— записал Аграновский в конспекте очерка.— Каждый из нас в чем-то незаменим. Бесчеловечна формула, когда о людях говорят, как о шестеренках».

Подобные утверждения далеко не всегда встречали понимание и поддержку. Аграновский был одним из первых, кто заговорил об этом с газетной полосы.

Именно в злоключениях доктора Федорова удивительным образом сошлись и, как под увеличительным стеклом, укрупнились, обозначились проблемы, которых Аграновский — когда мягко, почти незаметно, когда резче, острее — касался и раньше. Вот только несколько примеров.

---

[1] Из письма В. В. Татаринцеву.

«Были просты, радушны, по-настоящему интеллигентны. Все время оставались самими собой, а это ведь всего трудней» — это о семье космонавта Титова в классическом, если не лучшем очерке «Как я был первым» (1962 г.).

А это — уже в «Открытии доктора Федорова»:

«Не надо думать, что интеллигентность выдается человеку вместе с дипломом, раз и навсегда. Что ее, как университетский значок, можно нацепить на себя, а можно при случае и снять. Нет, понятие это помимо общей культуры, помимо тонкости душевной включает в себя и высокое сознание, и общественную активность — качества, которые человек подтверждает всю жизнь и всей своей жизнью».

Видите, как проблема пошла на новый, более высокий виток.

В очерке «Вашу руку, Иван Иванович!» (1961) Аграновский намечает портрет «Антифедорова»:

«Грустно говорить об этом, но разве мало у нас доцентов, весь научный багаж которых в одной лишь диссертации и заключен. Высидев ее, худосочную, никому решительно не нужную, они тут же забывают о науке и... до конца своих дней носят титул ученого. Степень есть, а за ней — пустота»... И дальше: «Чтобы бороться, по-настоящему бороться с этими деятелями, приносящими науке гигантский вред, нужно поднимать людей подобно Назарову. Да-да, именно так!»

Теперь сравните:

«Мой герой давно уже не был изобретателем-одиночкой,— пишет Анатолий Абрамович о Федорове.— Но каждый шаг давался ему таким тяжким трудом, таким неимоверным напряжением, что, оглядывая этот путь, я поражаюсь сегодня, как он мог пройти его до конца».

Еще одна проблема — долга и человека, подвижничества и энтузиазма.

«Законы нашей жизни таковы, что энтузиасты всегда выходят победителями. Рано или поздно всегда это кончается так. Лучше, чтобы это было рано» («Встречи с примитивным меркантилистом», 1964).

«Вновь подтвердилось, что настойчивость энтузиастов, их убежденность и, главное, труд, беззаветный труд, неизменно приносят плоды. И этого движения вперед не остановить равнодушным. А задержать они могут...» («Иван, Гаврило и Данило», 1964).

«Мало иметь свои принципы, даже если они очень хоро-

ши,— надо доводить их до дела...» («Лукояновский задор», 1963).

«...людям должно быть хорошо, когда они исполняют свой долг. Это нужно государству, это, если на то пошло, выгодно обществу».

А потом и в последнем аккорде «Открытия доктора Федорова»:

«...он сумел обратить на пользу своей науке действенную силу нашей новой морали, понял, что можно прийти к любому человеку и, если благодарна цель и полезна отечеству, человек обязательно поможет. (А ведь это и о самом Аграновском сказано.— *Е. А.*) Доктор Федоров открыл для себя наш образ жизни, открыл советский характер. И потому победил. Спасибо ему за это».

Наконец еще одна проблема, кторая неизменно волновала публициста: узость, нищета — провинциальность взгляда, неумение и нежелание принимать другую точку зрения. Плюс авторитет академического звания и власть положения. Все вместе — проблема монополизма в науке.

«Они верят и потому не проверяют,— писал Аграновскй в очерке «Наука на веру ничего не принимает» (1965). Они подтверждают и потом не исследуют. Они наперед знают, и потому наука для них проста: прежде чем решать задачу, загляни в ответ на последней странице...»

«Беда в том,— вновь повторяет он в статье о докторе Федорове,— что мнение критика в данном случае целиком разделял председатель Всесоюзного офтальмологического общества. На той же позиции стоял главный окулист Министерства здравоохранения СССР. Полностью был согласен председатель проблемной комиссии по офтальмологии Академии медицинских наук СССР. А говоря попросту, на всех этих ответственных постах пребывал один и тот же человек — уважаемый профессор, статью которого я цити ровал,— с самого начала он был против работ доктора Федорова».

Эта проблема неразрывно связана с проблемой ценности человеческой личности. Ибо пока существует первая, всегда, как следствие, будет существовать и вторая. Потому Аграновский и подчеркнул — сделал их центральными в «Открытии доктора Федорова».

Но почему же в очерке об офтальмологе, на фактах, скажем так, куда менее масштабных, чем те, к которым раньше обращался публицист, так сошлись, сплелись раз-

ные повороты главной темы Аграновского? Почему сама эта тема — нравственности и безнравственности — выявилась здесь особенно ярко?

Предложу, как минимум, две причины. Первая — очерк о докторе Федорове, думаю, был этапным для Аграновского. Он не только долго над ним работал (пять лет!), но и долго шел к нему.

Вторая причина, на мой взгляд, более простая. Быть или не быть здоровым, видеть хорошо или видеть плохо — это касается каждого из нас. Каждого! И для каждого — вне рангов и возрастов, это — болевая точка. Именно медицинская проблематика, необычайно драматургичная уже сама по себе, позволила Анатолию Абрамовичу заострить все до предела. Сама фактура, с одной стороны, обнажила, с другой — не позволила не заметить, отмахнуться от тех проблем, которые ставил — и требовал решения журналист. Требовал — хотя понимал, сколь грозные у него оппоненты.

«...Нам, газетчикам,— учил Аграновский молодого коллегу в уже цитируемом письме,— приходится ковыряться в деталях, лезть вглубь (а не вширь), заниматься расследованием частностей. Это трудно, не всегда безопасно, но,в конце концов, мы сами выбираем свой путь. И всегда есть возможность писать гладко, проблем острых не трогать, тем сложных не поднимать. Вы это прекрасно знаете»

Ну а что же Федоров? Только герой, позволивший публицисту поразмышлять над проблемами добра и зла? Бесспорно, нет.

Вряд ли у кого поднимется рука обвинить Аграновского в равнодушии. Внешне — бесстрастный, даже меланхоличный; спокойный и деликатный на бумаге, он глубоко переживал боли и радость людей, о которых писал, которых — ценой нам до конца неведомой — защищал.

Не единой идеи ради садился он за письменный стол — ради конкретных людей, с их конкретными судьбами, милыми и дурными чертами характера создавал Аграновский свои статьи и очерки.

За Федорова он в прямом смысле слова бросился в бой. В бой не только за талант — за человека, который, отними у него дело, погибнет.

Были ли сомнения? Поначалу — конечно.

«Настораживает,— записал он в блокноте одно из первых своих впечатлений,— некая самоуверенность, довольство собой... Он все же доволен, что о нем написали в газе-

ту... И главное, действительно нет отдаленного результата»[1].

«Корифеи» — против него. С удивительным единодушием...— отметит журналист в плане-конспекте.— К этому нельзя было не прислушаться».

«— Скажи, он шарлатан?

— Ммм... Нет.

— Почему мнешься?

— Боюсь, что Слава Федоров карьерист. Знаешь, есть такие люди.

— Основания для выводов?

— Есть... Некоторые»,— приведет он в записной книжке свой разговор на Всесоюзной конференции изобретателей и новаторов в области офтальмологии с врачом-офтальмологом и соученицей по школе Е. О.

Как видите, вопросов возникало более чем достаточно. Впрочем, Анатолий Абрамович этого не страшился — знал и хорошо понимал, что ему предстоит писать о человеке с вопросами.

Прежде всего Аграновский идет к «корифеям» — к тем, кто выступал против работ Федорова. В записной книжке крупными буквами появляется надпись: «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ». Ниже — перечень фамилий, адресов, телефонов — профессора, академики, директора глазных институтов и клиник, заведующие офтальмологическими кафедрами вузов... Слушает, подробно записывает, расспрашивает о разных направлениях и проблемах их науки.

«Я увидел красивых людей, уважаемых людей, действительно заслуживающих уважения»,— сделает он первый вывод.

«Бывает так: один что ни сделает, все неловко, бестактно. Другой — что ни скажет, в самую точку, а если и мимо, все одно симпатично»[2],— сделает и второй вывод, узнав, что один из молодых корифеев тоже пробовал имплантировать искусственный хрусталик, и об этом тоже была — весьма рекламная — публикация в прессе.

«А о новых, новаторских методах — он «не очень»,— в следующий раз, после очередного разговора с авторитетом пометит в записной книжке. И потом в план-конспект очерка занесет: «Др. провинциальные открытия: *Куйбы-*

---

[1] А. А. Аграновский имеет в виду публикации 60-го года в «Советской Чувашии» и в «Правде», после которых и начались все беды С. Н. Федорова.

[2] Из записной книжки.

шев (Ерошевский) — лечение врожденной детской глаукомы; *Минск* (Бирич) — криоэкстрактор — вытаскивание хрусталика методом примораживания — первый в Союзе; *Киев* (Шевелев) — новые операции по отслойке сетчатки; *Донецк* (Гмыря) — пересадка переднего отрезка глаза...» Я сокращу эту запись — она вошла в очерк. А вот эта — не вошла: «Вестник офтальмологии» — судя по журналу, наука делается только в Москве».

И снова идет к оппонентам, слушает и конспектирует доклады на различных офтальмологических конференциях, присутствует на заседаниях в Министерстве здравоохранения и в Президиуме Всесоюзного офтальмологического общества.

Я спрашивала Святослава Николаевича Федорова, насколько хорошо разбирался Анатолий Абрамович в специальных вопросах его науки.

— Прекрасно. Мог разговаривать на равных с любым офтальмологом, и его нельзя было — а кое-кто пытался — провести. Наверное, учебники читал...

— Никогда и ни в какие учебники не заглядывал,— сказала мне жена Аграновского, Галина Федоровна.— Понимал, что это все равно дилетантизм. Но копал глубоко: переговорил со всеми крупнейшими московскими офтальмологами. Естественно, девяносто девять процентов из них были против Славы...

В очерке «Курбака и другие», тоже «медицинском», он написал: «Я обошел в эти дни все ведомства, отвечающие за нашу индустрию здоровья»... В статье о докторе Федорове такой фразы нет. Есть принцип. Ему следовал всегда. «Надо думать, советоваться с умными, знающими людьми, спорить, соглашаться, отстаивать свою позицию,— говорил Аграновский,— но не быть глухим к возражениям — в этом работа наша».

Размышляет: «Ну, конечно, Федоров карьерист. Хотел работать в институте Гельмгольца. Взял новую тему. Рвался в столицу... Какие у него основания? Кто он? Эти не бились, не рвались — им не надо было. Я не против потомственных окулистов (я сам «сын» — так в очерке и написать). Просто я учитываю, что моему Федорову труднее...»[1]

Пытается понять противников Федорова: «Вообразите себя, читатель, корифеем офтальмологии. Столичным, известным, крупным... За плечами у вас тысячи операций,

---

[1] Из записной книжки и плана-конспекта к очерку «Открытие...».

тысячи учеников, тысячи исцеленных, десятилетия труда... Что вы узнали: мальчишка, одна-единственная операция, нет отдаленных результатов, а шуму!»

И — не может их понять: «...Федорова не слушал, больных (с имплантированным хрусталиком.— *Е. А.*) не смотрел, а мнение почему-то составил твердое». (Помните? «...не о законах науки говорим мы здесь, а о законах делания науки, об этом мы и вправе судить».)

А от Федорова идут письма.

3.IX.61 г.

«У меня новость, которой спешу поделиться с Вами. Ученый совет Архангельского мединститута избрал меня по конкурсу заведующим кафедрой глазных болезней... *С чувством долгожданного освобождения подал заявление об уходе из филиала*[1]. Хожу и не чую ног под собой от радости. Очень хочется, наконец, по настоящему взяться за работу... Как движется Ваша работа над книгой о летчиках?.. Недавно получил письмо с врачебным заключением от своего последнего пациента с хрусталиком из Киева. Он художник по профессии. Пишет, что все хорошо. Занимается спортом, плавает, прыгает, но глаз не болит. Зрение у него сейчас 90 проц.! 10.XII.61 г.

...Ваша повесть[2] подхлестывает, будоражит и заставляет думать о том, что ты много времени тратишь на «раскачку», много спишь, что нет еще такой страстности в работе. *На днях прочитал в «Огоньке» о Петруччи и стало стыдно, что он на 3,5 часа спит меньше. Попробовал тоже спать поменьше, не 3,5 часа, как Петруччи, а 5,5 часа, но ничего не получается. Из-за писанины, чтения и просто суеты забросил свою 32-килограммовку. Это очень страшно, когда чувствуешь, что ты отстаешь, что ты не можешь сделать то, что раньше делал совершенно свободно. Хорошо, что замечаю это только в разделе спорта.* [*(Извините, коряво написал.)*] *Коротко о своих делах.* Город мне нравится, условия для работы тоже есть. Есть и трудности. Но думаю, что сумею их преодолеть. Трудно с виварием, которого нет, трудно с отпуском средств на изготовление инструментов для хрусталиков. *Но есть коллектив, который можно направить на одну цель, есть больше возможностей для борьбы, есть самостоятельность.* На днях буду оперировать...»

---

[1] Здесь и далее в письмах подчеркнуто А. А. Аграновским.

[2] Повесть А. А. Аграновского «Открытые глаза».

2.II.64.

«...больные чувствуют себя отлично, хотя прошло уже после операции первых больных около 4-х лет. (Вот они — отдаленные результаты! — *Е. А.*) Трое из пяти видят от 80 до 100 проц. ...Убивает, Анатолий Абрамович, темп работы. Ведь то, что сделано за 1—1,5 года... *Но царапаться буду. Сдаваться не собираюсь. Верю, что настанет время, когда одно удаление хрусталика без замены его искусственным будет считаться малоквалифицированным вмешательством. Извините, что уморил Вас офтальмологическими проблемами...»*

7.V.64.

«...Особое зло берет, когда читаешь иностранные журналы. Плетемся мы в хвосте, повторяем десятилетней давности работы. Хочется тоже размахнуться, а оборудования нет, денег нет, помещения, кадров... Ну, хватит ныть... Жму руку. Ваш Федоров».

Аграновский с карандашом в руке читает письма: подчеркивает факты или чем-то приглянувшиеся фразы. Выписывает в записную книжку:

«За Федорова: сильный человек. Когда они были на конференции в Красноярске, было устроено восхождение на знаменитые Столбы. И Федоров полез со всеми и добрался до самого верха. И, главное, вниз 7 километров бежал — идти ему было до невозможности трудно. Вниз — труднее... Характер!»

(Спустя одиннадцать (!) лет, в блокноте, помеченном 1975 годом, Анатолий Абрамович повторит — по сути — то же самое: «Два двухпудовика. Стойка на одной руке... Немного мальчишки в нем, Федорове, до сего дня! Характер!..»)

Проверяет себя: берет командировку в Киев — беседует с украинскими офтальмологами («встретились хорошо»), в Ленинград — знакомится с учеными института высокомолекулярных соединений, где синтезировали для Федорова гидрофильную пластмассу (понадобилось 118 опытов), и Оптического института им. Вавилова, где физики сконструировали специальные приборы и замерили, по просьбе того же Федорова, механические характеристики глаза; в Минск — разговаривает с тамошними окулистами; снова в Ленинград — разыскивает умельца, сделавшего пресс-формы для выделки хрусталиков...

Беседует, слушает, записывает, знакомится... Одни предпочитают о Федорове ничего не говорить, другие

осторожно с ним соглашаются, третьи — ярые сторонники, четвертые — они более остальных интересуют журналиста — стремятся ему помочь.

«Почему,— спрашивает Аграновский,— эти люди, очень занятые, взялись Федорову помогать?»

«Просто он заинтересовался. Обаятельный человек, «все влюблены»; «тяга к живому делу»; «умеет объяснять — точно, четко, знает, что делает, и результат у него есть»,— приводит в записной книжке (которая, кстати, начинается с цитат из «Дон Кихота») Анатолий Абрамович их ответы — и дает свой:

«Трудно представить себе шведского металлиста, или английского инженера, или американского химика, который бы в свое свободное время, без всяческого вознаграждения, «за так» — сидел ночами, помогая кому-то. Это — свойство советского человека»[1]. «А слава? — вспоминает он упреки столичных собеседников.— Что ж, это желанье не плохое. Это ведь то же желание похвалы людей, а значит, желание сделать для них что-то хорошее»[2]. Пусть человек работает для всех, для общества и, вместе, для себя — это правильно»[3].

Возвращается в Москву. Составляет письма-анкеты больным, которым Федоров сделал свою новаторскую операцию. Получает двадцать — пронзительнейших — ответов («Вижу себя,и все. Вижу и радуюсь. Порадуйтесь и Вы со мной...») — лишь мизерная часть из них приведена в очерке; встречается с некоторыми из этих страдальцев, исписывает страницу за страницей — иные абзацы целиком войдут потом в статью.

Обдумывает тезисы статьи. Внимательно читает статью врача Юрия Крелина «Смотрю с высоты земли» в «Комсомольской правде», подчеркивает фразы: «Хирург должен стоять прямо». «Согбенный быстро устает». «...растут равнодушными врачами... Самый страшный порок...» Не без удовольствия записывает в блокнот (помечая: «Вот так не проста жизнь») слова все той же Е. О.: «...Вообще он *сильный* человек. Очень сильный!.. А те, которые не хотят прославить свое имя, смирившиеся — они многого не добьются... Ничего не добьются...»

Спорит с ней:

«Все, что увидит или услышит, спешит «прибрать к ру-

---

[1] Из плана-конспекта к очерку «Открытия доктора Федорова».
[2] Там же.
[3] Из записной книжки.

кам»,— сказала Е. О.— Прав. Надо брать. Все новое, что есть,— надо брать». И окончательно доспорит этот спор в очерке «Десять лет спустя»: «Заимствовать — не стыдно. Стыдно — отставать».

Подводит итог: «Словом, оба коренных опасения меня не смущают. О Федорове можно и нужно писать...»

И опять не торопится. Опять отправляет письма в Архангельск, подробно выспрашивает Федорова о его коллегах и помощниках, об операциях, в том числе и неудачных — о новых идеях, о нем самом, хотя, казалось бы, за эти годы узнал о докторе все — и хорошее, и плохое; советует не торопиться и быть более дипломатичным... Удивительная вещь: разница в возрасте между ними составляла всего пять лет — сущий пустяк в зрелые годы. Тем не менее Аграновский относился к Федорову как к младшему брату. И тот безоговорочно принял этот стиль.

«Вы правы, и я прекрасно понимаю,— писал Святослав Николаевич,— что излишний риск опасен. Но совсем не рисковать значит стоять на месте... Конечно, очертя голову я не собираюсь резать...» «Прошу совета, Анатолий Абрамович: стоит ли писать... по поводу примечаний «Вестника офтальмологии». «Не нашел Ваших указаний в связи с моим походом в Минздрав...» «Сегодня получил приглашение на заседание Президиума правления Всероссийского общества офтальмологов с отчетом по диссертации... Будет жарко, но интересно... Было бы очень хорошо, если бы Вы смогли быть на Президиуме — как ангел-хранитель»...

Аграновскй идет, присутствует, защищает. И ждет новых писем, новой информации от Федорова...

27.III.64.

«*...10 дней тому назад сделали 3 операции больным с тяжелыми, почти безнадежными отслойками сетчатки...* Сейчас объясню Вам, что это за операции...»

7.IV.64 г.

«Есть хорошие новости. Во-первых, больной живет с новым хрусталиком уже 15 дней и сегодня превысил свою «проектную мощность». До операции видел 2 проц., сегодня же он показал зрение, равное 0,7... В четверг впервые будем оперировать катаракту и одновременно вводить в глаз искусственный хрусталик. Раньше мы всегда делали операцию в два этапа... *Получили от Лебедева Н. В. из Петергофа замечательный по точности инструмент. Работа по 17 классу чистоты!..* В Архангельске уже весна...»

27.VIII.64 г.

«Одолевают письма. Принесли их мне по приезде штук 500, а сейчас ежедневно приходит 30—40 в день... Подскажите, дорогой Анатолий Абрамович, что делать. *Письма-то от живых людей. Есть даже телеграммы. Ведь ждут люди, надеются. А отвечать сейчас не смогу даже по той причине, что еще не 2 сентября* (день зарплаты.— *Е. А.*). *Ведь писем уже около 1500 накопилось...*»

13.XII.64 г.

«Время летит бешено. Так и жизнь пролетит. «Машина времени» необходима». Жму руку. Федоров».

Так день за днем, месяц за месяцем, год за годом отпадали многие трудные вопросы. Встреча с Федоровым на юге, где оба отдыхали в июле шестьдесят четвертого, поставила последнюю точку.

— Неужели я добьюсь возможности работать к тому возрасту, когда работать в полную силу уже не смогу? — горько скажет ему Святослав Николаевич.— Неужели идеи свои смогу воплотить тогда, когда они устареют, а новых не будет у меня?..

«Что удивительно? *Новатор не наступает,* как должно бы быть. Он обороняется... Макаренко всю жизнь оборонялся. Циолковский до старости отражал атаки... Создают новое, торят новые пути и — отражают атаки. Наседают другие — почему?» — поддержит его Аграновский и заключит на последней странице своей записной книжки:

«Федоров нравится мне, и даже своим «отрицательным» нравится... Надо писать».

Начиналось самое трудное.

Первоначально Анатолий Абрамович собирался делать две статьи. Первую — под заголовком «Где начинается провинция». Вторую — «Открытие доктора Федорова». Составил подробнейшие планы-конспекты. Потом сказал жене: «О Федорове нельзя размышлять на бумаге долго: он сам такой мускулистый, что писать о нем надо энергично, не размазывая».

От чего отказался? От фактов чрезвычайно выигрышных, ярких и интересных, но, как я сейчас понимаю, во-первых уязвимых в той борьбе, которую Аграновский вел (он никогда не писал «мы», только «я» — брал ответственность на себя), и, главное, в тех сражениях, которые неизбежно должны были последовать — и последовали после публикации очерка: тут не могло быть не только ни одной малодоказательной фразы — это-то понятно, но

и деталей, имеющих эмоциональное, но не строго документальное подтверждение; во-вторых, отказался от фактов, способных именно своей яркостью затмить идею, растворить ее в потоке подробностей.

Например, нигде в очерке вы не найдете личностных характеристик противников Федорова, да и оппонент-то называется по фамилии только один — главный «монополист». Хотя аргументов, которые могли бы, скажем так, испортить настроение (некоторые я привела выше), у журналиста было предостаточно. Но — суть не в личностях и не в настроениях, и Анатолий Абрамович безжалостно все это вычеркивает.

Аграновский никогда не бряцал оружием, не казался более грозным, чем он есть, не занимался крикливой, но часто бесплодной демогогией. Когда он сердит — он был мягко ироничен. Когда возмущен — фразы становились короче, рубленее. Когда терпение кончалось — был убийственно вежлив и конкретен. «Помилуйте, мы вас не рекламируем,— писал он в «Отписке»,— мы указываем ваши недостатки. Это все-таки разные вещи».

Не включил Аграновский в статью и свои сомнения, хотя в первоначальном плане они были. Не включил не потому, что опасался, что не сумеет снять трудные вопросы, как мы видели — сумел, но потому, что эта «кухня» уводила дискуссию в сторону от проблемы. Противники Федорова могли, не дочитав до конца, ухватиться за какую-то отдельную фразу (скажем, «Видите, и журналист пишет, что Федоров — карьерист»), и спор приобрел бы привкус коммунальной свары. Ведь бесполезно людям, которые не хотят слушать — а это как раз журналист доказывает в очерке,— объяснять, что на самом деле говорит автор.

Нет в газетной публикации (лишь одно) и совершенно замечательных писем Федорова[1], очень «играющих» на образ героя. Нет в первом очерке и рассказа о том, как и какие операции делал Федоров, о его новых идеях — судя по плану, Аграновский собирался об этом писать. Практически ничего не узнаем мы и о биографии Святослава Николаевича.

Представляю себе, как иной из нас расписал бы — а то и построил бы на этом весь очерк,— хотя бы тот факт, что у Федорова одна нога отнята ниже колена, а он тем не менее

---

[1] Малая их часть вошла в книжный вариант очерка: Аграновский А. Столкновение. Политиздат, 1966.

и плавал — первые места на Всесоюзных соревнованиях медиков занимал, и акробатикой увлекался, и на лыжах по вызовам бегал. У Аграновского об этом два коротких абзаца в конце статьи. Почему так? Думаю, потому, что иначе очерк бы стал излишне портретным и не соответствовал бы, видимо считал Анатолий Абрамович, главной своей идее — открытие людей и для людей. И еще потому, что журналист стремился сделать материал максимально плотным, насыщенным. (Понятно, это давалось огромным трудом: «Простите расхлябанность письма,— оправдывался он как-то перед своим адресатом,— у меня нет времени написать более сжато и четко»[1]). Впрочем, ни в одном своем очерке «отдыха голове» Аграновский читателю не давал — напротив, каждым абзацем, буквально каждой строкой заставлял мысль работать.

Затем и писал.

Короче, здесь Аграновский преподал урок, как ради главного, ради той большой цели, которую ставит перед собой журналист-газетчик (именно газетчик, потому что задачи журнальной или книжной публикации, понятно другие), приходится отказываться от красивых, может быть важных, но в данном случае — «малоработащих» фактов.

29 апреля 1965 года в очередном номере «Известий» читатели увидели очерк «Открытие доктора Федорова». Рисунок к нему — портрет офтальмолога — принадлежал руке автора статьи.

Резонанс был невероятный. Аграновскому писала вся страна. Министерство здравоохранения приняло решение организовать в Архангельске современную экспериментальную лабораторию, «приняло к сведению критику в отношении некоторой тенденции к монополизму в данной области науки», обязало журнал «Вестник офтальмологии» напечатать статьи доцента С. Федорова»[2].

Это была удача.

Спустя десять лет мы прочитали в новом очерке[3] публициста: «У нас теперь другая психология, другой подход,— сказала мне Егорова (сотрудница С. Н. Федорова.— *Е. А.*) В глазной хирургии нет сейчас монополии одного направ-

---

[1] Из письма В. В. Татаринцеву.

[2] Из официального ответа Минздрава СССР редакции «Известий» (Цитирую по кн.: «Столкновение», с. 125).

[3] Очерк А. Аграновского «Десять лет спустя».

ления или одного лица, а есть соревнование школ, что для науки благо»...

«Что еще? За десять лет Святослав Николаевич Федоров сделал вместе с сотрудниками тысячу семьсот таких операций. Стал профессором, стал доктором наук, приглашен был заведовать кафедрой в Москву, возглавил клинику, основал Лабораторию экспериментальной и клинической хирургии глаза Минздрава РСФСР».

А тогда, в апреле шестьдесят пятого, Федоров прислал Анатолию Абрамовичу письмо: «Вы бросили мощную бомбу. Спасибо за выручку!» Аграновский его охладил: «Борьба только начинается»...

* * *

«В жизни газетного писателя,— признавался Анатолий Абрамович Аграновский еще в «Письмах из главка»,— бывает так, что он и рад бы оставить тему, а она держит, не отпускает. Вроде бы ты все сказал, что умел, а жизнь возвращает к тому же».

«Рад бы оставить тему...» — возможно, в чьих-то иных устах эти слова звучали бы как кокетство. Ну рад бы, так оставляй. Большинство из нас так и делает. И тем сохраняет себя.

Аграновский не мог. Не «не хотел» — именно не мог.

Свойства характера, состояние души, склад ума не позволяли ему забыть то, о чем писал много лет назад, за что боролся тогда и что по разным причинам, так и осталось нерешенным.

Это очень трудно. Это не дает отдохнуть. Это мешает жить. И — укорачивает жизнь.

Он, конечно, об этом не думал.

«Разве не интересно,— спрашивал Аграновский себя и читателей в очерке «Десять лет спустя»,— (...) узнать, как развивались события дальше. Посмотреть, верно ли угадано будущее героев. Убедиться, что писано о них не зря. Или, напротив, зря. Такие эпилоги — как экзамен для автора».

Улыбается Аграновский, хотя вроде бы и серьезен. Подтрунивает над собой — так, не явно, вскользь. Дескать, что скрывать, читатель, приятно рассказать о своей удаче. Приятно. Все мы — люди, все из одного «ребра» сделаны...

А собственно, почему и не порадоваться? Ведь если твой герой выдержал «испытание на прочность» — вот он, главный «отдаленный результат», так, значит, и ты тоже...

Значит, ум твой был ясен, взгляд — точен, позиция — нравственна и верна.

Все эти годы, отделяющие первый очерк от второго, Аграновский пристально следил за своим героем, не только знал досконально его работы в клинике, но и стремился глубже разобраться в «нутре» Федорова. Как будто снова и снова проверял. Уже — себя.

Записывает в блокнот:

...«Вечерний звонок Славы: «Мы ломим, гнутся шведы!» Нетерпение. Каждодневные победы — ему это нужно. Торопится, преувеличивает. Но хуже другая крайность — нытье. Насколько легче быть скептиком!»[1]

Анализирует аргументы противников своего героя:

«N[2] действительно первым в стране сделал имплантацию хрусталика — за месяц до Федорова. Ни тот, ни другой этого не изобрели. N бросил это дело. А Федоров возился с мастерами в Чебоксарах, потом в Архангельске, бил в одну точку десять лет, нет, пятнадцать,— пробивал лбом стенку».

Вспоминает упреки Федорову в том, что тот «все гребет под себя», и приводит слова Святослава Николаевича:

«— Монополия нам не нужна. Мы хотим эти операции передать в широкую практику. Не всем врачам — это сегодня риск,— а крупным областным клиническим больницам. Мы же разгрузимся, снова сможем продвигаться вперед».

Укоряет себя:

«...надо возвращать себя к объективности... видеть обе стороны, не становиться «железно» на одну позицию. Федоров тоже не ангел, а у его недругов тоже есть какая-то правда».

И снова убеждается в том, что герой ему нравится:

«Федоровское «с позиции силы» (по отношению к начальству) мне при всех условиях симпатично...»

Почему же не радоваться?..

Все так. Но только, думаю, не один интерес — да что там, уверена: совсем не он заставил Аграновского вновь взяться за перо, вновь написать о докторе Федорове.

«Десять лет спустя», а вслед за ним и «Два плана добро-

---

[1] Эта и ниже цитаты из записной книжки № 76 А. А. Аграновского.

[2] Здесь, как и в других записях, назван конкретный человек. Но поскольку Аграновский нигде в своих публикациях фамилий не приводил, то и я не считаю себя вправе поступать иначе.

ты» и «Отписка» (очерки публиковались с интервалом в несколько месяцев: 21.IV, 23.VI и 7.X.75 года) — это еще один, новый срез — срезы — главной темы Аграновского.

Если в «Открытии доктора Федорова» публицист говорил — нужно повторить — о безнравственности монополизма в науке, о трагедии, которой может обернуться узость и нищета мысли, и лишь мельком касался другого — что безнравственно в жертву собственным амбициям приносить страдания людей — лечить плохо, когда можно лечить хорошо, то в последующих статьях он восстал именно против этого. «А в «Двух планах доброты» и в «Отписке» еще и доказал, что безнравственность — она разорительна. Разорительна не только для ума — подобные последствия видны не всем и не сразу,— разорительна, невыгодна и с точки зрения банального кошелька. Государственного кошелька.

«Сегодня за два дня принесли около 8 писем. Пишут уже возмущенные письма в ответ на наши отказы: «что же это вы не можете помочь. Неужели у вас нет матери?» — подчеркивает Анатолий Абрамович в письме Федорова, пришедшем спустя месяц после первого очерка о нем.

«Безнравственно не обеспечить больных своего города, своей страны операцией, средством, которые утолят их боль»,— прочитаем мы в очерке «Десять лет спустя».

«Один ученый медик, придя просить денег на оснащение клиники, взялся доказывать эффективность таких затрат. И прямо в кабинете сделал на листке расчет: сколько людей будет дополнительно вылечено, да какие пенсии пришлось бы им платить, да сколько материальных ценностей вырабатывают для государства.

— Какой завод даст вам такой доход?

Хозяин кабинета поморщился:

— Ну зачем же так, уважаемый профессор? Для нас не это важно, а здоровье человека. Нельзя переводить все на чистоган, главное — задачи гуманизма.

Денег, однако, не дал» — так начинается очерк «Два плана доброты».

«Что же тут — неспособность понять?» — задается Аграновский вопросом в «Отписке». И сам отвечает: «Мы лучшего мнения о тех, кто готовил этот ответ: все они прекрасно поняли. Тут горячее нежелание понять. (...) Тут уж одно из двух: либо люди не в силах защитить то, в чем убеждены, либо не имеют тех убеждений, которые высказывают открыто».

Аграновский имел убеждения, умел их защищать и всегда высказывался открыто.

Еще после публикации «Открытия доктора Федорова» некоторые, даже сторонники публициста, говорили ему: вопросы вы поднимаете верные, дело, за которое борется ваш Федоров, правое, да и герой сам неплох, нужен науке, нужен обществу. Но стоит ли говорить об этом со страниц многомиллионной газеты? Стоит ли читателя втягивать в специальную дискуссию? Стоит ли, наконец, ставить в неудобное положение и официальных лиц, и врачей, которые, да, нехорошо поступили с вашим подзащитным? Дескать, гласность — она, конечно, нужна, но — до определенного предела.

Последнее Анатолий Абрамович отметал всегда. Ибо не считал читателя глупее себя и верил, что он сумеет, прочитав статью, сделать из публикации разумные выводы. Значит, с гласностью — ясно.

А вот другое его волновало. Другое касалось журналистской этики — этики публикаций материалов по медицинской проблематике.

Читатель не виноват в том, что кто-то не пропускает или не распространяет прогрессивный метод лечения. Он хочет быть здоров. И потому, узнав в газете о новой операции, заваливает журналистов и врачей страстными письмами — помогите! А ему вынуждены отвечать, что данный способ лечения проходит клиническую апробацию, что, как писал, например, Федоров, «нет мест, очередь на 10 лет заполнена, можем записать на 17—18 лет вперед».

Журналистам, пишущим о науке, подобное хорошо знакомо, и стандартки этого рода они легко могут заготовить впрок. А вот «впрок» подумать, стоит ли писать хвалебную информацию об уникальной операции или о методе, который лишь разрабатывается, или о способе лечения, который еще не скоро будет доступен многим,— подумать об этом иные из нас либо не успевают (ведь газета: скорей, скорей!), либо не хотят, либо, что хуже, и не приходит в голову. Я подчеркиваю: говорю о «розовых» публикациях, ставящих не вопрос — почему и до каких пор **это** будет уникально, а, захлебываясь от восторга, рассказывающие, как одного или двух больных (а их десятки тысяч!) удалось спасти. По моему глубокому убеждению сие — безнравственно. Опыт — и мой в том числе — показал, что такие заметки делу не помогают, а, наоборот, сильно вредят. Хирурги сначала получают нагоняй за то, что дали

интервью, потом их замучивают комиссии, проверяющие, так ли все, как написано. Нередко оказывается, что не совсем так, что желаемое выдавалось за действительное, и метод — в лучшем случае — на время прикрывают, в худшем — запрещают вовсе. Журналист же, «заваривший кашу», как правило, об этом и не узнает: его «герои» бывают так напуганы последствиями, что предпочитают молчать. Понятно, что больным становится совсем худо...

А вот Аграновский обо всем этом думал, и это его волновало, как всякого большого человека и писателя, для которого чужая боль — не чужая.

«И снова я спрашиваю себя: надо ли писать о Федорове? Что смущает? Поток больных — первое. Не вызову ли новую волну неприязни к Федотову? Ну что ж, свидетельствую, он просил не писать о нем. Прошу считать это место моей статьи официальной справкой и присовокупить данный абзац к «личному его делу» в министерстве и ВАКе, которому в скором будущем предстоит утверждать докторскую Федорова... Но с другой стороны, промолчишь, не напишешь — не простишь себе больше...»

Это Анатолий Абрамович писал в своем плане-конспекте еще до публикации первого очерка о докторе Федорове.

А это — после: в письме одному из своих сторонников, который считал, что рассказывать в газете о новом в медицине не надо. Письмо я позволю себе привести почти полностью, ибо думаю, что оно одно может заменить, и с пользой, многие лекции по профессиональной этике, читаемые на факультетах журналистики различных университетов страны.

«Глубокоуважаемый товарищ Штеров! Со вниманием и благодарностью прочел Ваше письмо — доброжелательное, откровенное, вдумчивое... Что ж, во многом Вы правы. И доктор Федоров действительно завален письмами, которые мешают ему работать, и меня атакуют в редакции слепые, верящие в «чудо», и это тоже работе не помогает. Но буду столь же откровенен, я в какой-то мере предвидел это. Предвидел и все же решил о Федорове писать.

Вы правы, когда пишете об особом положении медицины. Я тоже немало думал об этом. Видел не раз, как рушились газетные «сенсации», как забывались «открытия», скажем, в области онкологии и т. д. и т. п. По этой самой причине я ни разу еще не писал о медицине. И о Федорове пять лет не решался писать, хотя «материал» был выиг-

рышный, и взвешивал эту работу со всех сторон, советовался с очень многими врачами, собирал мнения больных (я получил от тех, кого оперировал Федоров, около тридцати писем) и все-таки снова и снова откладывал очерк. Пока не убедился, что дело это не дутое, что отдаленные результаты хороши, что процент неудач не так уж страшен.

Вполне согласен с Вами в том отношении, что врачи должны узнать о новых открытиях не из массовых газет, а из специальных журналов,— это-то уж во всяком случае верно. Но что поделать, если об имплантации хрусталика можно сейчас читать на английском, польском, французском, испанском, на хинди, на японском, но только не на русском? (Не печатает этих статей «Вестник офтальмологии». Вот и недавно отвергли две статьи Федорова...) Почему они отвергнуты? Я не специалист, мне судить трудно. Знаю только, что монополизм ни одной науке пользы пока не принес.

Что же мне, журналисту, было делать? Умыть руки, отойти в сторону, не вмешиваться? Об экспериментах — нельзя писать. Так считаете Вы. Писать о внедренном, о том, что применяется во всех больницах,— не интересно и не нужно. Так считаю я. Вам ведь хорошо известны темпы внедрения медицинских новшеств, писать о «доступном всем» — значит, годах в десяти плестись от переднего края. И выходит, что о «тонкой штуке» медицине журналистам вообще не следует писать.

Думаю все же, что это было бы ошибкой. Печати нашей, напротив, больше надо выступать со статьями о медицине, чаще писать о медицинской промышленности, которая плохая у нас, активнее помогать медицинской науке, которая, увы, так еще консервативна. И писать надо именно для того, чтобы уменьшился разрыв между открытием и массовым его применением, между исследованием и внедрением...

Разумеется, газеты должны выступать агрументированно, грамотно, не выдавая желаемое за сущее, не «раздувая сенсаций» на пустом месте,— все это так. Но, как я понял, у Вас таких претензий к моему очерку нет[1].

Самый тонкий вопрос — «психология страждущего». Вы напрасно полагаете, что об этом я не думал. Думал, и немало. Конечно, больной всегда надеется на чудо. Это я знаю хорошо, испытал на себе... Но разве лучше сказать

[1] Подчеркнуто мною.— *Е. А.*

больному: «Успокойся. Ничего тебе не поможет. Оставь все надежды». Не знаю, что лучше. Во всяком случае, и тут однозначного ответа не дашь.

Врачам от этого хлопотно, и журналистам хлопотно, и министерству хлопотно,— что поделаешь, может быть, будет в конечном итоге польза. Так мне кажется.

Еще раз благодарю за письмо.

Я писал, по-видимому, излишне длинно и путано, но именно потому, что письмо Ваше задело меня, заставило о могом заново подумать.

Уважающий Вас Анатолий Аграновский».

Вот в чем все дело: Аграновский, обращаясь к медицинскому материалу, писал о проблемах этой столь не простой сферы нашей жизни, а не о том, как это интересно. Он не щекотал читателя — помогал ему. Хотя я и не совсем согласна с рассуждениями Анатолия Абрамовича о «психологии страждущего». Мне кажется, что в любом случае нельзя человеку протягивать прутик, зная, что ухватиться за него он все равно не сможет.

Мне могут возразить: все это, конечно, замечательно, но вы говорите, что Аграновский о своих убеждениях высказывался открыто, план-конспект и письмо — это же за газетной полосой.

Согласна, за. Но высказывался он и в газете.

«Работая в медицине пациентом — должность хотя и важная, но все-таки не главная,— я бы не взял на себя смелости выносить окончательно суждения». «Девиз «Не вреди», которому исстари следуют медики,— он и журналистам полезен. Но только невмешательство приносит нередко еще больший вред»[1] — это Анатолий Абрамович писал и для нас, журналистов.

А так отвечал своим — и официальным, и частным оппонентам:

«Разница в уровнях создает подпор: больные из сотен городов едут в Москву. Нормально ли это? Правильно ли? Знаю, что и после моей публикации прибавится количество писем в министерство, и будет определенное раздражение против автора, по милости которого надо теперь отвечать больным, что-де пусть они ждут, что есть очередь, да ведь она — живая, живые люди вынуждены ждать, и не туфель на платформах — зрения! Так что же, не писать, облегчить жизнь отвечающих?»

---

[1] Из очерка «Десять лет спустя».

Этот вопрос он поставил в очерке «Десять лет спустя». В «Отписке» — своей последней статье, написанной на медицинском материале, он уже не задает вопросов «отвечающим»,— показывает, как они пытаются облегчить себе жизнь, и требует *ответа* по существу. Ответ был.

Но прежде хочу оговориться: и «Два плана доброты» и «Отписка» — не первое обращение публициста к проблеме экономики медицины. Она волновала его и раньше. Еще в шестьдесят восьмом году был у него очерк о странном старике враче, вышедшем на пенсию, который считал, что «одного человека спасти — тоже много значит» и что «медицина требует помощи», а потому взялся снабжать различные больницы и клиники тем, чем должно было их обеспечивать Министерство медицинской промышленности. Очерк назывался «Курбака и другие». Этот очерк — связующее звено между «Открытием доктора Федорова» и статьями Аграновского по этой проблеме семидесятых годов. С одной стороны, Курбака — из ряда тех энтузиастов, которых открыл для себя доктор Федоров, с другой — журналист здесь впервые утверждает: «Надо покончить с заблуждением, что миллиардные расходы на медицину есть безвозвратное вложение средств». Пока только утверждает.

В «Двух планах доброты» он на примере так называемого «мобильного стационара», созданного академиком Н. А. Лопаткиным в урологической клинике 1-й Градской больницы, и опыте все того же профессора С. Н. Федорова уже доказал всю абсурдность и порядочность подобного взгляда на медицину.

Доказал и другое: при соответствующей постановке дел можно, а главное, должно лечить эффективно не только с точки зрения здоровья, но и с точки зрения экономики.

«Стало быть, гуманность, доброта, сострадание — это все осталось в силе. Но при новой организации дела они излечивали уже на тридцать процентов больше людей, то есть добивались ста тридцати процентов гуманности». Экономя, подчеркивает Аграновский, не на больном, а для больного.

Доказал и третье: серьезный ущерб государству — и моральный и материальный — приносят те чиновники, которые за цифрами — в данном случае «койко-местами» и «койко-днями» — не научились видеть живых людей; и наоборот, прибыль стране — опять же и моральную и материальную — приносят эти живые люди — энтузиасты

(и одиночки, как Курбака, и окруженные уже единомышленниками, как Лопаткин и Федоров), которым надо не только не мешать, а хорошо бы еще и помочь. И морально, и материально.

Удивительная вещь! Курбака и иже с ним, по словам журналиста, если и не полностью, то хотя бы частично, подменяли собой Министерство медицинской промышленности. Аграновский — тоже не один, вместе с газетой, и конечно же тоже не полностью — Министерство здравоохранения. Ибо после публикации очерка, а вслед за ним и «Отписки» «мобильный стационар» Н. А. Лопаткина, в свое время не выдержавший испытания судьбы, был вновь открыт, а бригадный метод работы, опробованный Федоровым, не только признали нужным, но и получил распространение — его стали применять и другие клиники.

Так публицист доказал и еще одно — если делать свое дело хорошо, со знанием вопроса, то от этого польза всем. И отдельному человеку, и стране.

И это тоже удача Аграновского.

А он в записной книжке писал:

«Два плана доброты» напечатаны. Неделю назад. Статьей я доволен. В отличие от первой («Десять лет спустя».— *Е. А.*), крепкая, дельная. Меньше в ней «очерка», больше исследований». «В редакции все довольны. (Эта запись сделана спустя четыре месяца — после публикации «Отписки» — Е. А.). Расценивают, как победу. Я так не думаю...»

Он понимал: борьба продолжается.

* * *

Анатолий Абрамович Аграновский свой очерк «Десять лет спустя» закончил так:

«Сделано за минувший срок, мы убедились, многое, и тем обиднее было бы возвращаться к этим проблемам в очерке под названием «Двадцать лет спустя».

К этим проблемам он уже никогда не вернется.

А очерк «Двадцать лет спустя» писать собирался: статья должна была появиться на газетной полосе в апреле 1985 года.

В том самом апреле, когда мы отмечали годовщину его смерти...

Анатолий Абрамович Аграновский прожил, как мне кажется, счастливую журналистскую жизнь. Писал то, что

волновало его и народ, для которого писал. Почти все публиковал и все имело и имеет, как всякая настоящая литература, долгую жизнь. Снискал известность и славу, память после смерти. Есть ли вопросы, которые он ставил и которые так и не решены? Конечно, есть. И немало. «Догадал меня черт родиться в России с умом и талантом» — так писал Пушкин. Аграновский, наверное, мог повторить эти слова. Ибо испытал типичную судьбу прогрессивного российского интеллигента, истинного патриота своей страны, который не только был не способен закрывать глаза на «пятна на Солнце», но и имел смелость обнародовать их: называл язвы язвами, а не юношескими прыщиками на не тронутом бритвой лице... Он был из тех публицистов, кто предвидел проблемы, да такие, на решение которых порой требуется целая жизнь.

И все же он многое успел. Пример тому — доктор Федоров, его большая человеческая и журналистская удача. Его победа.

...«Эпилоги бывают счастливыми,— писал Анатолий Абрамович в книжном варианте очерка «Отписка».— Если автору очень нужно описать горести своих героев, он это делает, как правило, в основном тексте. Эпилог оставляют для приятных сообщений».

На последней странице своей последней записной книжки Аграновский писал о перспективе создания в Институте микрохирургии глаза уникальной поликлиники, оснащенной диагностическим конвейером: в специальном кресле, подчиняющемся автоматике, пациент перемещается от прибора к прибору по заданному маршруту — в результате на обследование у него уходит всего два часа...

«...Поживем — посмотрим» — именно этими словами заканчивается блокнот. Через шесть дней он умер.

На симпозиуме Федоров сообщил: проект такой поликлиники готов...

Ничего не поделаешь: эпилоги бывают и грустными.

Аграновского нет.

С. Н. ФЕДОРОВ

Теневой директор

Когда я подъезжаю утром к Бескудниковскому бульвару и вижу огромное красивое здание Института микрохирургии глаза, меня охватывает чувство радости, что удалось выполнить давно задуманное и полезное дело.

Ведь строительство Института микрохирургии глаза не планировалось ни Минздравом, ни госпланами, ни Офтальмологическим научным обществом. В чем же дело? Почему возникло научно-практическое медицинское учреждение, где трудится тысяча человек, где ежегодно проводится 15 тысяч операций и консультируется 180 тысяч человек с пониженным зрением? Почему это учреждение растет, как гриб после дождя? И я вспоминаю начало этой раскручивающейся технологической цепочки добра.

Чебоксары. 1959 год. Я — молодой кандидат наук — работаю в филиале НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, заведую отделением. Филиал создан для ликвидации последствий трахомы, научные темы связаны с эпидемиологией трахомы, статистикой заболеваемости. Скучная, никого не зажигающая работа. Неужели так и проскочит жизнь?

Случайно попадают на глаза очерки в «Известиях». Читаю: А. Аграновский. «Письма из Казанского университета». Казань рядом, несколько раз был там, почитаю «письма» оттуда. Начал... и оторваться не могу.

То же все написано, о чем я думаю, написано четко, динамично, за душу цепляет. Умница автор. Запомнился надолго. Ночами лежал с открытыми глазами и выдумывал интересные научные темы. Казалось, днем начнется новая жизнь. Закуплю новую аппаратуру, реактивы, буду сидеть в лаборатории дни и ночи напролет, что-то нащупаю новое и важное. Но проходил день, и все то, что казалось таким легким и сбыточным, куда-то откатывалось, аппаратура неизвестно когда будет закуплена, реактивов нет, лаборантов не хватает. Но в это время прочитал я в «Вестнике офтальмологии» статью, критикующую новую операцию по замене мутного хрусталика искусственным из

пластмассы. Автор идеи — английский офтальмолог Гарольд Ридли. Автор критикующей статьи пытался опровергнуть новый метод на основании ряда неудачных операций и тяжелых осложнений после операции. Но в то же время ничего не говорилось о том, почему в ряде случаев больные получили прекрасное зрение и никаких осложнений не произошло при наблюдении за прооперированными больными в течение 4—5 лет.

Когда в Чебоксарах мною были сделаны успешно первые операции имплантации искусственного хрусталика и информация об этом дошла до высших офтальмологических кругов, последовало указание о прекращении операций. Вот в этот период сразу возникла мысль, что надо посоветоваться с автором «казанских» писем. Написал письмо с просьбой встретиться. Скоро получил ответ с согласием.

Это был март 1961 года. В июне меня уволили с работы, и я выехал в Москву, чтобы добиться в Минздраве разрешения где угодно продолжать начатую работу.

В Минздраве долго не могли прийти к какому-либо решению.

И тут я позвонил по телефону Анатолию Абрамовичу Аграновскому. Номер его домашнего телефона мне дали в редакции «Известий», после того как я сказал, что переписываюсь с Аграновским.

Неторопливый голос нараспев спросил меня: «Так это вы писали мне о «казанских» письмах?» Я коротко рассказал о своих бедах и попросил аудиенции. «Ну что ж, давайте встретимся у меня дома в 5 вечера».

Ровно в пять я стоял у 8-этажного дома на Ломоносовском проспекте и рассчитывал, в каком подъезде должна быть квартира № 37.

Открылась дверь, и я попал в знакомую обстановку 30-х годов. Небольшая двухкомнатная квартира, где жил тогда Анатолий Абрамович с женой и двумя маленькими сыновьями. Аскетично просто, все необходимое есть, и ничего лишнего. Много книг по стенам, много воздуха.

Хозяин дома был замедленно спокоен, веяло от него доброжелательным интересом ко мне, карие глаза источали пытливость. Жена его, Галина Федоровна, в светлом, спортивного покроя платье, похожая на бегунью на средние дистанции, накрыла стол, предложила на выбор чай или кофе и оставила нас одних.

Беседа потекла четко, без ассоциативных отклонений от

курса. Почти сразу внутри родилась уверенность, что будет польза от разговора. Непонятно пока какая, но польза. Анатолий Абрамович брал информацию уверенно, слой за слоем. Иногда останавливался на деталях, очищал их от грунта кисточкой и опять вперед, как опытный археолог. Общая конструкция конфликта с каждой минутой высвечивалась, становилась логичной, видны уже были ее краеугольные камни, появился фундамент.

Это был прекрасный процесс превращения запутанной, малопонятной ситуации в четкую, абсолютно логичную структуру. Хотелось лишь вывести математическое уравнение, где неизвестных почти не было. Меня увлек этот процесс расшифровки социальных процессов. И даже больше: я взял его на вооружение, и как часто он выручал меня! Анатолий Абрамович казался мне маэстро органистом, который прекрасно владеет искусством управления громоздким, сложным социальным «органом». Он знает, на какой регистр нажать руками, что сделать с педалями, чтобы получить чистый и нужный звук...

Все меньше стало возмущать меня отношение ополчившихся на меня коллег, администрации, партийных органов к полученным хорошим результатам после проведения операции пересадки искусственного хрусталика у четырех первых больных. Все это как бы стало вторым планом.

Понять процесс любой, в том числе социальный,— какое это удовольствие! Можно предсказать ближайшее событие, увидеть конечный результат, правильно построить план своего сражения. Даже в случае поражения не психовать, а четко понять, что еще не время, надо накопить силы, выиграть время.

Да, вот такой урок философии социальной борьбы, теории и стратегии ее преподал мне корреспондент «Известий», писатель А. Аграновский. Ощущение доверия, необходимости посоветоваться с ним в трудных ситуациях, которые частенько возникали потом в моей жизни, я пронес на протяжении 24 лет нашей дружбы. Поведение Анатолия Абрамовича в жизни, отношение к людям также учили многому. Не мельтешить, не размениваться на мелочи, не терять время на оправдания, на борьбу с оппонентами. Делать дело, служить делу истово, неистово добираясь до положительного результата.

Уверенность моя в том, что будет польза от нашей встречи, подтвердилась полностью. Анатолий Абрамович посоветовал уехать из Чебоксар, а на следующий день поз-

вонил заместителю министра здравоохранения РСФСР. Этот звонок сыграл большую роль в решении вопроса о важности начатой работы. Кроме того, приказом Минздрава я был восстановлен на работе в Чебоксарах.

Через три месяца я прошел по конкурсу на заведование кафедрой глазных болезней в Архангельском мединституте и переехал туда.

Завязалась регулярная переписка с Анатолием Абрамовичем. А по приезде в Москву — и встречи. Операции в Архангельске шли хорошо. Создавался коллектив единомышленников, мы все становились немного химиками, оптиками, инженерами, монтажниками, так как искусственные хрусталики приходилось делать после работы самим.

Мы мечтали и делились своими мечтами с Анатолием Абрамовичем. В 1963 году я послал ему письмо, в котором нарисовал проект нового института хирургии глаза.

Анатолий Абрамович знакомился с прооперированными больными, вел с ними переписку и готовил статью, которую опубликовал 29 апреля 1965 года в «Известиях» под названием «Открытие доктора Федорова». Статья произвела впечатление разорвавшейся бомбы, так как в ней говорилось остро и прямо о сложности преодоления «научной» косности, о монополизме в науке, о трудностях в развитии новых методов лечения. Статья была написана с огромным знанием дела, в ней не было ни одной медицинской неточности. Эта статья резко подняла авторитет нового направления в хирургии глаза, способствовала его развитию и сыграла не последнюю роль в превращении маленькой проблемной лаборатории по искусственному хрусталику при кафедре глазных болезней Архангельского мединститута в Московский офтальмологический институт. Через пять лет она превратилась в отдельную крупную лабораторию экспериментальной хирургии глаза МЗ РСФСР, а в 1980 году — в НИИ микрохирургии глаза.

Анатолий Абрамович не терял связи с нами. Интересовался всеми делами, радостями и бедами.

Он радовался, что новое направление в офтальмологии побеждало, давало людям пользу.

Он приходил на заседания ученого совета МЗ РСФСР, когда слушались результаты работы лаборатории. Бывал и на заседаниях научного общества глазных врачей, где разворачивались баталии по поводу предлагавшихся новых методов хирургии глаза.

В 1975 году Анатолий Абрамович написал статью

«Десять лет спустя», в которой подвел итог десятилетней работы нашего, тогда еще небольшого коллектива.

В 1976 году вышла статья «Два плана доброты», в которой страстно звучал призыв делать добро вдвойне и втройне, используя новые организационные методы в медицине — типа бригадного подряда. Все время Анатолий Абрамович был в курсе развития института, интересовался всеми начинаниями.

Каждый раз, возвращаясь из командировки в Москву, я звонил Анатолию Абрамовичу, зная, что он ждет звонка, что ему интересно, как прошла командировка, что нового удалось сделать.

По сути дела Анатолий Абрамович был членом нашего коллектива. Частенько он высказывал сомнения по поводу каких-либо моих организационных идей, хотя он хотел их осуществления, но боялся, что если ничего не получится, то я буду разочарован, буду страдать. Поэтому лучше настроиться на возможные неудачи.

Наш институт строился, мужал, развивался вместе с Настоящим Журналистом Аграновским. Он был его теневым директором, главным советчиком, другом огромного коллектива сотрудников и, конечно, моим.

Вячеслав МОИСЕЕВ

Одна встреча

Об Анатолии Абрамовиче Аграновском впервые я узнал, прочтя, наверное, в году шестидесятом его очерки «Разная смелость» в журнале «Юность».

К тому времени я уже почти десяток лет был связан с авиацией (авиамоделизм, работа в КБ, служба в армии), и очерки о летчиках-испытателях конечно же не пропускал. Что там говорить,— эти увлекли сразу, такого об авиации я еще не читал.

И еще понравился автор на фотографии в журнале: симпатичный молодой человек в кепке из букле. Не какой-то там солидный писатель в банальной шляпе или стандартно озабоченный мэтр за письменным столом, а очень даже похожий на твоих друзей и знакомых, в том числе и летчиков, в таких же примерно кепках.

А немного позже, когда сам стал писать в газетах, вновь встретился с очерками Анатолия Аграновского уже в «Известиях». Что вырезал из газеты его материалы, собирал его книги,— говорить долго не буду: так делали многие. Скажу лишь, что с годами творчество Анатолия Аграновского для меня (не для одного меня, конечно) значило все больше. И хотя распределение призовых мест в литературе — дело малоперспективное, А. Аграновский, отмечу все-таки, уверенно выходил в лидеры. Само собой, хотелось встретиться с Анатолием Абрамовичем.

В ноябре 1976 года, набравшись духу, я отправил А. Аграновскому автореферат кандидатской диссертации «Деловой человек в публицистике», приписав, что его (Аграновского) деловые люди в очерках мне очень нравятся и о них говорится в диссертации. А поскольку, добавил я, нравятся мне и его авиаторы, то посылаю еще и свою книжку об О. К. Антонове — «Крылатое имя».

На Новый год в праздничном известинском конверте я получил от Анатолия Абрамовича поздравление с добрыми словами о книге и пожеланием издать диссертацию.

В 1980 году книжка «Портрет делового человека»

вышла, и, приехав в Москву, я позвонил Анатолию Абрамовичу:

— Ваше пожелание выполнил, хочу вручить книжку.

— Понимаете, какое дело,— ответил он очень по-свойски,— сейчас у меня башка занята одним очерком, день-два я с ним повожусь, а потом звоните.

Звоню 14 апреля.

— Давайте сегодня встретимся. Часов в девятнадцать. Устраивает? Договорились: в девятнадцать ноль-ноль. Плюс-минус полчаса,— шутливо добавил он.

Около половины восьмого нажимаю звонок. Открывает сам хозяин. Похож на известные мне снимки, но все же иной: на снимках он везде серьезен, а тут улыбается, да так приветливо, вроде мы давние друзья, не дежурно.

Прошли в комнату-кабинет, тут Анатолий Абрамович работал. Закурив папиросу, он сказал, как бы раздумывая:

— Вот ведь какое дело: начатые «Литгазетой» дискуссии о деловом человеке отталкивались от Чешкова, даже от Штольца из «Обломова». Раньше рационализм, сухость в отношениях, деловитость записывали порою в отрицательные качества. Как будто у нас они встречаются часто и деловых людей у нас хоть отбавляй. Обломова как бы в связи с этим возвышают, его доброту подчеркивают, в фильме это особенно просматривается. И забываются ленинские слова об обломовщине... Обломову легко было быть добрым. На него работали 300 душ крепостных... Меня занимает сейчас один интересный человек. Я ездил в командировку в Белоруссию, мой герой там работал директором совхоза. Ездил я за проблемой «делового» человека. Случилось так, что герой мой умер. Успел я с ним поговорить, да мало. Материал дается трудно. Я все труднее пишу, медленнее...[1]

Анатолий Абрамович кивнул в сторону машинки с заправленным в нее листом бумаги:

— Я с ним ходил по совхозу, бывал с ним в разных местах. Он там партизанил. Проезжали одну деревню — он спас ее жителей. А вторую проезжали — там почти все мужчины ушли в полицаи. Так сложилось. Я ему говорю: «Смывается со временем, отсидели виновные, дети уже после войны у них родились». «Нет,— ответил он,— не смывается». Ведь и об этом надо писать, в этом беспощадность нашей профессии. Как у кинооператора: «Челюскин» тонул, а он крутил ручку киноаппарата... Фактов

---

[1] Очерк «Логика Мироновича».— «Известия», 1980, 25 апреля.

набирается обычно очень много, приходится потом из тридцати страниц делать двенадцать — пятнадцать, до газетного размера, отсекать и интересное. Конечно, я эти невошедшие куски в папку складываю, может быть, когда-нибудь для книги пригодится. Из всей войны героя оставляю один, два эпизода, но таких, чтобы читатель видел за ними больше. Тот самый айсберг...

...Пишу от руки, много раз переписываю, сам же перепечатываю, а уж потом отдаю в редакции в машбюро.

Спрашиваю Анатолия Абрамовича о его отношении к домыслу в публицистическом произведении.

— Домысел зависит от меры нашего такта,— отвечает он.— Мы ведь все в какой-то мере домысливаем своих героев. Фактов обычно набирается много, вот мы и отбираем их. Но выдумывать нельзя! Я, например, не могу позволить себе фразу: «Он подумал». В крайнем случае напишу: «Он подумал»,— а в скобках: «Как он мне рассказывал».

Но один мой очерк — «Золотой дым»[1] — построен на домысле. Из гуманных соображений я не мог разговаривать со стариком, моим героем, да и он не хотел со мной встречаться. Факты у меня были некоторые, и я начал домысливать: он мог сделать так и этак... Но это то самое исключение в моей практике, подтверждающее правило...

Марк Галлай как-то сказал, что документальная повесть — это такая повесть, в которой вымышленные герои действуют под собственными именами.

Когда я начал писать повесть «Старт»[2] — о ракетчиках (я считаю своей заслугой, что первым о них рассказал), то стал добиваться разрешения собирать материал. Пошел к одному большому начальнику, заготовив «байку» для начала разговора: какой-то немец путешествовал по Англии, вел дневник: «Был там-то. Встречался с лордом таким-то. Был в театре «Глобус», театр крыт соломой. Смотрел пьесу о Ричарде III». На что Эрвин Киш воскликнул: «Болван! Он мог взять интервью у самого Шекспира». Так вот, сказал я большому начальнику, я не хочу оказаться таким болваном. Начальник оказался с чувством юмора и разрешил собирать материал...

...Кстати, когда я делал фильм о монтажнике Шоханове, то не оказалось пленки о Курчатове, с которым тот работал.

---

[1] «Известия», 1969, 21 ноября.
[2] «Большой старт». М., 1964.

Снимали в Обнинске пуск станции. Все есть, а там, где Курчатов,— смыто. Ну, снимите, потом спрячьте в свой самый секретный сейф, но не смывайте! Это же история! Мой друг Константин Ваншенкин сейчас делает фильм о Твардовском. Так об Александре Трифоновиче не набирается и пятнадцати метров пленки. Есть перекрытие Ангары. Тысячи метров пленки о том, как сбрасывают в воду тетраэдры. Они, между прочим, везде одинаковые, а Твардовского — нет. Его снимали не больше, чем Льва Толстого.

...Или возьмите Циолковского. Удивительно: к нему в Калугу ездили многие журналисты. В том числе Евгений Рябчиков и Лев Кассиль. И ничего не привозили, кроме каких-то приветствий да рассказов о слуховом рожке.

В повести «Старт» я назвал героев своими именами. Потом запретили, и в последний момент, уже в верстке, пришлось менять. Я такие фамилии подбирал, чтобы количество букв совпадало. А после получил письмо от читателя: «Что вы пишете о летчике Христофорове, когда в БСЭ сказано, что летал на самолете «БИ» Бахчиванджи». Вот вам и весь секрет.

— Вы,— спрашиваю,— своему Лысову из очерка «Уметь и не уметь» ведь тоже изменили фамилию?[1]

— Да. Лысова, так случилось, сняли с работы и исключили из партии. Но я все же оставил очерк в книге, только изменил в фамилии одну букву. Лысова вскоре восстановили, он сейчас начальник главка. В последующих сборниках я его фамилию восстановил.

...С годами пишу все гуще, меньше в очерках диалога, все меньше пишу «природу», портрета мало. В публицистике главное — мысль. Иной раз читаешь роман, а там мысли — ни на грош. А в хорошем очерке — на целый роман!

Я себя писателем не считаю. То есть я рад, что меня приняли в Союз писателей. Однажды меня затащили на собрание в Дом литераторов на вечер «Писатель в газете». «Писатель,— говорилось там,— должен поднять уровень печати» и т. д. Я вообще-то редко выступаю, не умею и не люблю. А тут не выдержал, завелся, завожусь иногда, и говорю: «Писатель в газете может выступить в лучшем случае с подмалевком к роману. И ни один писатель не сделал себе имени в газете, в журналистике. Давайте начи-

[1] «Уметь и не уметь».— «Известия», 1968, 21 марта.

нать с великих. Горький писал в нижегородской газете. Я перечитал все его статьи. Ну и что написал Иегудиил Хламида? Бледные вещи. А Влас Дорошевич сделал имя на фельетонах. И Михаил Кольцов стал знаменит как журналист. Или Овечкин. Он переживал, что не идут его плохие пьесы. А в журналистике чего достиг! И когда писал! В пятидесятые годы, при Сталине... Вот такие вольности я позволил себе. Что чаще пишет писатель в газету? Отлик, самый постыдный случай. Или подмалевку...»

Задаю вопрос о технике беседы, о приемах сбора материала.

— Беседую редко с блокнотом, тайны из этого не делая. Бывает, что блокнот не вынимаю, записываю потом. Иногда задаю ложные вопросы. Собеседник твой скажет какое-нибудь характерное для него словечко, выражение, надо записать, не смущая собеседника. Задаю стандартный вопрос, например: «А сколько вы тонн даете?» Он говорит мне разную муру, а я записываю свое, то, что мне нужно. Меня когда-то один ленинградский режиссер учил во время беседы писать новеллу. Слушаешь собеседника, а сам пишешь в третьем лице. Интересная тренировка для журналиста.

— Магнитофон используете?

— С магнитофоном я не работаю. Мне нужно выражение лица, глаз, а лента — мертва. Но для чистого интервью он нужен. Хотя жанр этот забыт. Интервью — это ведь разговор равных умом. У Пескова хорошие интервью. Он когда начинал, кое-кто посмеивался: о чем он пишет, чем занимается?! Птички, букашки... Он, как дятел, долбил в одну точку — и на какие проблемы вышел! Охрана природы, экология... Теперь-то этим все занимаются. Кстати, в тридцатые годы академик Иоффе занимался расщеплением атома, его за это критиковали и заставили заниматься другим — люминесцентными лампами. Когда американцы взорвали в Хиросиме бомбу, оказалось, что именно у Иоффе были Курчатов, Александров, Харитон, Синельников...

...С собеседником разговаривать надо на равных. Я уже упоминал где-то, что когда Горький писал о Ленине, он на него не смотрел снизу вверх. Журналист должен быть интересным собеседником, обаятельным. В конце концов, мы где-то бываем, что-то видим, с кем-то встречаемся, у нас тоже есть о чем рассказать. Человеку должно быть интересно с журналистом говорить. И не надо делать вид, что мы все знаем. Мы не можем все знать. Я в беседе с акаде-

миком Белозерским сказал: «Скучно рассказываете. Если мне скучно, непонятно, то и читателю будет скучно...»

...Мы должны читать много. То, что читают все, и то, что мало кто читает. Я когда читаю, отмечаю какие-то места, делаю закладки, потом, когда будет время, перепишу на карточки. Сейчас покажу эти карточки.

Он встал с дивана, подошел к стеллажу, достал коробку и из нее несколько плотных листков бумаги, чуть меньше, чем половина стандартного листа.

— Это, собственно, не картотека, карточки в беспорядке. Я их время от времени перебираю, ищу нужное. Из сборника типа «Мудрых мыслей» мало что можно взять.

— Почему? Потому что вырваны из контекста?

— Не только. В них приводятся трюизмы. Типа: «Труд — источник богатства». Я раньше и в командировки брал Писарева, Огарева, Герцена. Мне они всего ближе. Георгий Радов, мне кажется, ближе к Успенскому, Писемскому. Он ближе к рассказчику, новеллисту...

— В спецкурсе, который предлагается нашим слушателям, мы рассматриваем ваши очерки, Валентина Овечкина, Георгия Радова, Василия Пескова, хотя вы все разные...

— Это и хорошо, что разные. Было бы плохо, будь все одинаковые. В вашу четверку можно было бы добавить Юрия Черниченко. Очень интересно пишет. Сейчас ушел в телевидение. Может быть, это мешает ему, хотя, возможно, и нет. Он и повести пытался писать. Неплохие. Но... А вот «Про картошку»... Сильная вещь. В очерковом произведении очень важна деталь. Иногда все забудется, а деталь останется.

— За нее потом можно «вытащить» и мысль.

— Верно. Мне и в вашей книжке понравилось сравнение планеров с парусными яхтами. Важно вызвать у читателя одной деталью какие-то ассоциации, размышления. Вот я назвал очерк «Сержанты индустрии», пустил в ход этот термин, потом он уже пошел. Самые дальние ассоциации бывают самые интересные. Писал я очерк «Два плана доброты»[1]. А в Москве есть памятник Сергею Есенину...

— И там рожь скосили...

---

[1] «Два плана доброты».— «Известия», 1975, 23 июня.

— Да. Есть у меня друг — Виктор Цигаль, художник. Вон его портрет: я с гитарой. А его брат — скульптор Владимир Цигаль. Сделал он памятник Есенину и посеял вокруг него рожь. Ее скосили. Я поехал, стал разбираться. «Зачем она? — говорят.— Она ведь только летом растет». Я потом припомнил эту рожь и включил ее в очерк.

...Читатели откликаются на мысли. У меня большая почта. Новосибирские социологи проводили исследования, на первом месте у читателей была Татьяна Тэсс. Мы совершенно разные по стилю. На втором месте — Мэлор Стуруа, я — на третьем. Так вот о почте. Пишут умные люди. Одна женщина написала: «Вы говорите, что на душу населения увеличивается производство всего. Я тоже душа населения, а мне не досталось».

— Почему сейчас мало талантливых журналистов?

— Трудно ответить. Много есть тому причин. Хотя не оскудела земля талантами...

Разговор переключился на тему подготовки журналистов, о том, как они формируются, и Анатолий Абрамович вспомнил:

— Когда я пришел в «Известия», то, еще не будучи в штате, поехал в Казань на двадцать дней. Темы не было, я обошел весь университет, все факультеты, общежития, разговаривал со студентами. Множество было бесед. Там и наткнулся на Ивана Ивановича Назарова.

— Очерк «Вашу руку, Иван Иванович!»[1].

— Да. Приехал домой, написал «Письма из Казанского университета»[2]. Потом написал «Вашу руку...». Принес в «Известия», а мне завотделом говорит: «Не можем мы давать только одну Казань». Отнес в «Литературную газету»...

...Предостерегайте своих слушателей от предвзятого мнения. Он еще не виделся с человеком, а уже в восторге от него. Я недавно прочитал у Шагинян, что она воспитывалась на Гегеле и не сразу поняла Ленина...

...Если нет мысли, ее заменяет штамп. Приезжает журналист к передовику. Мы знаем, каким он должен быть: не пьет, не курит, дома не шумит, общественник. А

---

[1] «Вашу руку, Иван Иванович!» — «Литературная газета», 1960, 23 июня.

[2] «Письма из Казанского университета» — «Известия», 1960, 10 мая.

оказывается, что-то не так. Отсекаем это. Получается шаблон.

— Много лет назад я сдал в издательство рукопись, и был в ней очерк о знаменитом строителе, начальнике крупного треста. Там говорилось, что он не ходит в театр, на концерты, живет одной работой и самый для него трудный день — воскресенье, когда нечего делать. Так в рецензии написали: это очень плохо, руководитель должен быть разносторонним, и привели в качестве образца Балуева из повести Кожевникова.

— Вот! В этом примере это, может быть, самое интересное: человеку скучно в воскресенье. А редактор берет свой красный карандаш и начинает отсекать то, что «нетипично». А в сущности, что такое типичное? Достоевский в начале одной главы в «Идиоте» делает небольшое отступление. Точно не помню, но примерно так: никто не прыгал, как Подколесин, от невесты в окно. Но кто из шедших под венец мужчин не думал в последний момент: а не сбежать ли мне? А?

— Анатолий Абрамович, каким, по вашему мнению, должен быть профессиональный журналист?

— Профессиональный журналист, мне кажется, должен уметь делать все. Я был в Америке, видел, как там работают журналисты. У них нет очерка, они не знают многих наших тем, скажем о перевыполнении плана. Фермеров Айовы не надо призывать вовремя и без потерь убирать урожай. Американских журналистов не волнуют проблемы экономики. Или же темы, которыми я занимаюсь: нравственность и экономика. Они пишут о политике. Их комментаторов все знают. А я не знал, как отвечать на вопрос: о чем пишу? Они профессионалы. А я не умею, разучился писать быстро. Если бы мне нужно было писать о пожарах, катастрофах, журналисту и это надо уметь делать, то я бы не смог вот так, сразу в номер. Чтобы приехал на событие, а через два часа диктовал машинистке подвал. Раньше, в молодости, умел. Репортаж о «ТУ-144» написал сразу. Теперь я не профессионал в этом смысле. Еду куда-то, встречаюсь с людьми, думаю над темой, мучаюсь над чистым листом бумаги. Не пишется. Хотя должен взять и написать... Возможно, и такие нужны в редакции. Но таких нельзя массово готовить...

— Вы родились в Харькове? — спрашиваю.

— Да. Мой отец начинал писать в Харькове, в «Коммунисте», была такая газета. И однажды через Харьков ехал

Демьян Бедный на какой-то процесс. По дороге заболел, и к нему пришел в Харькове врач с чемоданчиком — мой отец. Разговорились. «Небось пишешь?» — спросил его Бедный. «Да».— «Поехали с нами».— «У меня жена, сын недавно родился»,— отвечает отец. «Ничего, поехали». Он и поехал с ними, сбе́гал только мать мою предупредил. Привез из этой поездки книжку[1].

Отец хотел, чтобы я был журналистом. И я надеялся, что мои сыновья станут журналистами, ведь имя «Аграновский» в советской печати с восемнадцатого года. И имена сыновьям дал: Алексей и Антон.

— Я так и подумал, судя по посвящению в книге «Репортаж из будущего».

...Но они не пошли по моей линии: старший — биохимик, а младший — хирург. (Недавно придумали шутку: «Будет жить!» — сказал хирург о пациенте, который перешел работать из инженеров в мясники».)

...Наследование детьми отцовской профессии — непростое дело. Сейчас же это стало бедствием. Поступление в вузы стало сложным, вот и направляют папы по своей линии. И у писателей в этом плане плохо... Когда ребенок с детства в этой среде, а самому потом силенок не хватает... Беда. Я знаю парня, который пытается при папе-писателе стать писателем, не получается, и он спивается...

— Если не ошибаюсь, о молодежных проблемах вы не пишете?

— Я не пишу о том, между нами говоря, о чем не могу писать всё. Молодежные проблемы ведь не обособлены. Они, молодые, все видят и понимают. Мы с женой воспитывали детей «дураками». Мне претит, когда этакие старики растут... Пусть сами все узнают, но уже имея основу... Ведь есть святые вещи.

Время уже перевалило за десятый час вечера, и я начинаю собираться.

— Напоследок,— говорит Анатолий Абрамович,— расскажу вам, когда я понял, что надо отказываться от газетной текучки. В сорок девятом году Борис Агапов дал мне задание в «Литгазете» написать статью, в которой надо было осудить «лженауку кибернетику». Если бы я написал тогда, то опозорился бы навсегда.

Я в кибернетике понимал так же, как в генетике, и был абсолютно уверен, что ее надо громить. Тогда появилась

---

[1] А. Аграновский. «Дымовщина», Гос. изд-во Украины, 1925.

в печати заметка о том, что в Америке создана машина, которая может «думать». Насмехались все над этим. Повторяю: я был уверен, что это такая же «лженаука», как и генетика. Это была бы моя первая большая статья, до этого писал заметульки. Молодой был, но все же понимал и то, что надо бы еще одну сторону расспросить. Хотя и не сомневался тогда ни в чем. Начал среди друзей искать знающих в этой области, расспрашивать. И мне назвали одного чеха. Он доктор философских и математических наук. Встретился с ним, поговорил. Приведу лишь одну его фразу: «Молодой человек,— сказал он мне.— Машина может все! Она только не может быть сволочь!»

Я пришел к Агапову, изобразил растерянность и сказал, что задание провалил, ничего не понимаю. Тогда Агапов сам написал эту статью. Потом он дорого бы дал, чтобы ее не было...

...Или надо выбиваться, добиваться такого, чтобы писать о том, о чем хочешь, или... Иначе трудно. Когда я встречался со студентами МГУ, они мне говорили: «Вам хорошо. Вы можете себе позволить писать о том, о чем хотите, а нам надо обо всем писать, надо строчки давать». И давайте, отвечал я. Но найдите человека интересного, думающего, поговорите с ним, сами подумайте, не торопитесь, а потом пишите. Добивайтесь такого положения...

...Когда на меня пытались «давить» в редакции, я всегда отвечал: могу положить заявление хоть сейчас. Тем более что, сидя дома, денег можно больше заработать. Кино дает такую возможность. Я в кино работаю довольно много. Там я, правда, открою вам секрет, А. Захаров.

— «Поэма о крыльях» — ваш фильм?

— Да. Я недоволен этим фильмом...

— Я рад, что сняли с моей души камень,— фильм неважный.

— Да, фильм вышел лобовым. Но и то надо сказать, не все в сценарии оставили. Были выброшены важные вещи...

Анатолий Абрамович надписывает мне книгу «Своего дела мастер». Мы выходим в прихожую. Он обращает внимание на витраж на дверях в комнату:

— Сам расписывал, с сыном. Советую заняться,— говорит он.

Прощаемся. Я сбегаю по лестнице дома на Ломоносовском проспекте. А в гостинице, по давней привычке, записываю весь разговор в блокнот, вовсе не думая, что эта наша встреча будет единственной, и уж никак не предполагая, что когда-нибудь расскажу о ней в печати... Но когда, вскоре после нашей встречи, Анатолия Абрамовича не стало, решил рассказать о ней, понимая, что все сказанное Анатолием Аграновским имеет большую ценность...

Е. ИВАНОВА

Пришел, чтобы остаться навсегда

Недавно по телевидению показали фильм М. И. Ромма «Девять дней одного года». В который раз смотрела я эту картину и думала о том, как удивительно точно подлинное искусство воспроизводит свое время и вместе с тем как оно нетленно. Не стареет, и все. И вспомнилось, что рецензию на этот фильм в свое время написал Анатолий Аграновский, который вообще-то не писал рецензий. Главного героя фильма он увидел в Илье, этом физике-философе, провидящем далеко вперед опасную диалектику науки. А начиналась рецензия словами: «Надоели дураки на экране». Аграновскому нравилось это начало, и он читал его всем нам.

Но это было уже потом...

А сейчас я хочу рассказать о том, как вошел Аграновский в «Известия».

Произошло это так. В «Известиях» только-только был воссоздан отдел школ и вузов. В маленьком кабинете на шестом этаже оказались три человека из разных газет. Редактор отдела Любовь Михайловна Иванова пришла из «Комсомольской правды», Элла Максимова раньше работала в «Литературной газете», я — в «Московской правде». Собравшись вместе, мы стали собирать своих авторов, создавать актив отдела. Любовь Михайловна — людей самых разных, но всегда интересных, я — московских педагогов, Элла — своих бывших коллег по «Литературной газете». Так появились в отделе Мариэтта Шагинян, Сергей Львов, Владимир Турбин, Лев Кассиль... Так пришел к нам и Анатолий Аграновский, один из корифеев симоновской «Литературки». Но одни приходили и уходили, Аграновский пришел, чтобы остаться навсегда. И потом долгие-долгие годы его творчество было эталоном для всех известинцев. И теперь, когда его уже нет с нами, то и дело можно услышать: «А Аграновский бы сделал так»... «А вот Аграновский...»

...Тогда же открылась дверь, и в нашу маленькую комнату вошел высокий темноглазый человек, улыбнулся

как-то очень открыто и сразу же завел разговор о пути молодежи в науку, о поиске талантов. В общем, он пришел с готовой идеей, с готовой темой и даже с адресом: Казанский университет. Он знал, что там хорошая школа физиков и математиков, интересные ученые, умный, вдумчивый ректор. Ему хотелось показать, как готовит университет тысячи специалистов, как улавливает таланты, как воспитывает тех, кто пойдет в науку, кто способен именно к этому роду деятельности.

Вспомним, что было это в самом начале 1960 года. Еще не взлетел в космос Гагарин, но весь мир уже был потрясен запуском первого спутника Земли, за которым последовали второй, третий... Что русское слово «спутник» уже стало международным, а в Россию приезжали ученые разных стран, чтобы познакомиться с нашей системой народного образования. Мы же искали пути ее совершенствования... Наука двинулась в Сибирь, на Дальний Восток. Широчайшее поле отбора — основа наших успехов, считали ученые.

Обо всем этом и шла беседа в нашем отделе. Говорили в основном двое — Анатолий Абрамович и Любовь Михайловна. Элла, гордая и счастливая — она же привела в редакцию такого автора, известного писателя, острого журналиста, думающего человека,— с удовольствием слушала, время от времени задавая вопросы. Мне же было крайне интересно видеть вместе этих двух удивительных людей. С Любовью Михайловной я только начинала работать и все больше влюблялась в нее — в ее ум, отзывчивость на все новое, в ее поразительное умение увлекаться делом, которому она служила, и людьми, это дело делающими. И, наблюдая за ними, я видела, как серо-синие глаза моей начальницы становились все больше, все ярче сверкали, как зажигалась она идеями, которыми был увлечен ее собеседник, как то и дело подбрасывала ему свои «золотые мысли». Я видела, что идеи их совпадают и что перед ними встают уже будущие очерки...

Потом мы все вместе пили чай и болтали о том о сем, а потом наш новый автор ушел оформлять командировку. И едва закрылась за ним дверь, как Любовь Михайловна вскочила и с восторгом воскликнула:

— Ну, вы подумайте только, что за человек: ты ему на копейку, а он тебе — на рубль. С таким работать и работать!

Через месяц Аграновский вернулся из Казани и вскоре пришел в редакцию с первым очерком, который так и назы-

вался — «Поиск талантов». Сел в маленькое кресло в углу кабинета и начал читать. Читал он с удовольствием, очень выразительно, просто артистически. Прочитал и положил на стол Любови Михайловны аккуратную рукопись, где каждая буквица, с которой начиналась новая главка, была обведена чуть ли не тушью, а опечатки были тщательно заклеены. Для него был очень важен и внешний вид рукописи. Потом мы к такому привыкли, а тогда манускрипт произвел на меня впечатление необычайное. Конечно, и текст тоже. Но это как-то уже само собой разумелось.

Первое письмо из Казанского университета было отправлено в набор. За ним последовало второе, третье... Всего пять. Напомню их названия, потому что они настолько точны, что сразу же раскрывают содержание: «Поиск талантов», «Скажи мне, кто твой учитель», «Факел, который надо зажечь», «Много на себя брать», «Древу — расти».

С годами Аграновский все требовательнее относился к своему творчеству. И если очерки из Казанского университета он приносил и читал целиком, то в дальнейшем частенько заходил для того, чтобы прочитать только первый абзац будущего очерка,— начало было для него очень важно, и порою случалось, что он читал его чуть ли не всем, кого встречал в редакционном коридоре или даже в лифте. Прочитает и внимательно выслушает мнение товарища, будь то известный очеркист или начинающий репортер.

«Письма из Казанского университета» Анатолий Аграновский писал не в начале своего творческого пути — за плечами уже были годы работы в «Литературной газете», лучшей тогда газете страны, несколько книг,— к своему же расцвету он лишь приближался. Но с этих очерков Аграновский начинал в «Известиях», и этими очерками он начал целое направление в газете. Перечитывая их сегодня, видишь, сколь много в них поставлено проблем, которые еще предстоит решать, и сколь много в них поставлено вопросов, которые мы называем «вечными», таких, например, как «Кто твой учитель?». Поэтому и сейчас эти очерки звучат и своевременно, и современно.

А тогда... Тогда они вызвали захватывающий интерес у читателей. Отклики потекли в газету рекою. Причем кто только не откликался! Листаю подшивку за 1960 год — вот страница из последней почты, названная «Древу — расти». Открывает ее большое письмо академика Игоря

Евгеньевича Тамма «О подготовке молодых ученых». «Только люди, сами творящие науку, могут дать правильное направление людям, в науку вступающим»,— пишет он. Тут же заметки одной из героинь очерка «Поиск талантов», Г. Ю. Гусарской, учительницы математики 2-й казанской школы, школы, откуда поступали на математический факультет КГУ самые способные ученики. После публикации очерка Галина Юлиановна получила очень много писем и, отвечая на них через газету, делилась опытом своей работы.

Вслед за полосой писем были опубликованы статьи ректора Казанского университета М. Т. Нужина, министра высшего и среднего специального образования СССР В. П. Елютина, академика А. Н. Бакулева...

И, наконец, обсуждение в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований. Обсуждение яркое, насыщенное, заинтересованное.

Помню пасмурный осенний день. С трудом пробиваемся сквозь туман Дмитровского шоссе. Волнуемся перед встречей с учеными — еще бы! — нас ждет чуть ли не весь цвет современной физики. Самым спокойным кажется автор очерков. Может быть, потому, что уже знаком со многими из тех, с кем нам предстоит встретиться. Может быть, просто умеет держаться. Разговор идет о Дубне. Вспоминаем первые сообщения о создании Объединенного института ядерных исследований, о новых, скорее, неизвестных тогда нам, именах в современной физической науке, о пуске «самого крупного синхрофазотрона» и в связи с этим родившуюся в те далекие годы фразу-вопрос: «Кто у синхрофазотрона?»...

Наконец показались огни маленького города большой науки. Подъезжаем к Дому ученых. И, подумайте только, встречают нас доктор физико-математических наук Я. А. Смородинский и профессор Бруно Понтекорво. Я так мечтала познакомиться со знаменитым учеником знаменитого Ферми! И вот вам, пожалуйста, сам Бруно Максимович провожает нас в раздевалку.

Осматриваем просторные гостиные Дома. Группы совсем молодых и не очень молодых людей, оживленно беседующих друг с другом. Все раскованны, всем интересно, обстановка непринужденная, стоит какой-то «творческий» гул, если можно сказать так. В институте работали в те годы ученые Советского Союза, Китая, ГДР, Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Кореи, Вьет-

нама. Их общим языком была физика, вместе стремились они проникнуть в глубины атома, вместе трудились на переднем крае мировой науки. А давно уже замечено: там, где делается большая наука, ученые всегда заботятся о воспитании смены. Наверное, поэтому так много народу собралось в тот вечер в Доме ученых...

К тому же нам было интересно встретиться со знаменитыми учеными, ученым — с нами. «Известия» были тогда самой популярной газетой в стране, а ее выступления, начатые «Письмами из Казанского университета», как я уже говорила, привлекли всеобщее внимание. Дискуссия так и называлась — «Путь молодых в науку». В конференц-зале собралось более двухсот человек. Обсуждение открыл член-корреспондент Академии наук СССР Б. Понтекорво. Председательствовал член-корреспондент Болгарской академии наук Е. Джаков. Начались выступления, одно интереснее другого.

Проблема поисков, отбора, воспитания талантов рассматривалась учеными всесторонне: речь идет и о школе, и о вузе, и о производстве, и об аспирантуре, и о научной среде,— отсюда широта дискуссии. Ученые-физики говорили о развитии других наук, обсуждали тему и во времени — сравнивая тогдашнее положение дел с тем, что было у нас десять, двадцать, сорок лет назад,— отсюда глубина дискуссии. Наконец дискуссия перешла и границы СССР, потому что проблема научной смены актуальна для всех социалистических стран.

Какие только вопросы не возникали в дискуссии! (Разговор вышел серьезный и обстоятельный. Приведу для примера выдержку из выступления Бруно Понтекорво:

«Уверенность в своих силах — это очень важно. Я думаю, что практически все ученые, как бы ни были они гениальны, прошли через период колебаний, неуверенности в себе. Могу сказать это и о Ферми, у которого в двадцать два года были тяжкие сомнения в своих силах (я слышал это от него гораздо позже). Избавиться от колебаний Ферми удалось после того, как он поработал у Борна и Эренфеста; уверенность передал Ферми именно Эренфест. И это сыграло большую роль во всей работе Ферми.

Некоторые научные работники, приезжающие в Москву из других городов, бывают просто напуганы, когда встретят академика Боголюбова или академика Ландау. Они боятся

с ними говорить. Мы должны помогать в поисках уверенности. С этой точки зрения очень полезно перемещение молодых ученых... Чем скорее молодой человек обретает уверенность, тем больше он сделает в жизни».

Цитирую столь подробно потому, что в этом выступлении как-то очень концентрированно выразилась суть дискуссии — передавать эстафету знаний, вовлекать молодежь в большие дела, учить доверием. А еще потому, что эта встреча журналистов и ученых как бы подвела итог большой работе газеты, начатой публикацией «Писем из Казанского университета» Анатолия Аграновского.

Может быть, именно эта памятная встреча заставила Аграновского написать единственнную в его творчестве рецензию,— уж очень похожи были герои фильма «Девять дней одного года» на участников дискуссии в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.

И вот что было характерно для Аграновского: он никогда не расставался со своими героями, а некоторые из них становились его друзьями на всю жизнь. Так и многочисленные герои казанских очерков постоянно переписывались с ним, спрашивали у него совета, рассказывали об успехах и неудачах, просто сообщали новости.

Страница, посвященная встрече в Дубне, была опубликована 24 декабря 1960 года.

На этом и собиралась поставить точку. Но как-то сам собой просится сюда мостик в год 1967-й, а оттуда — в годы 20-е и 30-е... Отмечалось 50-летие «Известий», меня назначили составителем одного из юбилейных сборников, посвященного моральной теме в газете, очерку о человеке; потом он вышел, получив название «Люди среди людей». Но предшествовала этому большая работа. И какая увлекательная! Листая подшивки газеты, начиная с 1917 года, я просто не могла оторваться от пожелтевших страниц: передо мной раскрывалась многогранная жизнь страны, вставали ее удивительные люди, передо мной проходили взлеты и падения моей любимой газеты.

Какие люди печатались в «Известиях» — А. Луначарский, М. Горький, В. Маяковский, К. Паустовский, В. Каверин... Нарком просвещения Луначарский не стеснялся дать маленький комментарий к читательскому письму. А в 20—30-е годы на страницах газеты все чаще стала появляться подпись «А. Аграновский». А. Аграновский

пишет со строительства электростанции, А. Аграновский дает репортаж из Кузбасса, А. Аграновский у метростроевцев...

Как-то к нам в отдел зашел Анатолий Абрамович, давно уже ставший для нас просто Толей, и протянул четыре странички аккуратной, как всегда, рукописи: «Почитайте, пожалуйста. Меня вот попросили написать для музея «Известий» о моем отце».

...И правда, «газетный писатель» нашел свою газету. Пришел, чтобы остаться навсегда.

Савва МОРОЗОВ

Мэтр

С Анатолием Абрамовичем Аграновским я был знаком, смею сказать, дружил без малого четверть века. Но всегда при встречах мы называли друг друга на «вы», по имени-отчеству. А вот умер он, ушел из жизни так внезапно, нелепо, и кажется мне, что нет рядом друга детства и юности, родной души, единомышленника, сверстника, хотя, если верить паспортам, даты рождения наши разделены одиннадцатью годами. Много было у нас общего во вкусах и привычках, в оценках людей, в мироощущении. И главное, думается мне, сближало нас чувство юмора. Когда я с дружеским почтением называл его, младшего годами, «мэтр Анатоль», он реагировал на мою шутку с напускным недовольством: «От мэтра слышу»...

Звал он меня иногда «дяденькой», иногда «начальством». Объяснялись такие обращения не только свойственными ему деликатностью, обходительностью: дескать, помню вас, Тимофеич, еще в должности спецкоровского старосты,— был сей административный пост учрежден волей высшего руководства редакции в начале шестидесятых годов. Мне это безмерно льстило, хоть и держало постоянно в некоторой озабоченности. Попробуй поруководи, покомандуй такими мастерами пера, как, скажем, Евгений Кригер или Татьяна Тэсс или опять же Анатолий Аграновский. Он-то, правда, был тогда молодым известинцем. Да и по годам нельзя было причислить его к дядям солидного возраста: далеко было до сорока. Тем не менее я считал обращение «мэтр» вполне уместным, заслуженным для моего собеседника, выражающим и профессиональное почтение, и просто симпатию.

Как-то, давненько уже, встречаемся с Анатолием Абрамовичем у кассы издательства. Оба собирались в отпуск.

— Познакомьтесь, мой младшенький,— по-отечески горделиво представил он мне этакого кузнечика в коротких штанишках, с изрядно поцарапанными загорелыми коленками. Тот протягивает ручонку, вполне независимо называет себя:

— Антон.

Отвечаю на рукопожатие:

— Очень приятно, Антон Анатольевич.

Мне известно, точно известно, так сказать, по печатным источникам, что род Аграновских продолжается еще одним джентльменом, чуть постарше. Знаю, сам читал на титульном листе книги А. А. Аграновского «Репортаж из будущего» такое посвящение: «Сыновьям Алексею и Антону, смене». Любил отец сыновей, думал о них, верил в их завтрашний день, помогал мужать, ориентироваться в жизни, выбирать себе пути-дороги.

Проходят годы. Захожу к Аграновским на Ломоносовский проспект взять редакционный диктофон, поскольку собрался в командировку. Анатолий Абрамович знакомит меня с новым своим жилищем. Двухкомнатную квартиру удалось сменять на трехкомнатную. Самое время, парни-то растут.

Предметом особой заботы отца служила тут комната, похожая на корабельную каюту. Здесь две койки — одна над другой, компас и барометр на рабочем столе, огромная, в полстены, морская карта. Рядом на гвоздике боксерские перчатки. Словом, все убранство как бы подтверждает рекомендацию хозяина дома:

— Апартамент потомков...

Сами обитатели апартамента сейчас где-то за пределами отчего крова... Но вот проходят годы, и со старшим из них я все-таки встречаюсь опять-таки тут, на Ломоносовском. Плотный плечистый парень, весь в белозубой улыбке, пожимая мою руку, вполголоса называет себя:

— Алеша.

Узнаю, что Алексей Анатольевич, биохимик, молодой ученый, готовится к длительной командировке за рубеж. Едет в Эфиопию вместе с женой и малышкой-дочкой.

А вот с Антоном Анатольевичем, тем самым «младшеньким», сводит меня судьба на операционном столе в клинике профессора С. Н. Федорова.

Стараюсь подбодриться разговором с бородатым симпатягой в белом халате. Он ассистирует профессору при операции. А зовут его доктор Аграновский. Антон Анатольевич. Здороваясь, он между делом передает мне привет от отца. И сразу в стерильном холоде операционной мне становится как-то теплей. Оказывается, «младшенький», недавний кузнечик в коротких штаниках, будет отныне моим лечащим врачом, опекуном моей судьбы.

Итак, страхи мои вроде бы улеглись. Особой боли, благодаря местному наркозу, не ощущаю. И, верный старому репортерскому навыку — замечать при любых обстоятельствах детали поведения знаменитых людей, я слушаю английскую речь Святослава Николаевича Федорова. Речь, обращенную в передающую телекамеру. Уверенно орудуя своими «ножами булатными» в моем многострадальном глазу, профессор комментирует ход операции для зарубежных гостей, сидящих сейчас перед экраном телевизора в нижнем этаже клиники.

На следующий день Святослав Николаевич навещает меня в палате, участливо спрашивает:

— Ну, как чувствовали себя вчера?

— Прекрасно, профессор,— отвечаю,— временами казалось мне, что я член ООН и присутствую на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке.

Федоров, довольный, смеется:

— Так держать!.. Всегда будьте верны юмору... Да, кстати, выйдете из больницы, встретитесь с Анатолием, сообщите ему эту шутку, может, и вставит ее в какой-нибудь свой опус...

Конечно, закономерно, что врачебную профессию избрал себе юный Антон Аграновский. Еще бы — он пошел по стопам деда. Как не вспомнить, что врачебным дипломом владел еще Абрам Давыдович, отец Анатолия. Фельетонист и очеркист «Правды», «Известий», он принадлежал к самому старшему, самому первому поколению советской журналистики, славной когорте, в которой были М. Кольцов, Д. Заславский, А. Зорич, А. Гарри, М. Розенфельд и другие. Они стали учителями-наставниками для моих сверстников, для тех, кто, взявшись за перо в первой пятилетке, затем прошел Отечественную войну.

Не будет преувеличением сказать, что Анатолий в самом прямом смысле принял от отца нелегкую эстафету солдата слова. Хорошо помню лето 1950 г. (я работал тогда в «Огоньке»). От нашей редакции уезжал Абрам Давыдович на Урал в последнюю свою командировку. А на страницах «Литературной газеты» все чаще появлялось имя его сына, молодого репортера Анатолия.

Преемственность поколений проявилась в этой журналистской династии необычайно ярко. Она сказывалась не только в литературном мастерстве, но в той высокой гражданственности, в том искреннем и глубоком гуманизме, с которыми вслед за отцом выходил на газетную полосу

сын. Природная одаренность и редкое трудолюбие помогли ему быстро вырасти от рядового репортера до ведущего публициста страны.

Дружить с хорошими людьми, активно влиять на их судьбы, помогать прогрессивным начинаниям и обязательно добиваться действенных результатов — таков стиль публициста Аграновского. В этом, я сказал бы, его жизненное крéдо.

Темперамент бойца — врожденное свойство характера — непрестанно двигал его на поиски новых и новых тем, помогал быстро и безошибочно ориентироваться в сложнейших проблемах, вчера еще и вовсе не возникавших, сегодня насущных, а завтра требующих умного продуманного решения.

Для коллег-журналистов, товарищей по профессии, независимо от их возраста он был непререкаемым авторитетом, учителем в мастерстве, хозяином доброго и честного слова — наш Мэтр.

И. ГОЛЕМБИОВСКИЙ

«Состояние умов — вот что занимает меня...»

Двадцать два года назад Анатолий Аграновский, специальный корреспондент «Известий», опубликовал очерк «Разговор с примитивным меркантилистом». Опубликовал со второй попытки, что его коллег несколько озадачило, поскольку уже тогда он был признанным лидером не только у себя в редакции и печатался обычно чуть ли не под аплодисменты. А тут с вечера, когда верстался следующий номер, его пятьсот петитных строк еще под старым заголовком «Разговор с фининспектором о прозе» повергли людей, ответственных за газету, в глубокое смятение.

Наутро очерк сняли.

Корреспондента посылали писать о передовом опыте строительства Уфимского завода синтезспирта, по тем временам одного из крупнейших в мире. Он же привез разгромный материал. Да, завод построили быстро, но три года он не мог выйти на проектную мощность. Как это вышло? Почему? — пытался выяснить журналист.

Дело оказалось в том, что одновременно с заводом должна была строиться опытно-промышленная установка стоимостью в миллион рублей, на которой предстояло отработать технологические процессы не только, кстати сказать, для уфимского гиганта, но и для других строящихся предприятий. Но установку решили не строить. Сэкономили миллион рублей. И ходил он по сводкам, отчетам и рапортам как достижение, как предметный образец разумного хозяйствования и нескончаемой заботы о государственных интересах.

Аграновский доказал обратное. Он посчитал расходы за те три года, что ушли на освоение технологии,— они в девять раз перекрыли экономию, и она превратилась в бессмысленную растрату средств, времени и человеческих сил.

Шел октябрь 1964 года. Время было сложное. Отходило целое десятилетие, когда экономику страны качало из стороны в сторону и валы волюнтаризма бросали ее то на пороги сплошной химизации, то выплескивали на необъятные

просторы тотального кукурузоводства, но оставался еще целый год до того, как умами завладели идеи экономической реформы. И такой поворот событий в очерке Аграновского застал редакторские умы врасплох. Сурова и неожиданна оказалась правда, но аргументы автора были столь весомы, что спустя месяц ее все-таки напечатали.

Понадобился месяц, чтобы согласиться с Аграновским, два десятка лет, чтобы оценить, как далеко он заглядывал вперед. Под его пером уфимский случай стал явлением жизни, к сожалению, пустившим крепкие корни. «Мне объяснили экономисты: по-ученому это называется примитивный меркантилизм. Или наивный меркантилизм — стремление во что бы то ни стало взять сегодня рубль, даже если завтра потеряешь на этом десять рублей».

В рабочем блокноте с записями об Уфимском заводе поражают точность и беспощадность анализа: «Финансисты подходят к народному хозяйству, как браконьеры. Если можно сегодня получить гривенник — дай! Браконьерский подход. Нас разоряет дешевая оплата труда. Отсюда брак, калымничество, взятки. А какой нравственный урон! Невосполнимый! Урон от водочного производства — расхлябанность, беспорядок, катастрофы...»

Чуть дальше у него помечено: «Прочесть: Ленин, том 35, стр. 468».

Еще дальше: «Вернуться к ленинским принципам хозяйствования — хозрасчету и материальной заинтересованности».

И уже потом все отливается в заключительные строки очерка в газете: «...на новом этапе нашего движения вперед партия требует не общих разговоров об экономике, а серьезного научно обоснованного использования экономических рычагов — хозрасчета, цены, прибыли, материальной заинтересованности».

Напомню: это было написано 22 года назад.

Аграновский любил слово «публицист», себя называл публицистом, когда речь заходила о жанре, в котором он работал. Он много размышлял о роли журналиста в обществе, считал: «Корень публицистики — убежденность автора. Идейная убежденность. Лучшие выступления рождаются, когда журналист мог бы воскликнуть: «Не могу молчать!» Худшие — когда «могу молчать».

Сам он не умел молчать. Он брался за темы, от которых содрогались даже самые стойкие редакторские души, за проблемы государственных масштабов, и после его выступ-

лений принимались правительственные решения. Многие годы назад он писал о задачах, которые сейчас горячо занимают страну. Он писал, к примеру, о дефиците гласности, когда точное и всестороннее знание о том, что происходит на Ямайке, почиталось достаточной степенью информированности, тогда как события на заседании месткома оставались тайной за семью печатями.

«Не могу молчать» — и он предавал гласности факты, как бы горьки они ни были. Он занимался фактами, но писал о явлениях жизни. Всегда честно, всегда остро. Убеждениями не поступался, умел постоять за себя. Не шел на компромисс, не соглашался с высоким, но сомнительным для него мнением. Никогда не писал на потребу, писал на злобу дня, открывая скрытый смысл событий и угадывая движение жизни на много лет вперед. И ни разу между тем не подвел всех трех главных редакторов правительственной газеты, которым довелось работать с ним.

Аграновский трудился, как рудокоп, сказал о нем коллега, известный журналист. И вправду, он буквально вгрызался в тему, перемалывая массу пустой породы ради драгоценной истины. Как никто другой, он ценил пользу сомнения. Десятки, сотни раз он проверял свои мысли на людях, о которых писал, на друзьях, коллегах, не тая своих намерений, искал встреч с противниками, шел к государственным деятелям, и они охотно принимали его.

Над иными темами он работал годами, но что, наверное, непонятней всего, никогда не жалел этих быстротекущих лет. Садился за машинку, когда был уверен, убежден в своей правоте. Его последний очерк «Сокращение аппарата» был опубликован посмертно в мае 1984 года. Первые записи по теме были занесены в блокнот за 15 лет до публикации.

Но предоставлю хронологию самому Аграновскому,— даже в заметках на скорую руку виден характер: «Тема очень старая, древняя. В моих блокнотах — 1969 год. Тогда еще хаживал в Комитет народного контроля...

Зап. книжка № 67— стр. 88, и
1971 г.— стр. 251.

Сейчас вроде бы наметился первый робкий успех в Министерстве пром. строительных материалов СССР...

Была об этом заметка набрана «После проверки» — сняли из номера, дали мне.

Займусь?

Возвращался к теме в 1975 году — записная книжка № 76.

Спросили у одного мужичка: можно ли сократить аппарат?

Ответ: — Можно, змеевик будет длиньше...

Анекдот, как ни странно, верен, хотя речь не о самогонке.

«Натуральный факт в мистическом освещении» — Н. С. Лесков... Взять одно министерство, скажем, за 15 лет, за три пятилетки. Исходное штатное расписание, исходный фонд зарплаты... За 15 лет сокращено каждый год по столько-то процентов. И денег —столько-то миллионов...

Фактически аппарат стал больше, фонд возрос».

Приходится просить прощения у читателей за столь длинную цитату, но она дает ясное представление, о чем собирался писать Аграновский. Он не успел закончить очерк. Но несколько готовых страниц, громадный справочный аппарат, отдельные заготовки из записных книжек были настолько значительны, что «Известия» рискнули опубликовать незавершенную работу.

Последняя деталь, дающая представление о масштабе специального корреспондента Аграновского. Готовя материал к печати, «Известия» столкнулись с обилием цифр, источники не всегда удавалось определить. Редакция обратилась в ЦСУ СССР с просьбой проверить их. Гранки вернулись через неделю с официальным сопроводительным письмом и без единой поправки.

Точность — непременная доблесть журналиста, но не главная, однако. Больше всего в журналистике Аграновский ценил мысль. Публицистика, считал он, призвана будить общественную мысль. Мысль, вынесенная на обозрение читателей, мысль, понятая ими, не может не вызвать благотворной работы в ответ. Цепная реакция осмысления жизни и двигает в конечном итоге прогресс.

«Состояние умов — вот что занимает меня»,— писал Аграновский в одном из очерков, определяя свою главную задачу. С этой точки зрения он много преуспел, воздействие его очерков на умонастроения, на души людей было поистине велико. Об этом свидетельствовали тысячи писем в редакции практически после каждого его выступления. Вспо-

минаю признание ученого-биолога Р. Буруковского, героя очерка «Факел, который нужно зажечь», сказавшего, что работа Аграновского заставила его «многое переосмыслить, решить для самого себя очень важные вещи и в какой-то степени руководствоваться этим в своей жизни».

Обращение к уму и сердцу людей, непримиримость к изнанке жизни — на этом держалась русская демократическая революционная публицистика. Для меня Аграновский был и остается прямым наследником этих прекрасных традиций. Он был мыслителем, не страшно сказать это слово, ибо в каждом его очерке звучала выстраданная мысль и гражданская страсть. О нем, быть может, лучше всего сказать его же словами из объяснения в одном очерке понятия российской интеллигентности: «Понятие это помимо общей культуры, помимо тонкости душевной включает в себя и высокое сознание и общественную активность — качества, которые человек подтверждает всю жизнь и всей своей жизнью».

Изредка мне приходится встречаться с зарубежными журналистами. Среди прочего они, как правило, осведомляясь о характере советской печати, не забывают между тем обвинить в безликости нашу журналистику. В ответ мне хочется спросить, хотя, быть может, это и некорректно: а читали ли вы Аграновского? Не хочу ни с кем сравнивать, но столь яркая личность, как Аграновский, с его талантом, целеустремленностью и бесстрашием, составила бы изрядную славу любого издания в любой точке мира.

Я пишу о человеке, с которым в одной редакции работал двадцать лет. Знал его, кажется, достаточно хорошо. Но и сейчас, спустя почти три года, как его не стало, я спрашиваю себя: в чем была его сила? А от него действительно веяло спокойной, уверенной, почти магнетической силой.

Аграновский был человеком, теперь я понимаю, твердых убеждений. Говорю не об общих понятиях добра и зла; его убеждения стояли на прочном, земном основании, если говорить коротко — ленинское понимание творческой природы социализма. Нравственную закалку он прошел в тяжкие, но полные веры и энтузиазма тридцатые годы, война его сделала мужчиной. Он был патриотом в широком и лучшем смысле этого слова, и путь, отмеренный ему судьбой, прошел, как многие его герои, с «отвагой и весельем победителей».

Смерть всегда безвременна, но сегодня особо остро сознание невосполнимости потери. То, о чем он писал, за что он боролся, становится фактами жизни. Сегодня, когда динамика перестройки общественного сознания и общественной жизни, одолевая инерцию и рутину, все еще сталкивается с иными умами, по-прежнему пребывающими в состоянии неоправданного покоя, мысль и перо Аграновского были бы полезнее, чем когда-либо. Хотя очерки Аграновского, перечти их заново, по-прежнему злободневны. Хоть бери и печатай!

Евгений ВОРОБЬЕВ

Репортаж на папирусе

Африканское лето вступило в свои права уже 7 мая, зной день ото дня усиливался. А когда ртутный столбик поднимается выше цифры 40, каждый добавочный градус ощущается во всей его беспощадной силе. В такие дни быстро высыхает мокрая повязка, ею обмотана голова под тропическим шлемом. Любой термос с подкисленной водой кажется недостаточно емким. Будто тоньше стали подошвы, которыми ступаешь по раскаленным камням.

Мы начинаем охотиться за спасительной тенью и торопимся к себе во второразрядный отель, как если бы нас ждал там аэрокондишен. Увы, в наших комнатах его не было.

Мы наскоро поужинали; поели бобов, запили их ароматным египетским кофе. А перед тем как разойтись по комнатам, Анатолий оповестил:

— Товарищи, важная информация! Поступил приказ. Нам всем запрещено писать в своих очерках, что «Каир — город контрастов». Надеюсь, нарушителей не будет. И пожелаем друг другу спокойной ночи...

Вот не думали мы с Анатолием, что через несколько часов встретимся в душевой нашего этажа. Оказалось, душ — средство от бессонницы. Анатолий уже знал, как им здесь пользуются. Под холодный (точнее сказать, теплый) душ надо встать, завернувшись в простыню. Ни в коем случае не вытираться, а лечь спать, не снимая мокрой простыни. Когда она высохнет, сон у приезжего с севера улетучится. Часа через два рекомендуется новое омовение в простыне...

Но речь не о том, чтобы как-нибудь перемочься, скоротать ночь, пересидеть нестерпимый зной в тени. Нужно еще не потерять работоспособности! А вчера кто-то слышал по радио, что в Асуане жарче, чем в Каире.

Шесть советских писателей держат путь на юг, на стройку Асуанской плотины: Сергей Залыгин, Николай

Атаров, Анатолий Аграновский, Юрий Корольков, Игорь Забелин и автор этих строк.

Нам досталось на шестерых только четыре билета в вагон с аэрокондишеном. Разыграли билет на спичках: неудачниками оказались Атаров и Аграновский. Но завидовать было некому; тут же выяснилось, что и в привилегированном вагоне аэрокондишен не работает. Равноправие восторжествовало!

Познания всех шестерых писателей в английском языке были нищенскими. Вот, например, как я пытался выполнить просьбу соседей по купе и представил им Сергея Залыгина. В записной книжке Анатолия я нашел запись моей беспомощной рекомендации: «Русише райтер Серж Залыгин бук оф сибириен феллахи гран ривер Иртыш сибириен Нил». Так был представлен прекрасный роман «На Иртыше» про коллективизацию. Самое смешное, что попутчики поняли меня и поклонились Залыгину.

Каждому строителю дано счастье увидеть дело рук своих. Кто равнодушно пройдет мимо воздвигнутого им дома? Не оглянется с гордостью на смонтированную им телевизионную башню, хранящую следы его умелых рук?

И только гидростроители этой радости лишены: вода навсегда скрывает даже самые великолепные сооружения. Лишь фотобумага, кинопленка, кисть или карандаш художника помогают сохранить в памяти то, что навсегда скрылось от взгляда.

Мы задумались и заговорили об этом с Анатолием, когда стояли в гранитном котловане; вот-вот он станет дном Нила. Остались считанные часы. Завтра все изменится на веки вечные. Те, у кого были фотоаппараты, прилежно щелкали затворами. Хлопотали киношники, спешили запечатлеть друг друга и пейзаж, уходящий под воду. Вода заполнит глубокую выемку в скале, образуется лагуна новорожденного Асуанского моря.

Туристы, те, кто слышал о Долине царей или побывал в величественных храмах Луксора, в Карнаке, в Мемфисе, знают об асуанском граните. Из него высечены колонны, статуи, обелиски, порталы, гробницы, лестницы в пирамидах, принадлежащие самой вечности.

— Оказывается, гранит крепче стали,— сказал Анатолий, приглядевшись к ковшу экскаватора.— Стальные

зубья сработались в несколько месяцев. Стерлось до дыр днище котла, которым скребли по граниту. А какие глубокие царапины! Гранит снял со стенок ковша стальную стружку.

Все мы должны благодарить судьбу,— нам посчастливилось погулять по сухому руслу Нила, мы познакомились с героями легендарной стройки.

Последним со дна морского эвакуировался экскаватор машиниста Владимира Алехина. Уже поднялись по высоким железным лестницам, приставленным к отвесному берегу, строители в белых галабеях и повязках; их голые ноги настолько черны, что кажется, на них надеты черные чулки.

А через несколько дней море в гранитных берегах заполнилось водой. Теперь у Нила хватит сил вращать шесть гидротурбин, хватит сил дополнительно орошать сотни и сотни тысяч федданов издревле пустынной земли; бесплодный песок или выжженный солнцем ил станет почвой, его коснутся лемех плуга и руки феллахов. Земля, иссушенная до глубоких трещин, утолит жажду, накопившуюся за много веков.

— Как ты думаешь, кому из строителей больше всего достается в такую майскую жару? — спросил Анатолий.

— Тяжелее всего машинисту самосвала, экскаватора, бульдозера. В его кабине еще пышет мотор,— сказал я самоуверенно.

А через несколько дней Анатолий продолжил разговор об условиях самой жаркой, трудной работы. С видом заговорщика он подвез меня на «виллисе» знакомого прораба к сварщикам огромной стальной трубы, ее прокладывали в пустыне.

По трубе этой гонят пульпу — намывают песок в тело плотины. Каждое звено длиной в 12 метров, а соединить звенья трубы — сварить шов и изнутри, согнувшись в три погибели в раскаленной трубе, и снаружи. Дотронешься до трубы голой рукой — сильный ожог. Достаточно разбить о трубу сырое яйцо — мгновенная яичница!

И все же Анатолий выпросил у кого-то из наших брезентовые рукавицы, заставил себя залезть в эту циклопическую трубу, внимательно и неторопливо наблюдал за работой нашего сварщика в этих условиях.

Намного больше времени провел Анатолий в последующие дни на речной пристани, на катере, где обосновались водолазы, где начальником хлопотал водолаз 1-го класса, старший инженер водолазных работ приветливый Валентин Чистяков. С этого катера водолазы отправлялись в свои подводные «прогулки». Впрочем, назвать эти небезопасные рейсы на дно Нила «прогулками» весьма неточно. Наша «подводная гвардия» была занята каким-то монтажом конструкций. Здесь Анатолий познакомился со специалистами, которым довелось «купаться» в Эгейском, Мраморном, Средиземном, Каспийском морях, вести спасательные работы в Бискайском заливе и в Батумском порту. Опытные водолазы говорят о себе шутя, что они «всю жизнь прожили в сырости и на ощупь».

Нетрудно представить себе всеобщую тревогу нашей «пятерки», когда Анатолий осведомил нас о том, что решил испытать себя «в шкуре водолаза», то есть в скафандре. Несколько человек пытались отговорить Анатолия от этой небезопасной, при отсутствии опыта, затеи. Особенно горячо убеждал Анатолия Юрий Корольков, бывалый и смелый человек. Он был одним из первых парашютистов среди журналистской братии в Москве. Будучи корреспондентом «Комсомольской правды», плавал матросом на пароме, который нужно было протащить на буксире из Балтики куда-то в Тихий океан, кажется, в Сингапур. Не удалось отговорить Анатолия отказаться от рискованной «прогулки» и Николаю Атарову вместе с ученым гидрологом Сергеем Залыгиным. Насколько мне помнится, Анатолий готовился сделать документальный фильм о водолазах, а для этого он считал обязательным на время расстаться с твердой землей, то есть с сушей.

Кончилось дело тем, что я решил сопровождать Анатолия на пристань, где дислоцировались наши подводники. Запомнились два водолаза — Николая: Обуховский из Одессы и Оксаненко из Ленинграда. Перед взрывом перемычки на плотине работы было особенно много. Накануне Николай Обуховский проработал под водой 2 часа 10 минут да еще два часа подымался наверх. Михаил Бычков на вопрос Анатолия ответил, что сегодня он весит во всем снаряжении 104 килограмма, и неожиданно добавил (Бычков вообще-то молчалив): «Если бы Плисецкая вздумала танцевать в моем костюме — не видать бы ей Ленинской премии». Анатолий с удовольствием рас-

смеялся и записал «афоризм» в свой трудоемкий блокнот с тиснением «Известия».

Не стану описывать своих наблюдений, переживаний, связанных с погружением Анатолия. Я сидел, свесив ноги за борт катера в том месте, где с сушей распрощался Анатолий. Лишь пузыри воздуха на зеленоватой поверхности Нила указывали местонахождение водолаза-новичка.

Значительно интереснее привести запись из блокнота, которую сделал Анатолий после того, как снял с себя все медные, резиновые и прочие доспехи.

«Пудовые ноги. Груз вдавливает веревки в плечи. Встать мне трудно. Волочу ноги по палубе, спускаю левую ногу по трапу (лицом к катеру, задом к воде). Боюсь упасть в воду.

— Опускайтесь в воду, попробуйте клапан... так... привыкайте, не спешите... Воздуху хватает? — веселый голос ленинградского Николая.

В общем, клапан оказался не так страшен, как мне казалось. Надавишь его затылком, и лишний воздух с шипением выходит. Задержишь воздух — надувается скафандр. Выпустишь излишек — рубаха, начиная с низа, «обжимает» тело.

Я на дне. Вода желтоватая, сомкнулась над головой, ниже — темнее, слабо пробивают ее солнечные лучи... Я становлюсь по команде боком. Боком мне удается передвигаться довольно ловко, отталкиваюсь от дна ногами, отгребаю рукой... Совсем темно. Не знаю — где катер, где берег. Ощупал илистое дно... К катеру меня тащили на веревке».

К подъему Анатолия подоспел Михаил Викторович Калашников, которого недаром называли «адмиралом Нила»,— в его подчинении были все капитаны наших катеров, все водолазы. У меня сложилось впечатление, что Анатолий и Калашников уже встречались на стройке какой-то гидроэлектростанции на родине. Жил Калашников в Волгограде, возможно, что их приятельство окропила еще волжская вода. Когда Анатолий выказал желание совершить погружение и прогуляться в скафандре по дну Нила, ему пошел навстречу дружелюбный Калашников.

У Анатолия не было желания похвастаться перед нами, спутниками по командировке, своей смелостью, не было и профессионального чванства.

Но налицо был веселый азарт талантливого журналиста, до самозабвения влюбленного в свою профессию и убежденного, что настоящему писателю очень полезно, даже необходимо, когда есть к тому хотя бы малейшая возможность, побывать в шкуре того, о ком он собирается писать.

Я же, как старший товарищ по профессии, считал для себя невозможным оставить Анатолия одного в обществе полузнакомых работников водолазной службы и дождался той минуты, когда Анатолий наконец-то показался над водой, когда отвинтили шлем, сняли медную манишку, отсоединили животворный резиновый шланг и Анатолий досыта наглотался горячего египетского кислорода, надел снова тростниковый шлем. Стерлись из памяти детали его переодевания, помню только, что помог расшнуровать его свинцовой тяжести «галоши» с квадратными носами — сперва одну «галошу», затем другую...

Но ясно вижу его усталые, бесконечно счастливые глаза...

— Твой последний сценарий документального фильма о летчиках-испытателях получился неплохо,— попытался сострить я.— Но у киношников есть и другие профессии, которые ты еще не освоил. Почему бы тебе не поработать каскадером в приключенческом фильме? У них там еще не все трюки освоены...

— С меня причитается двадцать пиастров,— рассмеялся он охотно.— А трюки мы еще освоим, если будем живы...

В ту минуту я подумал, что если бы Анатолий был поближе к моему уже тогда почтенному возрасту и успел к войне с фашистами хотя бы новобранцем, он бы наверняка лез на фронте в самое пекло, не уступая Константину Симонову...

На второй неделе жизни в Асуане меня подстерегла почти фантастическая встреча. В столовой у плотины, где мы обедали в тот день с Анатолием, араб-переводчик спросил у меня: не бывал ли я в сибирской России, в городе Братске? Я согласно кивнул. Тогда к нам подошел машинист экскаватора, он показался знакомым. Махмуд Хасан был в числе механизаторов, проходивших в Братске практику. Остается гадать, как ему удалось меня узнать! Виделись там всего раз, обменялись несколькими фразами через переводчика.

Анатолий был радостно возбужден, назвал этот случай счастливым.

— Очень важно рассказать не только о том, как здесь к нам относятся арабы, но в какой атмосфере они жили на Ангаре. Вторая грань контраста! Другой климат! Другой уклад жизни! Другое мироосязание! Другой рацион! Только подумать!

Признаюсь, я не почувствовал, как красноречиво может предстать перед читателями сопоставление молодых людей из двух разных точек планеты, занятых одним делом. А Анатолий засыпал переводчика вопросами.

Летел Махмуд Хасан в Россию безбоязненно. Слышал, там живут справедливые и добрые люди. Но сильно смущали сибирские морозы. Ему сказали, что лед там лежит большими глыбами, даже горами. А он пока видел лед только в холодильнике. Улетал осенью, родственники собрали все теплые вещи, какие только нашлись. В Каире впервые в жизни надел пальто, впервые сел в самолет. Хорошо запомнил день, когда впервые увидел снег. И слова такого — «снег» нет на арабском языке, только «лед». Впервые надел меховую шапку, пощупал теплую батарею в общежитии. На всякий случай добрая кастелянша Алексеевна выдала ему три одеяла. Их предупредили еще в Каире: в России легко можно отморозить нос и уши. Если побелеют — оттирать снегом. Вот почему будущие механизаторы так часто поглядывали друг на друга и просили: «Посмотри на мой нос. Белый?» С удовольствием ели черный хлеб, не подозревали, что хлеб бывает черного цвета. Ну, а позже, зимой, Хасана можно было увидеть и на катке, на лыжной прогулке. Накануне Нового года советский Дед Мороз подарил ему электрическую бритву. А когда пришло время возвращаться на родину, они оставили в Братске все теплые вещи. Хасан увез на память только шапку с длинными ушами.

Махмуд Хасан церемонно раскланялся, неожиданно сказал по-русски «пока!» и поднялся в кабину своего экскаватора.

Переводчик похвалил его, сказал, что работает неплохо, но в последнее время стал нарушать законы религии: в праздник рамазан[1], в девятый месяц лунного магоме-

---

[1] Девятый месяц мусульманского лунного календаря, когда мусульмане соблюдают строгий пост от восхода до захода солнца.

танского года, обедал вместе с русскими. Аллах не разрешает есть днем, начиная с того момента, когда возможно отличить белую нитку от черной, и до захода солнца. Хасан Махмуд подымал как можно выше свой ковш, залезал в него по стреле. Ел там фасоль, даже курил — переводчик замечал табачный дымок над ковшом. А Хасан уверял, что через железную стенку аллах не видит и не рассердится на него. Работать хорошо на пустой желудок Хасан не может...

Анатолий подробно записал беседу с Хасаном. Когда-то Анатолий ратовал в полемике со мной за строгую документальность очерка. А сейчас преподал мне урок живописания характера в его динамике и в противоречиях нравственного свойства, религиозных предрассудков...

Мы оба надолго запомнили трагическое происшествие, которое случилось в праздничный день рождения плотины, когда оба берега Нила разъединял лишь маленький ручеек, через него можно было перепрыгнуть, не замочив сандалий.

Нарядно украшенный теплоход «Лотос» отчалил от пристани, перегруженный сверх меры экспансивными, самоуправными пассажирами. На палубе некуда было яблоку упасть, и в этой сумасбродной оглушающей толкучке араб, стоявший у самого борта, оступился и упал в реку. Крики, вопли. Кто-то из наших строителей скинул куртку, хотел стянуть с себя все, разуться и броситься за тонущим. Но арабы оттащили его от края палубы: нельзя нарушать волю аллаха, это аллах столкнул араба в Нил. В минуты, когда на палубе шла возня, другой наш парень, в тельняшке, рванулся сквозь орущую толпу, нырнул в воду и успел вытащить араба, уже потерявшего сознание. Наши помогли подняться на палубу спасенному и его спасителю. Парня в тельняшке увели в каюту. Скорее растереть тело спиртом и обезопасить купальщика от мелких пиявок, которые быстро всасываются в кровь.

Арабы воспользовались потерей бдительности у наших и в фанатическом исступлении сбросили спасенного в воды священного Нила, где он и утонул.

Тяжелое впечатление осталось у нас от этого варварского самосуда. Лишь за несколько дней до этого случая на нашей автобазе едва не погиб молодой араб. Порывом сильной бури опрокинуло столб высоковольтной линии

электропередачи. Проходивший мимо арабский юноша, завтрашний шофер, наступил на провод. Его сильно ударило током, но кто-то в резиновых перчатках с трудом оторвал юношу от смертельного провода. Но тут юношу обступили арабы, не позволяя подойти к пострадавшему,— «воля аллаха». Дело едва не дошло до драки. Арабов решительно выставили за ворота автобазы. Юноше долго делали искусственное дыхание и вернули к жизни. Через несколько дней он вышел на работу.

В то же время аллах совершенно равнодушно взирал на то, как здоровенный детина Абуд и его такой же тучный младший брат, но несколько меньших габаритов, заставляли за нищенскую оплату работать три тысячи чернорабочих-рагилей, присваивали себе пятую часть их заработка. Мальчики, которым перекормленные братья платили всего 25 пиастров в день, от голода не могли заснуть. А у каждого переносчика земли, у каждого, кто не знает другого инструмента, кроме мотыги, или переносит землю в корзине, братья присваивали половину египетского фунта.

В связи с сооружением плотины египетское начальство объявило, что всем рабочим будет выдан «бакшиш» — вознаграждение в размере полуторамесячного заработка. Но размер премий был в итоге чьей-то канцелярской самодеятельности пересмотрен. Кому-то заплатили обещанную сумму, но большинство обсчитали — выплатили месячный заработок, а то и двухнедельный. Это вызвало волнения среди рабочих-рагилей. Многие забастовали, едва не возникли серьезные беспорядки. По стройке пошел гулять слух: «бакшиша» потому не хватило, что русские специалисты забрали его себе. Иные этому поверили, хотя наши товарищи никакого отношения к заработкам арабов не имели. Строители, обманутые Абудом и другими, вооружились палками, кольями, опрокинули автомашину, в которой ехали советские специалисты с работы.

— Наверное, это первая забастовка со времен Хеопса,— усмехнулся Анатолий, стоявший рядом со мной и тоже сохранявший полное спокойствие.

Нас, шесть писателей, командировали с заданием: выпустить сборник очерков о строителях Асуана — арабах и наших. Но в высоком учреждении не понравились критические нотки, которые прозвучали в конспектах, планах наших материалов. Кому-то хотелось увидеть сборник,

состоящий из ретушированных картинок, на которые желательнее всего смотреть через розовые очки. Будущие авторы не разделяли этой точки зрения. Многие проблемы нуждались в пристальном рассмотрении, многое вызывало критические возражения, так как розовый или голубой цвет затемнялся подчас мрачными красками. По-видимому, точка зрения большинства будущих авторов не нашла поддержки у тех, кто спешил в государстве Насера увидеть социальную идиллию. Начальству не терпелось услышать прилежное восхваление тех, кто в мае 1964 года одарил друг друга высокими орденами и славословиями.

О. ЛАЦИС

Отдаленные результаты

Никогда не думал, что писать может быть так трудно. Двадцать лет я знал Анатолия Аграновского — и вот сижу перед листом бумаги в такой беспомощности, какой еще не бывало. Может быть, все дело в том, что в моей жизни этот человек значит очень много, а рассказать о нем я умею непростительно мало. Нас не связывают какие-нибудь драматические события, вместе пережитые. Семь лет мы работали в одной редакции и встречались довольно часто, потом работали врозь и встречались реже — вот и все.

Событиями для меня были его материалы в газете — но точно так же они были событиями для миллионов читателей, никогда не знавших Аграновского лично. Я учился у него, учился почти всю свою журналистскую жизнь, еще и до первой встречи — но так же точно учились у него тысячи журналистов моего поколения, хотя большинство из них никогда с ним не встречались. Мое преимущество перед ними лишь в том, что некоторые его работы рождались у меня на глазах, о некоторых мы разговаривали.

Хотя для журналиста это не так уж и мало. Одно открытие, поначалу больше всего поразившее меня в работе Аграновского, первоначально было сделано и затем многократно подтверждено именно в личном общении. Я имею в виду время, которое он затрачивал на подготовку отдельного материала. Для газетчика первейшим признаком профессионализма было и будет умение работать быстро. В «Известиях» шестидесятых годов это особо ценилось. В первые же дни своей работы в редакции я услышал от кого-то: «За неделю и дворник напишет». Первый материал в «Известиях» — репортаж об открытии выставки НОТ на ВДНХ — мне было велено сдать в номер за два часа до того, как это открытие состоялось. Аграновский умел писать быстро не хуже других. Но поражал он тем, что умел писать медленно — как никто другой. Я не имею

в виду его сценарии или повести: беллетрист, подолгу отделывающий свои произведения,— не диво. Но я не встречал другого писателя, который бы умел столь неторопливо, как Аграновский, вытачивать предмет однодневного потребления — газетный очерк. Может быть, еще и поэтому его очерки живут так долго,— хотя, конечно, не только поэтому.

Вспомните — из «Открытия доктора Федорова»:

«А отдаленнные результаты? — сказали мне. Что станет дальше с этой девочкой? Приживется ли в глазу инородное тело? Не будет ли осложнений? Да и мало ли что... Нельзя трезвонить в печати, нельзя раздувать сенсацию, возбуждая надежды у тысяч больных людей, пока нет у нас отдаленных результатов.

— Сколько надо ждать? — спросил я.

— Лет пять...

Вот и прошло пять лет».

Не знаю, как другие, а я остановился, словно ударенный, дочитав первый раз до этого места. Черт возьми, они трижды правы были — те, кто надеялся на непреодолимость такого препятствия. Пять лет ждать! Пять лет — это полторы тысячи номеров газеты. Пять лет — для газетчика срок немыслимый. Почти для любого газетчика. Видно, его собеседники не знали Аграновского.

Поразился и я, хотя кое-что уже знал. По поводу «Бедного мотеля» он разговаривал со мной за четыре года до того, как очерк появился в газете. Многим друзьям был знаком его обычай: обдумывая материал, он не только сам с собой думал, а ходил «по кругу» и разговаривал. Нет, это было не обычное собирание фактов, деталей о том или ином событии — то шло своим чередом. А это было собирание мыслей.

Обычно нам кажется, что мыслей хватит и своих,— найти бы факты. У Аграновского своих мыслей хватило бы на дюжину неплохих публицистов — он искал еще. У него был свой круг людей, обычно хорошо ему знакомых,— скорее, это был даже не один круг, а несколько, в зависимости от темы,— с которыми он советовался: что ты думаешь по такому-то вопросу? Мог прийти просто с блокнотом, а мог — и с начатым материалом. Прочитает сам вслух несколько страниц и спрашивает — как? Верно ли? Что бы ты добавил? А когда материал появлялся в газете, я уже знал: сегодня непременно зайдет Толя и спросит:

«Ну как? а ты видел — я твою строчку вставил, что ты мне в тот раз сказал?»

Я и другое видел: от читанных в тот раз страниц, мною всячески одобренных и ему, кажется нравившихся, почти ничего не осталось, все переписано заново. Перечитывая вслух эти страницы, он, видимо, больше всего сам их слушал и был придирчивее всех прочих слушателей.

Пишущий газетчик работает почти всегда один. В редакции, где все мы бываем вместе, не увидишь ни как товарищ берет материал, ни как он пишет. Было два случая, когда я мог наблюдать Аграновского в работе.

Первый случай был в Праге в семьдесят втором году. Я работал там в журнале «Проблемы мира и социализма», в отделе социалистических стран. Аграновского пригласили из Москвы написать для журнала очерк как раз по этому отделу. Он съездил из Праги в Венгрию, изучил там работу местных Советов, вернулся в Прагу и принялся писать. Предполагалось, что и редакции будет спокойнее, и ему удобнее написать именно в Праге, сразу, до возвращения в Москву.

Через день-два он сказал, что материал не пишется,— не вылежался еще. Мы с товарищами по редакции стали его убеждать, что обычная его тщательная отработка здесь не требуется, что в этом журнале форма изложения большого значения не имеет,— все равно материал переведут потом на двадцать три языка, а Советский Союз — лишь одна из ста сорока стран, где его будут читать.

Тогда Аграновский сказал, что он устал и глаза болят,— тяжело писать. Я видел, что он и в самом деле устал после многократных переездов с места на место, знал и то, что с глазами у него было тогда плохо. И предложил ему поработать его подручным: запремся в моем кабинете, я сяду за машинку, он будет диктовать, я — записывать. Аграновский согласился.

Несколько часов мы так работали. Время от времени он просил перечитать написанное. Я читал с удовольствием, у меня было искреннее впечатление, что идет «хороший Аграновский». Под конец и он не очень уверенно сказал, что вроде бы получается. Назавтра решили продолжить, и я совсем успокоился.

Назавтра утром, когда мы встретились в редакции, Толя

твердо сказал, что вечером перечитал написанное и что все это никуда не годится. Он поедет в Москву, там все напишет и пришлет.

Материал из Москвы он прислал довольно быстро, интересы редакции не пострадали. Очерк о работе местных Советов Венгрии появился в двенадцатом номере журнала за 1972 год — прекрасный очерк. Но теоретический журнал предъявляет свои требования, написать полностью в привычном ему стиле Аграновский не мог. Он взял один эпизод из материалов той поездки и развернул его в большой газетный очерк. «Поездка в Шопрон» была напечатана в «Неделе» в начале 1973 года.

В тот раз я понял, что Аграновский не может и никогда не станет писать ниже определенного уровня, который он сам ощущал как свой настоящий уровень. Не станет, сколько бы ни объясняли ему про перевод на двадцать три языка или про другие извинительные соображения. В этом, по-моему, одно из важных свойств явления, именуемого Анатолием Аграновским: он всегда Анатолий Аграновский, в каждой своей строчке. Я знаю публицистов, которым случается иной раз написать на таком же хорошем уровне, а случается — хуже. Он — не мог хуже.

Кому-то может это показаться не таким уж удивительным, даже само собой разумеющимся: разве может работать иначе настоящий писатель? Но надо помнить, что он был не просто писатель. Он был писатель редкой и крайне трудной специальности: писатель в газете. А в газете предъявлять к себе всегда одинаково высокие литературные требования почти невозможно. Я бы сказал просто «невозможно», без «почти» — если бы не Аграновский.

Существует легенда, что так работают те, кто завоевал себе особое положение, кто освобожден от черной работы в газете. Бывает и так. Но я имел возможность убедиться, что здесь был другой случай. Хотя редакция, конечно, понимала, как нужно использовать его способности. Да ведь грамотный редактор всегда различает, какому сотруднику какие давать задания,— это относится не только к ведущим. Но главным остается — как сам пишущий относится к своему делу. Аграновский был как мастер с личным клеймом на заводе: все знали, что он сам себе главный контролер. И сам себя от черной работы не освобождал никогда. Я всегда знал, что это так, даже наблюдая его работу со стороны. Но только сейчас начинаю по-

нимать, какая бездна труда предшествовала полету пера.

Вот лежит передо мною блокнот, на первой странице которого цифра 71 (это порядковый номер блокнота), заглавие — «Поездка в Венгрию» — и дата: 1972. Руда, из которой выплавлен один очерк Аграновского — не самый объемистый, не самый громкий, как «Суд да дело», «Письма из Казанского университета» или «Иван, Гаврило и Данило». Для него, для Аграновского,— рядовой очерк. В блокноте 300 страниц, их не хватило, в конце вложена самодельная, нитками сшитая тетрадочка — всего 336 густо исписанных страниц оставила эта поездка, занявшая две недели.

Больше тридцати страниц занимают записи, сделанные в Москве, еще до того, как он двинулся в путь. Аграновский ходил к людям, знавшим страны, куда он собрался (первоначально мы думали послать его, кроме Венгрии, еще в Румынию или Польшу — в последний момент, к счастью, сообразили, что за одну поездку столько объять невозможно). Тридцать страниц — далеко не все, что записал он в тех предварительных беседах,— только экстракт. Вот как начинается запись о встрече со специалистом по Венгрии:

«Перепишу главное из этой беседы.

Своеобразие стран — учитывать... Что-то нам не нравится. Но писать о том, что *есть* в стране, а не о том, что должно бы, по нашему мнению, быть...»

Аграновский не первый раз собрался в зарубежную поездку. И в той же Венгрии уже бывал, читатели помнили «Трудную промышленность» и другие очерки с комбината «Гедеон Рихтер». Но международником он себя не числил, перед поездкой снова обстоятельно консультировался с людьми, знающими страны. Есть, скажем, страницы блокнота, предваряемые записью:

«Польша: если все-таки будет Польша (советы Ю. Пономаренко).»

Юрий Пономаренко жил в Польше несколько лет, был там собкором «Известий».

Только после девяти дней таких бесед появилась запись:

«Еду сегодня (поездом) в Прагу. Потом — Будапешт, Венгрия. Потом — Бухарест, Румыния (если это выйдет). Или — Польша.

Поездка для меня новая и странная — от журнала

«Проблемы мира и социализма». Должен буду им что-то написать. И себе («Известиям») что-то написать.

Темы:

1) Личность и общество. Рост людей. *Незаменимые*... Снова к-т «Гедеон Рихтер».

2) Соц. интеграция на новом этапе; это — отовсюду.

3) Дальнейшее развитие соц. демократии. Пути, принципы, трудности... Встречи.

Прочее — на месте».

В конце концов из трех обозначенных в его плане тем осталась одна, последняя, из трех стран — Венгрия. Но до тех пор пока это не решилось, он еще заносил в блокнот размышления о предстоящей поездке:

«В Польше: что же там сейчас делается? Связь партии с массами. Производственная демократия... Рабочий класс и партия. Сознательная дисциплина...

Бр-р-р!..»

Что означало последнее восклицание? Думаю, только одно: он не был уверен в себе перед той поездкой. Об этом говорит и запись на следующей странице: «И вообще это все мне не нравится очень» — и приведенное выше замечание о «новой и странной поездке». Незнакомая тема, незнакомый журнал, незнакомый читатель. Сотни журналистов, гораздо менее знающих, не беспокоились бы по этому поводу, полагаясь на познания собеседников. Он беспокоился: привык опираться на свое знание.

Спустя девять лет, в мае восемьдесят первого года, мы неожиданно оказались вместе на «Атоммаше». Товарищи из редакции «Знамени», поддерживающей с заводом шефские связи, предложили принять участие в двухдневной поездке в составе бригады журнала. Все, что от участников поездки требовалось,— явиться в назначенный час на Тверской бульвар, к редакции «Знамени», а потом в Волгодонске принять участие во встрече с читателями журнала. В день отъезда, забравшись в автобус, ожидавший нас у редакции, чтобы везти в аэропорт, я несказанно обрадовался, увидев среди прочих собравшихся в дорогу Аграновского.

Я всегда считал — и, думаю, не без оснований,— что бригадные поездки литераторов, при всей их нужности, непосредственно для литературной работы мало полезны. Общение с читателями — да, конечно. Но сбор материала

для будущего писания — дело сугубо индивидуальное, по-моему. Поэтому, когда перед Аграновским усадили двоих передовиков производства (отнюдь не нами избранных для беседы), я решил, что это — мероприятие парадное. Возможно, кто-нибудь из гостеприимных организаторов встречи так и рассчитывал, что оно останется парадным. Но Аграновский вытащил свой привычный толстый блокнот и явно собрался работать. Видимо, он решил — кто бы там что ни задумывал — взять от беседы все возможное. Я устроился рядом и, как мог, помогал расспрашивать, поскольку собственной задачи в тот день не имел.

Ничего особенного в той беседе не было: обычная черновая работа журналиста, скребущего бедную руду фактов, не зная наперед, какие именно крупицы добытого пойдут потом в дело. Аграновского отличало лишь необычайное трудолюбие, с каким он задал все мыслимые вопросы, ничего не упустив: откуда приехали в Волгодонск, где работали раньше, где учились, где познакомились (эти двое передовиков были муж и жена, оба из одного цеха). Спросил не только все о работе, но и о доме, о квартире, о детях. Потом как раз про детей и пригодилось, все услышанное о них пошло в очерк, но в ходе беседы это еще невозможно было сообразить. И, конечно, многое другое, о чем он так же внимательно расспрашивал, никуда потом не пошло, но он писал и писал в блокнот.

После обеда бригаде литераторов предложено было катанье на яхте по Цимлянскому водохранилищу — программа нашей работы на заводе считалась выполненной в первые полдня. Кто-то отправился на яхте, кто-то — гулять по городу. Аграновский заявил, что хотел бы еще пойти на завод, побеседовать с другими рабочими. Я решил пойти с ним. Хозяева наши сразу поскучнели, и я невольно подумал, что у них больше нет запланированных для беседы с писателями передовиков. Возражать или мешать нам они не стали, но как-то утратили к нам интерес, двинулись туда, ближе к яхте, а мы остались одни.

Через проходную, сказали нам, нас пустят, но нужен был еще провожатый в этом бескрайнем корпусе, поскольку мы хотели попасть не куда-нибудь, а в определенное место. Еще утром, при беглом осмотре завода, зацепился в памяти уникальный автоматизированный пресс усилием

двенадцать тысяч тонн, который в один проход штампует полукруглые крышки реакторов из плоского стального листа, а вернее я бы сказал — из мощной плиты, потому что какой же это лист — шестьдесят сантиметров толщиной, сто тонн весом. Оборудование это относится к классу кузнечно-прессового, и, значит, отдаленным предшественником тех, кто работает на прессе, является сельский кузнец. Вот мы и решили полюбопытствовать, какие там «кузнецы», надеясь, что тогда сможем лучше понять, что же это за такой завод — «Атоммаш».

По телефону от проходной дозвонились до цеха, за нами прислали цехового комсорга — он оказался как раз один из нужных нам «кузнецов». Всех операторов, обслуживающих разные группы оборудования пресса на разных его этажах, было, помнится, четверо. Они и показались нам настоящими передовыми рабочими (как, впрочем, и те, с которыми беседовали утром), хотя в тот момент не числились в списках передовых по причинам, от них не зависевшим. Все были молодые, комсомольцы; все образованные, не меньше техникума; все приехали в Волгодонск, оставив работу на старых прославленных заводах и квартиры в больших городах. Приехали, привлеченные надеждой на интересную работу, поскольку «Атоммаш» — особенный завод, единственный такой во всем мире. И все были в то время обмануты в своих надеждах, некоторые даже собирались уезжать. Интересной работы не было, потому что не было для их уникального пресса вообще никакой работы, год они сидели на среднесдельной оплате, а пресс только чистили да смазывали. «Атоммаш» строился тогда не очень продуманно. Что-то не самое необходимое сделали досрочно, лишь бы отрапортовать, а первоочередное, и прежде всего заготовочные цехи, еще не построили, и уже введенный колоссальный корпус, начиненный драгоценным кузнечно-прессовым, сварочным и механическим оборудованием, не работал даже в четверть силы. К тому же очень отставало строительство жилья. Съехавшиеся из разных городов рабочие высочайшей квалификации начинали разбредаться: кто уходил к строителям в том же Волгодонске, кто уезжал совсем.

Такая вот вышла у нас незапрограммированная беседа. Оставив Аграновского с «кузнецами», я полез по широкой лестнице вверх. Пресс, высотой с четырехэтажный дом, возвышается над прочим оборудованием цеха. Поднявшись

на верхнюю площадку, под самой крышей корпуса, я увидел на одной из колонн пресса автограф монтажников, собиравших эту машину. Масляной краской написаны были стихи, сочиненные пусть не мастерами пера, но, безусловно, мастерами монтажного дела, которые гордятся своим мастерством:

Монтаж теперь совсем уже окончен,
И пресс мы сдали в очень сжатый срок.
И этот подвиг трудовой запишет
В своей Почетной книге Таганрог.

Здесь потрудились новичковцы славно,
И Лебедев тут низко не летал.
Нам жалко тех ребят, кто «Атоммаша»
И в самом сладком сне не повидал...

Ясно было, что новые наши знакомые, операторы пресса, из той же породы, что стихотворцы-монтажники, и грустно, что им не повезло добраться здесь до такой же горячей работы, которая сама доставляет удовольствие, и еще более досадно от мысли, что и быстрая успешная работа тех монтажников оказалась пока ненужной. Вечером в гостинице я сказал, что после этой поездки не напишу ничего: писать только хвалебный материал после всего, что мы узнали, немыслимо, а разбираться всерьез в непорядках на заводе пришлось бы долго, у меня такой возможности не было. Аграновский молча задумчиво кивал головой, не возражая.

Но прошло какое-то время после поездки, и он позвонил мне:

— Ты знаешь, а я все-таки написал об «Атоммаше», посмотри в «Известиях».

Это сообщение меня поразило. Неужели Аграновский изменил своему обычаю? Ведь я был с ним рядом каждую минуту его пребывания на заводе. Мне доподлинно известно, что мы узнали, может быть, и очень много для одного-единственного журналистского рабочего дня, но явно недостаточно для очерка Аграновского. Я не взялся бы выкроить из этого даже простенький репортаж. И как он мог оценить виденное? Ругать? Для этого мы знали слишком мало. Хвалить? Для этого мы знали слишком много.

Но, прочитав очерк в газете, я успокоился. Это был, как всегда, «настоящий Аграновский», а мои опасения про-

исходили оттого, что я просто чуть-чуть забыл, как Аграновский подходит к делу. «Надежность» — так он назвал очерк. Конечно, это не был просто очерк об «Атоммаше» или очерк о нашей поездке. Надежность — это была очередная его публицистическая тема, с которой ходил он до того месяцы или годы, а несколько деталей, наработанных в Волгодонске, стали всего лишь последним кирпичиком в здании, давно уже выстраивавшемся в его голове. Если формально — он написал необычайно быстро. Тот наш один день на «Атоммаше» — других командировок специально под этот очерк у него не было. Самый медленный очеркист, он мог быть признан и самым быстрым очеркистом. Но быстрота его была — как у того художника в известной истории: он писал «два часа и всю жизнь». Для быстрых очерков Аграновского нужна была вся предшествующая жизнь Аграновского.

Для работы по такой методе у него была своя технология. Он писал не прямо из блокнота, во всяком случае, не только из блокнота. Брал листы бумаги и на них выписывал отдельные мысли, факты. Здесь появляются готовые фразы, которые потом лягут в текст очерка, хотя большая часть останется за бортом. Лишняя работа? Можно считать и так. Но как иначе писать очерк месяцы, годы? Ведь за это время будет бездна другой работы, и никак не удержать в голове все, что надумано по теме. Он думал с пером и бумагой — еще до того, как садился писать. На этих листках материал копился, дозревал, к ним можно было вернуться потом, использовать и для другого очерка.

Вот одиннадцать листков, соединенных скрепкой, на каждом повторено обозначение темы: «Надежность». Но это, конечно, не все, что потребовалось для очерка «Надежность». Поскольку речь шла об «Атоммаше», об атомной энергетике, туда же пошли материалы поездки на строительство Пакшской АЭС в Венгрии (о ней тоже он вспоминает в этом очерке). Под названием «Пакш» — восемь листков. Но это опять-таки не все, что взято сюда из той поездки. Беседы о современных проблемах энергетики и энергетическом кризисе — одиннадцать листков под названием «Энергетика». Под заголовком «Рабочие» (отдельно «венгры», «русские», «чехи») — еще двадцать девять. Еще и еще: «Вавилонская башня», «Столпотворение в Пакше».

Впрочем, как ни интересна техника работы мастера, распространяться о ней не хочу. Не только потому, что она

едва ли повторима (каждый пишущий пишет по-своему, технику для себя ищет сам), а главным образом потому, что сила Анатолия Аграновского — никак не в технике. Ведь не техника журналистской работы помогла ему за несколько лет до Чернобыля выбрать тему надежности для очерка о создателях оборудования атомной энергетики; не техника помогла придать критический заряд очерку о заводе, который принято было тогда описывать лишь захлебываясь от восторга.

Волгодонский эпизод напомнил мне еще один урок Аграновского — урок, над которым я размышлял и раньше, но, видно, был еще нестоек в своих убеждениях, потому и толковал тогда в гостинице, что ничего мы об этой поездке написать не можем. Речь идет о принятом — даже, пожалуй, общепринятом — делении публицистических материалов на критические и положительные. Вслед за материалами и самих публицистов нередко делят на тех, что выступают по преимуществу ругателями, и на тех, кто чаще славословит. В первые годы журналистской работы я считал себя ругателем и гордился смелостью и принципиальностью своих разоблачений. Потом как-то заметил, что Аграновский ни в одно из этих подразделений не помещается.

Почти все его очерки содержат яркие портреты замечательных людей и в этом смысле могут быть занесены в разряд «положительных материалов». «Но уже в похвале таится сравнение», как заметил он в «Надежности». И почти никогда не удавалось ему ограничиться лишь похвалой. Редко случаются среди его работ исключения в этом смысле — такие, как «Одно слово», пронзительный очерк-повесть о тех, кого знал он особенно хорошо по своей первой профессии, о летчиках. Та же «Надежность», очерк о передовиках производства, содержит больше острого материала, чем иные фельетоны. А уж такие, как «Открытие доктора Федорова», «Суд да дело», «Курбака и другие», несомненно, относятся к самым острым газетным материалам последних десятилетий, и они же представляют читателям настоящих героев нашего времени.

А «Вишневый сад»! Тут, казалось бы, обратный случай: автор не похвалил лично никого. Названные по имени герои в лучшем случае упомянуты нейтрально, как свидетели, большинство же — подвергнуты беспощадной критике. Но редко случается прочитать очерк, так возвышаю-

щий душу, как этот, так укрепляющий моральные устои наши. Потому ли, что при поголовном «тупосердии» показанных в очерке должностных лиц позиция села все же представлена совсем иной? Да, есть там и такие строки: «...нравственное чутье народа все-таки безупречно: люди правы в своих вкусах, даже когда в поступках не правы». Однако главный положительный герой здесь — мысль автора. «Нужны деловые люди, но *люди*. И благосостояние нам необходимо, да ведь оно не одна сытость. Как ни важно повышать производство продукции на душу населения, куда важней для нас производство самой этой души. И будут центнеры, килограммы и рубли, но, бог ты мой, это же вишневый сад!..»

Конечно, Аграновский никогда не занимался механическим складыванием противовесов: столько-то «позитива», столько-то «негатива» — и сочинение готово. Он вообще не с этими критериями подходил к работе, не задавался специальной целью хвалить или хулить. Его цель была всегда — думать и читателей к тому побуждать, а там уж пусть они сами, читатели, расставят отметки героям и их поступкам. Особенно нагляден в этом смысле очерк «Как я был первым», для меня — любимое произведение Аграновского, чаще всего перечитываемое. Что может быть выше хвалы, в нем заключенной, и что острее в нем же содержащегося разоблачения!

Мне Аграновский помог догадаться, что самый положительный материал может быть острее самого ругательного, если остра выраженная в нем мысль. Когда публицист ограничивается показом того, что делается плохо, читатель еще вправе сомневаться: а можно ли лучше? Когда публицист находит, кроме того, хоть крупицу живого опыта, критика обретает полную доказательность: вот как можно лучше. Это не относится, конечно, к описанию прямых злоупотреблений, преступлений, да ведь не они, не такие разоблачения требуют обычно наиболее глубокого изучения жизни.

Все это не значит, конечно, что Аграновский витал в эмпиреях сложных обобщений, пренебрегая той тяжелой и небезопасной иногда работой, какой требует от газетчика защита конкретного несправедливо обиженного человека, разоблачение конкретного бюрократа. Он был для нас и в этом учителем и не уходил от борьбы даже самой трудной, с самым неясным исходом. Кому-нибудь, знающему газетную жизнь понаслышке, может показаться, что уж такой

прославленный автор, как Аграновский, печатался без труда — только напиши. А он очень часто печатался нелегко — никак не потому, что обижали его в редакции. Просто он всегда ставил перед собой задачу максимальной для себя трудности — очень часто она оказывалась нелегкой и для редактора, ответственного за публикацию.

Анатолий Аграновский был первым среди газетчиков шестидесятых — семидесятых годов (я имею в виду журналистов, пишущих на «внутренние» темы,— для международников нужен отдельный счет). Обсуждений и споров по этому поводу не было — мы просто знали, что это так. Почему? На этот вопрос не так легко ответить.

Проще всего указать на то, что он был Мастером, у которого многие учились. «Интеллигенция — слово русское». Он начал «Открытие доктора Федорова» этой фразой, и последующее рассуждение об интеллигенции и самом слове «интеллигенция» было для читателей не менее интересно, чем история русского интеллигента доктора Федорова. Но у нас, его товарищей по редакции, был еще свой интерес. Мы судили с точки зрения ремесла. Мы глубже понимали значение первой фразы, последней фразы, заголовка. Я не помню, чтобы Аграновский взялся кого-нибудь поучать,— мы учились сами, не могли не учиться, читая его очерки.

Однако ремеслом владели и владеют хорошо многие, тут с несомненностью выделить первого трудно. Первенство Аграновского определялось другим. Назвать это силой морального примера? Но и ее основу определить не так просто. Стремление к истине? Да, конечно, но есть тысячи журналистов, для которых также правда превыше всего. Служение делу? Это, кажется, ближе к правильному ответу. «Суд да дело» — назвал он один из самых громких своих очерков. И потом книгу: «Суть дела». И еще заголовок очерка: «Вначале было дело». Пожалуй, ни одно другое слово так часто не повторялось у него. Все герои его беззаветно служат делу, и для самого Аграновского суть дела всегда была выше привходящих обстоятельств. Так что же — найден ответ? Нет. И таких публицистов много.

И профессиональное мастерство, и правдивость, и служение делу — все это у Анатолия Аграновского было, без этого он немыслим. Но выделяло его, лидером его делало другое: служение мысли. Тысячи газетчиков о мысли не заботятся вовсе: они сообщают факт — и только. Их труд

уважаем и нужен, потому что информация — первейшее предназначение газеты. Тысячи других в своих очерках утверждают мысль правильную, но известную до них — и это занятие нужное. Аграновский трудился, как рудокоп, стремясь каждым своим очерком извлечь и доказать мысль новую,— это удается немногим. И уж совсем мало таких, кто просто не берется за перо, если не может сообщить новую мысль. Аграновский старался работать именно так. Отсюда те отдаленные результаты его работы, которые еще долго будут увеличивать значение созданного им. Поэтому он всегда будет нам нужен.

Анатолий ДРУЗЕНКО

Последняя командировка

Наверное, писать в эту книгу проще все-таки тем, кто был в дружеских отношениях с Анатолием Абрамовичем Аграновским, кто имеет право на сакраментальные «хорошо знал» или «как сейчас помню...». Как ни странно, но труднее в этом смысле тем, кто более двадцати лет, из года в год, изо дня в день, работал с ним в одной редакции. В «Известиях»...

Не уверен, задастся ли кто-нибудь из авторов этой книги таким простым вроде бы вопросом: а каким... не могу подобрать слово... сослуживцем... коллегой... сотоварищем по редакции... в общем — *каким* был Анатолий Аграновский в коллективе?

Сейчас, когда я пытаюсь ответить на этот вопрос, который лишь кажется элементарным, я думаю о том, что за двадцать три года его работы в нашей газете многое менялось в этой газете — менялись редакторы, главные и неглавные, менялись мы, менялись сами «Известия», а он оставался Аграновским. Вот, мне кажется, суть: он всегда был *самим собой.* Причем я имею в виду не столько даже высший уровень его работы, в чем неизменно убеждались миллионы читателей, а именно то, каким был он в редакции (и чего миллионы знать не могли), его линию поведения, манеру общения, отношение к тому, как делается газета, и к тем, кто делает газету.

Он был всегда ровным (не путать с «равным» — это разные вещи) в отношениях с любым работником «Известий», будь то ответственный секретарь или безответственный стажер, главный редактор или младший корректор, ведущий спецкор или начинающий собкор с далекой периферии.

Он не был обязан приходить в редакцию ежедневно к девяти утра и, естественно, не приходил. Но все, что происходило в редакции, касалось его лично. А ведь можно приходить к девяти, присутствовать ежедневно и быть вне газеты, то есть не быть газетчиком. Нет-нет, свою заинтересованность делами газеты Анатолий Абрамович никак не

демонстрировал, на собраниях или летучках выступал редко, вообще говорил мало, и тем не менее интерес — до боли — мы чувствовали. Скажем, печатался он редко, всегда это было событием, материалы были особого калибра в буквальном смысле слова в половину, а то и в три четверти полосы, но при этом он считал себя причастным к любой, самой крохотной заметке, напечатанной в «Известиях».

Особо полной мерой я ощутил эту его причастность во время одной командировки, его, Аграновского, командировки, о которой и хочу рассказать.

Последней прижизненной — то есть написанной от начала до конца, отшлифованной, выверенной разумом и сердцем, вычитанной в полосе от первой до последней запятой — публикацией Аграновского в «Известиях» был очерк «Берегись автомобиля».

...Хорошо помню сентябрьские дни 1983 года. В редакции только-только создали, точнее — воссоздали существовавший когда-то отдел права и морали. Мы — я имею в виду отдел — старались вовсю, чтобы завоевать место на известинских страницах и обратить на себя читательское внимание.

Однажды — как всегда, «просто так» — заглянул к нам Анатолий Абрамович. Поговорили о газете, новых веяниях («Известия» после почти семилетнего перерыва вновь возглавил Лев Николаевич Толкунов), об удавшихся — и «не очень» — выступлениях, о видах на подписную кампанию и прочем.

Уходя, Аграновский — мимоходом, как он умел,— попросил:

— Если в почте будет что-нибудь интересное для командировки — не забудь про меня, хорошо?..

Почему он выбрал именно то, пришедшее из Бахмача письмо? Чем привлекла его история семейной передряги, суть которой он коротко изложил в самом начале очерка:

«В городе Бахмаче сын порвал с отцом и отказался от матери — из-за имущества. Какого? Вопрос не пустой. Если я скажу, что десятка их развела, вы не поверите. Назову сто рублей — пожмете плечами. А если пятнадцать тысяч? То-то и беда, что вы уже задумались.

Само собой, безнравственна эта торговля, но факт остается фактом: до «Волги» все у них шло хорошо. Жили-были две семьи, работящие и непьющие. Сын Скребцов женился на дочке Сипливых, стали они сватами, появились общие внуки, и машину-то эту решили подарить зятю тесть с тещей. Они дали деньги, а купил отец, потому как именно ему выпала такая возможность. И встала во дворе на зависть соседям новая «Волга».

После этого, судя по письму в редакцию, семейство пошатнулось и рухнуло. Скребец-старший Скребцу-младшему автомобиль не отдал. Дарственную писать отказался. В спор втянуты родня, сослуживцы, улица, прокуратура, райком, милиция, наконец, суд. Сыну пришлось уйти из отчего дома, и теперь он, как нам пишут из Бахмача, остался при живых батьках сиротой.

«Приезжайте скорей,— кончалось письмо,— чтоб вышла поучительная статья о таком нехорошем, ненужном, редкостном случае».

И вот я ехал и думал: из-за машины, из-за чертовой железки родители лишились сына, сын отрекся от матери и отца...»

Почему же все-таки он выбрал именно это письмо? Не его тема — это ясно. Он и в блокноте об этом написал, отправляясь в командировку, и в очерке потом вскользь отметил («есть у нас проблемы покрупнее, да и мне они ближе...»). Отчего ж тем не менее заинтересовался и после некоторого колебания все-таки поехал?

Теперь уж не узнать. Можно только предположения строить. Это теперь ясно, что главной для него тогда была работа над «Сокращением аппарата» — исследовательская, многомерная, глубинная, увидевшая свет уже после кончины автора незавершенной (впрочем, только по форме — суть же и мысли были завершенными, выношенными, новаторскими)... Но одновременно, как мне кажется, его притягивало наступавшее в «Известиях» возрождение морально-этической темы, очерка вообще. Он хотел помочь, посодействовать — непосредственно, пером — этому возрождению, отражавшему, что очень важно, новую линию и направленность газеты.

Тут надо прямо сказать, что до этого Анатолий Абрамович в течение почти семи лет для «Известий» практически не писал. Можно долго объяснять, какой характер —

и почему — приобрела газета во второй половине семидесятых и в начале восьмидесятых годов и отчего очерки Аграновского с их удивительно органичным сплетением экономики, политики и нравственности вдруг перестали ей «подходить». Однако лучше — тем более если есть такая возможность — обратиться к первоисточнику и послушать самого Аграновского. Вот что писал он в декабре 1976 года человеку, с которым его связывало нечто большее, нежели знакомство, привязанность и даже дружба, известному алтайскому педагогу Адриану Митрофановичу Топорову:

«...Окружение, издательские дела, редакционные обычаи и все такое прочее — сие, увы, от нас с Вами не зависит. Это я начинаю испытывать и на себе... «Известия», если следите Вы за моей родной газетой, изменили свой облик. В наибольшей цене сейчас всяческая информация, мелкие заметки, «крупа» хроникальная. Я лично против этого возражать не могу, читатель хочет знать новости, газета должна их давать, все так, но я-то, к сожалению, этим не занимаюсь. Потому и помалкиваю уже несколько месяцев. Статьям проблемным, критическим... места пока нет».

Он писал эти строки после нескольких месяцев молчания в родной газете. Мог ли он знать тогда, что это «пока» продлится годы, что хроникальное и фотографическое «пшено» надолго вытеснит с газетных страниц настоящий очерк?.. Впрочем, в 1983 году дело заключалось не только в возрождении очерка. Менялась вся газета, менялась обстановка в редакции, объявлялась война набившим оскомину штампам, схематизму, рутине, поощрялись находки, публицистичность, острота материала, придумывались новые рубрики, по-новому строились целые номера, субботние и воскресные выпуски, к примеру, полностью изменили свое лицо.

Ясно — да и могло ли быть иначе? — что перемены такого рода Аграновского увлекли, он очень хотел внести свою лепту — причем, естественно, на своем, то есть высшем публицистическом, уровне — в перестройку газеты. Это было непросто — после столь долгого молчания. Но он искал, напряженно, если не сказать — мучительно, искал тему публикации, которая, помимо всего прочего, означала бы еще и его возвращение на страницы «Известий». Работа над статьей — а может, и циклом статей — о том, как же все-таки быть с нашим уважаемо-несокращенным управ-

ленческим аппаратом, затягивалась, требовала времени, а газета, конечно же, ждала его возвращения. Он это чувствовал, думал о командировке, адрес которой, кстати, как это часто бывало, и могло подсказать читательское письмо.

Из нескольких Анатолий Абрамович выбрал теперь уже известное послание сына, призывавшего вывести на чистую воду родного отца, с которым он не поделил только что купленную «Волгу». Но почему же все-таки выбор пал именно на этот сюжет? Мне кажется, да нет, это наверняка: опытнейший очеркист, аналитик, прочитав письмо, он сразу уловил, что оно дает — должно дать — возможность рассказать не просто о ссоре в семье (мало ли их случается?!), а о явлении.

На меньшее он никогда не претендовал.

С тем, собственно, и взял билет на поезд — в Бахмач...

...Передо мной — блокнот Аграновского. Из этой — последней — командировки. Как же много он говорит о нем! И как же мало мы, восхищаясь его очерками, которые становились событием не только для читателей, но и для нас, профессионалов, для всей нашей журналистики, все-таки представляли, какого объема работа стояла за ними!..

На первой странице блокнота четко выведено и подчеркнуто: «12 октября 1983». Чуть ниже — «Москва». Интересно: значит, записи сделаны еще до отъезда в Бахмач.

Наверное, есть в этом определенный риск. Когда заранее строишь предположения о том, чем обернется командировка, куда, так сказать, дело повернется, невольно можешь попасть под влияние тобою же выстроенной версии. В итоге — настроишься на одно, приедешь на место — а там все не так...

Хотя у Аграновского — другое. Он просто записывает мысли «по поводу» письма. Они ни в коей мере не являются заключающими, а служат как бы отправной точкой для предстоящего расследования изложенных в письме обстоятельств. И к возможным неожиданностям он готов, замечая: «Сюжет заранее известен. Но, может быть, самое интересное откроется на месте. Так бывает. Нечто такое откроется, что и не придумаешь...» Словом, если и настраивает он себя на что-то, то только на одно: ищи конфликт, причины, явление — иными словами, не упрощай!

Первая же запись в блокноте — вопросы. К самому себе. Полная — по крайней мере для меня — неожиданность.

«Зачем я еду в эту командировку? Что надеюсь найти? В чем разобраться?..»

Удивительно, но эти вопросы задает Мастер...

Запись в блокноте. Для себя. Разговор с самим собой. Что называется, без свидетелей. Не мог же он предполагать, что когда-нибудь эти строки будут публиковаться, в них будут вчитываться, стараясь понять...

Ну, в самом деле, к чему эти вопросы, уместные разве что в устах робкого новичка, а не известного на всю страну и всеми признанного, умудренного колоссальным опытом, лучшего из отечественных наших газетных писателей? Скромность? Недооценка себя? Неуверенность? Да нет, не то... А может, тут другое? Может, вопросы эти ему-то самому казались вполне естественными? Действительно, зачем ехать, что искать, в чем, собственно, разбираться? Наверное, все дело в том, какой смысл — и какие требования к себе — вкладываются в это самое «что?».

И еще — это уже субъективное ощущение: к каждому своему выступлению в газете Аграновский и впрямь подходил словно новичок. В том смысле, что относился к нему с той степенью серьезности и трепета, как если бы это был его дебют в газете. Иначе каждое его выступление и не становилось бы событием... Нечто подобное, кстати, нередко говорят в интервью знаменитые, талантливые актеры: мол, сколько ролей уже сыграно, выхожу на сцену в сотый раз и все равно волнуюсь, будто впервые... Слова затертые, примелькавшиеся, но, думаю, часто так именно и бывает...

Некончающийся дебют — это и к журналисту, самому премаститому, может относиться...

Следующий вопрос — из блокнота. Опять же — самому себе. Очень важный:

«Какая тут еще нужна публицистика?»

Мне кажется, слово «публицистика» здесь вполне заменимо словом «мысль» (поскольку одно без другого просто невозможно). И все сразу становится на свои места. Он настраивается не на обычный «очерк нравов» (хотя и такой был бы очень кстати газете), но на мысль, извлеченную из обозрения нравов, мысль, характерную именно для него, для Аграновского, то есть свежую, острую, яркую — похожую на луч, что высвечивает какое-то явление нашей жизни.

Рискну даже предположить: если бы, съездив в Бахмач, Анатолий Абрамович обнаружил массу деталей, живописующих быт и нравы, но не вынес — представим себе

такое — мысли-наблюдения, мысли-предостережения, мысли-прогноза, писать бы он не стал. Другому, пусть талантливому, умному, наблюдательному и т. д., очеркисту, возможно, было бы достаточно детального изображения данной житейской коллизии; Аграновскому — нет.

Он будет искать — и найдет — публицистику в том совершеннейшем «быте», что откроется ему в Бахмаче. Хотя это трудно, крайне трудно, поскольку, как он сам записал еще перед отъездом, «тут» — курьез, анекдот и, кажется, ничего сверх него».

Ничего? Да нет же! «Курьез, анекдот» — это ведь чаще всего нечто неожиданное, острое, бросающееся в глаза, останавливающее внимание, наводящее на размышления. В какой-то детали быта, в малой частности, особенно если проявилась она именно в анекдотическом, курьезном виде, можно увидеть — было бы только это особого рода «зрение» — общее, типическое, закономерное. От факта — к явлению! — вот столбовая дорога настоящей публицистики. И Аграновский записывает, отталкиваясь от факта, о котором сообщило читательское письмо:

«Пока (из общих идей) приходит в голову вот что. Всеобщее образование не обеспечивает всеобщей нравственности — это разве что две параллельные линии. Технологический прогресс никак не влияет на людскую мораль. Пушкин, как известно, отводил два века на строительство дорог, мостов, тоннелей в горах и под водой, а заключил так: «И заведет крещеный мир на каждой станции трактир».

Прогресс в том, что прежде делили чересседельники — теперь на станции Бахмач делят «Волгу».

И еще (может оказаться верно): желание сына выволочь на всеобщее обозрение «подлости» родного отца — оно сродни тому, как обыватель выволакивает на обозрение улицы домашние дрязги.

Тут есть, конечно, тема вещизма, «деньжизма». Мы не пришли еще к уровню общества потребления, но иные оказались уже в обществе «доставания»... Отсюда всяческие уродства.

Придется думать (и писать) о деньгах. Человек должен уважать деньги — им честно заработанные... Беда в том, что есть разные деньги. Конвертируемые в товар (для одних) — и не конвертируемые (для других).

Арифметика как основа морали. 100 рублей присвоят — одно. 15 тысяч — другое.

Разные деньги: 15 тысяч за автомобиль — одно, 25 (за кот. можно ее продать) — другое.

Бывает так, что люди путают свои роли.

Там, похоже, своровано.

Но я должен избежать предвзятости,— только послевзятость...

Мера труда и мера потребления... (и мера распределения, добывания).

Нравы и нравственность — непременно узнать, послушать, как относятся к «анекдоту» в депо. Позиция окружения. Может быть, в этом корень...»

Все-таки полезно поразмышлять перед командировкой — и после того, как уже решено ехать, а в секретариате выписано командировочное удостоверение, увенчанное редакционной гербовой печатью, полезно отобрать «из общих идей» те именно, что соотносимы с конкретной ситуацией, о которой поведало читательское письмо. Хотя многое, конечно, зависит от того, кто размышляет. Если это делает такой публицист, такой знающий человек, как Аграновский, стоит ли удивляться снайперской точности его размышлений? Хотя главная, на мой взгляд, проблема, главная мысль, извлеченная автором из обычного житейского происшествия, все-таки определится уже на месте, сформулируется позднее, к концу командировки, к чему я еще вернусь.

...Поезд № 47 Москва — Кишинев, которым отправился в командировку Аграновский, отошел от столичного перрона с опозданием на три с половиной часа и в Бахмач прибыл не в 8 утра, как полагалось по расписанию, а в половине первого. Упоминаю об этом эпизоде, чтобы обратить внимание на следующую, по-моему, весьма характерную запись в блокноте, сделанную Анатолием Абрамовичем: «Значит, первый день наполовину потерян».

С какой, скажите, интенсивностью работает газетчик в командировке? И может ли он, устав от редакционной текучки и нервотрепки, позволить себе, так сказать, расслабиться? Что ж, бывает, особенно, как это ни странно, у молодых, что командировки путают с круизом. Во всяком случае, редко расписывают все свои действия — там, на месте,— по часам. Он — расписывает, по часам, и, если опаздывает поезд и намеченный в Москве график работы приходится уплотнять, набрасывает план:

«Сегодня четверг.

Надо два дня тратить на присутственные места — горисполком, суд, депо, где работает отец (может, с него и начну, прямо на станции). Тут мне нужны администрация, завком, партком.

А дела семейные — это можно и в субботу...

Еще, если есть музей.

Местная газета — выбрать часок...»

Думаю, комментарии здесь будут все-таки не излишни. Стиль работы журналиста — дело, понятно, индивидуальное, а навязывать кому-то чей-то стиль — дело бесполезное. Потому не о рецептах здесь речь, а об опыте ведущего нашего публициста и очеркиста. А он, опыт, говорит на сей счет: максимум любопытства, максимум собеседников, максимум мнений.

Есть тут еще один принципиальный момент. Говорят, газетчик, как сапер, дважды не может ошибиться. В сравнении этом есть, конечно, преувеличение, хотя в чем-то оно и оправданно. Особенно, мне кажется, относимо это правило к публикациям на морально-этическую тему, которые многомиллионно тиражируют оценки реально существующих людей. Уж здесь-то нужна абсолютная достоверность, ибо ошибка в данном случае может оказаться действительно непоправимой.

Три дня провел Аграновский в Бахмаче. Вот — протокольным стилем — с кем он встречался и беседовал, выясняя, почему же рассорились и стали судиться из-за злополучной «Волги» два почтенных семейства.

День первый (вернее — помните, опоздал поезд,— половина дня), *четверг.*

Встреча с местными руководителями. Собеседников трое: председатель райисполкома, председатель горсовета, заместитель председателя райисполкома.

Беседа в депо — с начальником, секретарем парткома и председателем завкома.

Разговор — долгий, с выяснением, в деталях, истории ссоры — в доме одного семейства, с тестем и тещей автора письма.

Разговор — вечером, в гостинице — с автором письма и его женой.

День второй, пятница.

Встреча с председателем народного суда.

Беседа с судебным исполнителем.

Беседа с адвокатом.

Беседа с начальником районного отдела внутренних дел.

Разговор — опять-таки детальный — в доме другого семейства, с родителями автора письма.

День третий, суббота.

Беседа в местном ГАИ — со старшим госавтоинспектором.

Разговор с главврачом местной больницы, посвященным в подробности конфликта.

Еще один разговор — в доме тестя и тещи автора письма...

И вся эта напряженная работа есть непрестанный поиск социально значимой мысли, вывода, а еще — деталей, которые должны кратчайшим путем, ярко и доходчиво донести эту мысль до многомиллионного читателя. Сколько же их разбросано в аккуратно исписанных листках блокнота! Записи эти, понятно, черновой материал. Потом состоится естественный — для Аграновского — отбор, и все уплотнится до той законченности, которая и поднимает в отдельных случаях журналистику до искусства.

Еще один урок Аграновского: больше подробностей, больше деталей — все — в блокнот: разговор, отдельные реплики, внешние приметы — люди, вещи, дом, улица — словом, все. Прагматик скажет: а зачем, если от всего этого в очерке-то остаются всего лишь крупицы. Но в том-то и суть, что именно знание подробностей и дает то знание ситуации (явления), которое исключает появление в очерке лишних слов и позволяет в итоге всего на десяти — двенадцати машинописных страницах сказать так много.

...Он возвращался из командировки в воскресенье. И продолжал работать. Размышлять. Представляю: купе, до прибытия в Москву — полтора часа, проводники начали постели собирать, суета, маленький столик слегка пошатывает, а в блокнот заносятся мысли, уже с учетом всего того, что открылось, увиделось, узналось на месте.

Аграновский говорил о трех уровнях постижения журналистом жизненного материала. Первый, самый простой,— это когда журналист отвечает на вопрос «что?». Второй, повыше, посложнее,— когда старается ответить на вопрос «как?». Наконец высший уровень — это когда

журналист задает себе вопрос «почему?». Аграновский не только задавал, но всегда с исчерпывающей ясностью отвечал на этот вопрос в своих очерках.

Очерк напечатали в конце ноября 1983 года. В субботнем выпуске. Этим номерам мы старались тогда придать новый облик, и одной из «новаций» было предварять особо интересный материал небольшим портретом автора и краткой биографической справкой о нем.

На фотографии Аграновский выглядел задумчивым и даже отрешенным. Рядом — суховатые строки: «Имя Анатолия Аграновского хорошо знакомо...» Меньше полугода оставалось до того невыносимого дня, когда газета снова вышла с его фотографией и словами: «Есть горестные вести, тягостную необратимость которых не дано ни пережить сразу, ни осмыслить. Так не можем мы, известинцы, поверить, согласиться, понять — нет больше Анатолия Абрамовича Аграновского».

Так до сих пор: ни поверить, ни согласиться, ни понять.

Эд. ПОЛЯНОВСКИЙ

Специальный корреспондент

Москва, Пушкинская площадь, 5. Здесь мы живем. Хорошо ли в доме, нет ли — мы здесь живем. Уходим домой только на ночь. И все равно среди ночи рождается вдруг мысль, проступают очертания темы, сюжета; из небытия возникает слово, которое днем, вчера, отыскать не сумел, выплывает строка.

Это как маленькая родина: даже те, кто с легким сердцем покидали редакцию, уходили на более обильные хлеба, искали потом пути вернуться.

Прежде чем переступить порог этого дома, я вечерами примеривался к нему. Вот из подъезда выходят седые, гладкие, уверенные в себе люди, расходятся по машинам. Вот помоложе, идут пешком, тоже, видно, маститые, они ни в чем не сомневаются. Это они изо дня в день, уже много лет, учат меня, читателя, жить.

Они знают, видимо, что-то главное, чего не знаю я.

Через несколько недель и мне выпало стать их коллегой. Через старый коридор пятого этажа я шел к соседям — в экономический отдел, по тому времени лучший в газете. Большая комната окнами на площадь была полна,— разноголосица, гул; в сторонке, у стены, руководитель отдела Семен Борисович Розенберг убеждал собеседника:

— Ну, может быть, попробуете все-таки? А?

— Да нет. Нет, не получается. Не получится.

Собеседник отвечал как-то застенчиво, мягко, растягивая слова. Руководитель отдела объяснял, как можно повернуть материал, выстраивал схему, тут, кажется, и практикант мог понять.

— Не-ет,— снова виновато и стеснительно отвечал собеседник,— не-ет. Для «Недели», может быть, и вытяну, а для вас — нет!

Это меня и успокоило. И здесь не все всё умеют. К тому же непонятливый автор был постарше раза, может, в полтора.

— Кто это? — спросил я тихо у ребят.

— Аграновский!

— ...

Этому без малого четверть века.

Да, была середина шестидесятых годов, счастливейших в его жизни — и талант, и силы, и сама жизнь казались бесконечны. Уже написаны были «Письма из Казанского университета», «Столкновение», «Официант», уже прогремело только что «Открытие доктора Федорова». Впереди были «Письма из Венгрии», «Вишневый сад», впереди было — «Бессмертие»... Бесконечность.

«Не получается» — первое слово, которое я услышал от него. В лучшую пору, в звездный час.

Алфавит современной советской журналистики уже тогда начинался с него.

...Четверть века. Целая жизнь — от рождения до возмужания.

Одни автобусы в конце недели идут в город, другие — за город. А Пахра ни то, ни другое: пригород — улиц нет, и простора нет. Лес? Какой лес, он вдоль и поперек исхожен. Река? Какая река — ни стрежней, ни водоворотов, ни волн. Обустроенный ручей, ведут к нему деревянные домашние ступени с перилами, плотинку приспособили. Есть и клумбы, и полевые цветы, но они запакованы в асфальт.

Одним словом — лубок. Бывший сословный закут, а теперь здесь известинские дачи. Раз дачи, есть немножко и живой землицы, кому положена грядка — копают. Грядка — в цветочный комнатный горшок войдет.

...Может быть, я зря так. Просто теперь, когда в Пахре скончался Толя, мне кажется, и соловьи здесь — заводные.

Теперь говорят: если бы он не поехал в Пахру... Вспоминают: именно в Пахре уже было несколько инфарктов, инсультов. Но это, знаете,— один умер в вагоне поезда: выронил расческу, нагнулся и... Потом говорили: если бы не нагнулся...

Но что правда, то правда, Аграновский не любил это место, бывал там раз в году: низина, вечерами туман, там он чувствовал себя похуже.

Но почему Аграновский, почему Толя — всеобщий любимец и баловень? Жил спокойно, неторопливо, на работу не спешил — писал дома, после обеда ложился отдыхать, все размеренно, чинно. На редакторов нервы не тратил: сколько напишет, столько и в набор зашлют. И напечатают столько же — ни слова, ни запятой не тронут. И на работе,

и дома — все для него, только для него. Что еще надо для благополучной долгой жизни? Здоровье? Вроде было. Он и писал больше за счет ума, чем чувства, тоже сердцу разгрузка.

Сегодня, сейчас, когда Аграновского не стало, мы говорим — безвременно. Это так. Даже если бы ему было не шестьдесят два, а много больше — да сколько бы ни было, все равно мы бы сказали — безвременно. Потому что заменить его некем.

Пусто, сиротливо, одиноко.

Толя последний раз покидает редакцию, его выносят, и даже на самых скупых лицах оживают слезы.

Любят — не за талант, за талант — уважают. Любят — за честный талант.

Такого тумана, как в ту ночь 14 апреля, не было давно. Туман опускался, густел, обволакивал — замуровал все живое вокруг. Под утро, часов в пять, Толя сказал Гале, жене:

— Мне не страшно! Тебя жаль.

Вот строки из его последней законченной работы, совсем небольшой, эта миниатюра предназначалась для будущего известинского музея.

«Отец мой А. Д. Аграновский родился в 1896 году. Из гимназии пошел вольноопределяющимся на фронт, был в кавалерии, ранен, хромал потом всю жизнь. С 1918 года член Коммунистической партии. В гражданскую войну — комиссар госпиталей Южного фронта. Слышал от В. Регинина историю о том, как вовлекли отца из медицины в журналистику.

— Мы тогда,— рассказывал Василий Николаевич,— ехали из Москвы в Николаев на судебный процесс. Вы должны знать: по убийству в Дымовке селькора Малиновского. Ну, в Харькове занемог Демьян Бедный, наш салон-вагон отцепили, вызвали врача, и пришел с саквояжем молодой человек. Такой, как вы сейчас, вы с ним схожи. Выслушал пациента, дал порошки, разговорились, пропустили по стопке. Оказалось, пробует писать. Демьяну очень пришелся по душе: «Махнем с нами!» И он поехал, как был. Только сбегал позвонить жене, чтоб не волновалась с малышом. С вами, значит.

В 1924 году вышла «Дымовщина» — первая книга отца. Об этом самом процессе.

В 1925 году вышла вторая книга — «Культура и мещанство (письма из Германии)». Насколько мне известно, наших журналистов туда еще не пускали. А. Аграновский отправился в качестве врача первой советской футбольной команды, выехавшей за рубеж.

Отец стал членом Союза писателей СССР, но до конца дней считал себя журналистом, ценил в себе газетчика.

Многие его публикации запомнил я с детства. Скажем, «Смерть Хаким Заде» — фельетон 1929 года. О зверском убийстве просветителя, драматурга, поэта Хаким Заде Хамзы. Спецкор «Известий» был едва ли не очевидцем событий, первым из России примчался в горы Шахимардана, где забили камнями Хамзу, где, подстрекаемые фанатиками, бросали в него камни даже любимые его ученики.

Вторым «человеком из России» был я. Помню отца в кожаной куртке, с наганом, верхом на коне. И я ехал верхом — на маленьком ослике. Отец, видимо, хотел сделать из меня журналиста, брал в командировки...

Журналистика тех лет была в «Известиях», да и вообще, оперативная, боевая, проблемная. Мы, нынешние, вполне можем числить себя продолжателями их традиций. Благостность и бесконфликтность явились позже.

Умер отец летом 1951 года, во время очередной командировки, в перерыве между двумя колхозными собраниями, на Урале, в деревне Большое Баландино».

Их часто путали.

В том далеком 1951 году, когда не стало Аграновского-отца, вышла первая книга Аграновского-сына. В одной из рецензий написали: «Автор книги — недавно умерший талантливый советский журналист».

Последний раз их перепутали десять лет спустя.

В 1928 году зимним вьюжным днем Абрам Аграновский приехал в глухую алтайскую деревушку. Край света. В избе, куда он вошел, девочка читала Ибсена. Оказалось, и старые, и молодые вечерами, сходясь в клубе, читают вслух Толстого, Тургенева, Лермонтова, Пушкина, Есенина. Читают Мольера, Гюго, Мопассана, Метерлинка.

«Белинские в лаптях» — назвал их журналист. Местный учитель Адриан Митрофанович Топоров не только устраивал читки, он организовал народный театр, два оркестра. Сам Топоров вместе с сельским жителем Степаном Титовым играли дуэтом на скрипках Чайковского, Бетховена, Глинку.

Журналист приехал заступиться: учителя травили. Как раз в день приезда местная газета писала о Топорове: «Барин, который не может забыть старого. Хитрый классовый враг, умело окопавшийся и неустанно подтачивающий нашу работу. Одиночка-реакционер. Ожегся на открытой борьбе, теперь ведет ее исподтишка...»

Фельетон Абрама Аграновского был опубликован в «Известиях» в годовщину революции — 7 ноября 1928 года.

«Творить революцию в окружении головотяпов чертовски трудно,— писал журналист,— потому что героев окружают завистники, потому что невежество и бюрократизм не терпят ничего смелого, революционного, живого».

И до фельетона, и потом журналист упрямо боролся за судьбу учителя. Эта история стала семейным преданием Аграновских.

Треть века спустя взлетел наш второй космонавт — Герман Степанович Титов, и уже Аграновский-младший отправился к Степану Титову, отцу космонавта, которого учил когда-то Топоров и с которым они вместе играли дуэтом на скрипках. Поднял старые документы: «Чтением, тоскливыми скрипичными мелодиями Чайковского и Римского-Корсакова учитель Топоров расслабляет революционную волю трудящихся и отвлекает их от текущих политических задач...»

Встретился Анатолий и с клеветником. Старик был удивлен, что Топоров еще жив. Высказал обиду: «...Статейкой вашей вы, товарищ Аграновский, нам, старым борцам, плюнули в душу».

Очерк, который достался ему как бы в наследство, Аграновский-сын закончил так:

«Меня часто путали с отцом, который был мне учителем и самым большим другом, но никогда еще, пожалуй, я не ощущал с такой ясностью, что стал продолжателем дела отца!

— Вы знаете, статью о Топорове писал не я,— сказал я этому человеку.— Статью писал мой отец... Но я написал бы то же самое».

А с Топоровым они подружились. Старый учитель приезжал в Москву, гостил у Аграновских.

— Маленький такой, сухонький,— рассказывает Галина Федоровна.— В первый день — не заметил, прошел у нас через стеклянную дверь, как Христос по воде, даже не поцарапался. Собираем осколки, он ругается: какой

дурак придумал стекла внизу. Хотите, чтоб светло, наверху стеклите, свет должен сверху идти...

Топоров прислал однажды рукопись — размышления о собственной жизни. Анатолий Абрамович редактировал ее больше полугода. Потом стал «пробивать» рукопись в издательстве. Это стоило многих сил. Книга вышла под названием «Я — учитель». Благодарный старик прислал Аграновским часть гонорара. Когда перевод вернулся обратно, смущенный Топоров прислал письмо: «Извините старика, не нашел ничего лучше...»

Много минуло времени. Читатели давно уже не путают Аграновских. Они знают, помнят, чтят и отца, и сына. Когда скончался Анатолий Абрамович, в «Известия» пришло множество писем и телеграмм.

«Мне кажется, что это от меня лично ушел из жизни родной, очень близкий человек. Мы, читатели, вместе с вами, известинцами, будем хранить добрую память о прекрасном журналисте, писателе и чудесном человеке. Он прожил прекрасную жизнь, эстафету, взятую из рук отца, пронес блистательно, честно. Он был достоин отца... Если доживу до зимы, то будет ровно 60 лет, как я читаю «Известия». В. Клименкова, г. Киев».

«Дорогие известинцы, позвольте вместе с Вами разделить печаль... Пусть будет земля пухом для отца и сына Аграновских. Н. Бажанов, г. Москва».

Вот — телеграмма: «Потрясен вестью о кончине виднейшего писателя, моего неизменного друга, мудрого наставника, благодетеля Анатолия Абрамовича, неутешно скорблю».

Кто же назвал его «мудрым наставником»? Адриан Топоров, который был старше, чем старший Аграновский. Старый просветитель, он пережил два поколения журналистов.

Может быть, он и не знает, что Аграновский-старший, уберегший его от худшей участи, себя от той же клеветы не уберег. В 1937-м пятнадцатилетний Толя остался вдвоем с младшим братом. В 1942 году Абрам Давыдович Аграновский был полностью реабилитирован и восстановлен в партии.

Журналистика — не чистописание. Журналист отдает читателям не строки — самого себя, по частице, по крупице — себя, каждый раз — себя. Я говорю, конечно, о честном таланте.

Станислав Кондрашов, политический обозреватель

«Известий»: «Анатолий Аграновский был верен кредо публициста, сформулированному им самим,— будить общественную мысль. Для этого надо иметь мысль собственную — и обостренное чувство гражданской ответственности за все, происходящее вокруг. Помимо мысли, публицисту нужны еще и бойцовские качества. Ими в превосходной степени обладал Анатолий Аграновский».

Аграновский как-то писал о своих героях: «незаменимые». И расшифровывал: «Незаменимые — это всегда люди долга... Вне сознания выполненного долга им может быть тепло, уютно, сытно, но полного ощущения счастья не будет. Однако этого мало. Они любят свою работу, им нравится дело, которым заняты они... Нравится? Любят? Но при чем же тогда чувство долга?» Журналист задается вопросом и отвечает: «Долг,— говорил Гете,— там, где любят то, что сами себе приказывают».

Они ему родня — его незаменимые.

... Зарабатывать свой собственный хлеб он начал с пятнадцати лет. Даже когда учился в педагогическом институте (по образованию Аграновский — историк, военная специальность — авиационный штурман), даже когда учился — работал: художником-мультипликатором на киностудии, помощником кинооператора, ретушером в издательстве, художником-оформителем на изофабрике. В 1947 году пришел в одну из центральных газет — репортер, литсотрудник, зам завотделом.

В начале 1951 года по отделу прошла ошибка, виноват оказался один из старейших журналистов газеты, для старика это — конец. Молодой Аграновский берет вину на себя, не часть, не долю — всю целиком. 13 февраля 1951 года в его трудовой книжке появляется запись: «Освобожден от работы в редакции... за обывательское отношение к своим обязанностям».

Через три года газета приглашает его обратно. Подбирали коллектив не только по профессиональным качествам, но и по человеческим, учитывали прежде всего совместимость людей. То была прекрасная пора — 1954 год. В газете возобновился «ансамбль верстки и правки». Выступали с блеском в Доме литераторов, в Доме кино, в Доме журналистов, в ВТО. В «ансамбле» были цирковые номера, и в роли укротителя слишком ретивых выступал Аграновский. Было две оперы, в одной из них — «В вашем доме» — партию молодого поэта Ленского исполнял тоже Аграновский. Песни, частушки — опять он. Выходил на сцену в темно-

вишневом жакете, молодой, красивый. «Наш примадон» — так его звали.

Именно в это время начался творческий взлет Аграновского. Он получает премию Союза журналистов СССР, вступает в Союз писателей. Жизнь прекрасна.

И вдруг!

В коллектив пришел новый главный редактор. Против фамилий тех, кто имел собственное мнение, сразу же поставил галочки. Не забыл и тех, кто прежде выступал против его собственных литературных сочинений. Было поставлено сорок галочек.

Аграновский, будучи дежурным критиком, сказал, что газета изменилась к худшему. Ему дал отпор заместитель главного редактора, которого прежде все любили и который любил Толю.

Когда увольнения неугодных стали повальными, на очередной летучке снова встал Аграновский и обратился к главному редактору:

— Что вы делаете?! Этот коллектив собирали до вас, собирали по крупицам, по бриллианту, как ожерелье! Это стоило таких трудов! Что же вы делаете?! Как вы можете?..

Он не смог договорить, выскочил из комнаты. На другой же день подал заявление об увольнении.

Против его фамилии галочка не стояла. Уже тогда его бы не посмели тронуть.

Вот вам и спокойный Аграновский.

Что ни говорите, а поступки, конкретные, практические, порою выше самой светлой мысли и самой умной строки. Самая передовая мысль, самая светлая строка завянут без поступков, без действия.

Не надо тешить себя мыслью, что для публициста изреченная острая мысль уже есть поступок, который освобождает его от личного вмешательства в действительность, а иногда и от личной веры в то, что изрек. Это, мол, для других, а сам-то я понимаю...

Страшнее нет талантливых иезуитов. Они обратят читателя, слушателя, преемника в любую веру. Обращали не раз, есть тому вековые свидетельства.

Аграновский верил в то, к чему звал, хотел верить.

...Он еще не ведал тогда, что ровно двадцать лет спустя, в новом коллективе, история почти повторится, и последствия ее будут для него разрушительны, хотя для постороннего глаза и незаметны.

Вот принципы публицистики, которые он вывел. Сначала это было устное выступление перед ленинградскими журналистами, потом оно появилось в печати.

«Многое делает художественный очерк — композиция, язык, пейзаж, диалог, портрет,— но без мысли, глубокой, умной, желательно свежей, современного очерка попросту нет».

«...Если же публицистика монотонна, если повторение сказанного выдается за постановку проблемы, то мысль общества не будится, а усыпляется. Писания такого рода называют порой бесполезными. С этим не могу согласиться. Бесполезное — вредно».

«Лучшие выступления рождаются, когда писатель мог бы воскликнуть: «Не могу молчать!» Худшие — когда: «Могу молчать». Я верю автору, если чувствую: его волнует то, о чем он пишет. Я давно понял: можно позволить себе критику любой степени остроты, если читатель видит, что писатель болеет за дело».

«Мы должны воспитывать и укреплять идейную убежденность. А чтобы воспитывать убежденность, надо читателей убеждать... Мы же думаем подчас, что все уже решено, что всем все ясно и спорить не о чем. И не убеждаем, а декларируем, не доказываем, а утверждаем. Особенно в очерках, воспевающих наши достижения».

Что еще важно? «Не слепое послушание, а общественная активность, подлинная гражданственность».

Отчего истины, самые верные, самые нужные, звучат иногда как показные, парадные, повисают в воздухе и растворяются, не оставив следа — ни уму, ни сердцу? Еще хуже — вызывают порой раздражение. Мешают штампы, стертость слов, употребление их не по поводу. «Нужна обыкновенная информация о жизни. Она должна быть всеобъемлющей, потому что глупо таить от людей то, чего скрыть все равно невозможно. Она должна быть своевременной, потому что грош цена информации, если она ковыляет позади событий, если обнародована, когда уж, как говорится, подопрет.

И последнее скромное пожелание: сообщаемые сведения обязаны быть стопроцентно, скрупулезно правдивы.

Конец месяца, мастер просит рабочих задержаться: «План заваливаем, надо, братцы, поднажать!» Едоковы — люди дисциплинированные, они остаются, «нажимают», а после, придя домой, включают радио... и слышат зычный

голос начальника цеха: «Встав на трудовую вахту, славный коллектив воробьевцев досрочно выполнил месячный план...» Пожалуй, после этого они и выверенным цифрам поверят не враз».

Новые примеры. На том же заводе рабочим за год выплатили премий гораздо меньше, чем полагалось, они и не знали — журналист «поднял» все цифры за год.

«Гласность — оружие обоюдоострое. Убивая слухи, она вместе с тем делает злоупотребления невозможными.

Вы понимаете, конечно, что разговор у нас давно уже не только и не просто о налаживании информации. Речь идет о развитии демократизма, об истинном уважении к людям, о необходимости знать их запросы, прислушиваться к ним, учитывать их».

Вот куда пришел журналист и привел с собой читателя, привел к истине — свободно, не под руки. И оттого истина последних строк уже не кажется расхожей, уже слышим ее чуть не из первых уст (хотя много прежде слышали и о демократизме, и об уважении, но то — либо всуе, не к месту, скороговоркой, либо железным штампом).

Воздействовать на ум труднее, чем на чувство. Это он умел.

...Работал Аграновский до изнурения, строки давались ему трудно. Он вынашивал, выхаживал, холил тему неделями, иногда месяцами. Ходит, заглядывает в отделы, звонит друзьям. Мысль есть, уже и тема есть, как начать? Как начать, например, рецензию на фильм Михаила Ромма? Александр Борщаговский напоминает одну из довоенных статей о Малом театре: «Надоели бороды...» Родилось начало: «Надоели дураки на экране». Потекла своя, совершенно неожиданная мысль, крутой ход. Или. Берет расхожие слова из сказки о дураке, который на свадьбе плакал, а на похоронах смеялся. А дальше — поворот, отнюдь не сказочный: «Мне иногда кажется, что вовсе он никакой не дурак, просто он боялся перегибов».

Первым ценителем и советчиком была жена. («Пока не знаю, Гале понравилось». «Обожди, не клади трубку, у Галины Федоровны спрошу, она больше меня понимает, а главное — думает быстрее».) Вообще собственный дом

был кладезем многих мудростей («Послушай, что Галя моя сегодня сказала», «Антон сегодня выдал», «Алешка...»).

Конечно, мудростью это все становилось под пером журналиста. Жена увидела однажды сосиски — без целлофана, как бывало когда-то прежде. «Мы получаем их с экспериментального производства»,— объяснил важно директор магазина. Потом это пригодилось в размышлениях о характере нового. «Была не была,— сказал бы Гамлет, будь он русским человеком»,— тоже ее, жены.

Все, что с малых лет удачно замечали дети, он, отец, не пропускал. Я листаю его старые блокнотные записи.

Антон: «Не буду я с этим Алешкой соревноваться, он слишком быстро соревнуется». (В размышлении о соцсоревновании он вставил это, но сам же и убрал — до времени: не «стыковалось».)

Алеша (из сочинения): «Елку поставили на стол, и она доставала до потолка, но не потому, что была высокая, а потому что потолок был низким» (вполне вероятно, он выписал это для будущих размышлений об истинном масштабе — таланта, благосостояния, правды. Или об относительности сущего).

Алеша принес пятерку по пению: «Ты что же, пел хорошо?» «Нет, я принес нотную тетрадь». (Форма и содержание — пожалуйста.)

Алеша: «Интересный фильм — никто не целуется и не женится». Что надо мальчику? Приключения, борьба: «Так долго целуются, за это время можно было бы столько раз выстрелить».

Антон (после схватки во дворе): «Алеша победил: его не догнали».

Антон (после рассказа мамы о том, что в Риме у молодых священников выстрижены тонзуры) с гордостью — ребятишкам: «В Риме у всех мужчин стригут лысины, а у нашего папы уже давно есть».

Алеша: «Я уже достиг роста взрослого пигмея».

И вот — время, Аграновский уже дед: у Алеши родилась Маша. И уже Машины чуть не первые мысли ловятся на лету. Она гуляет с Алешей в Пахре. Где-то за лесом затарахтел трактор. Двухлетняя Маша прислушалась: «Дед бреется». (Чем не оценка качества отечественной бытовой техники?)

Остры на мысль в семье все, в ходу были афоризмы

Ежи Леца, особенно: «Когда мне показалось, что я достиг дна, снизу постучали».

Даже если бы журналистика была лишь чистописанием, и тогда бы она была для него самоизнурением. Уже отшлифованную мысль он выводил на бумаге — если делал помарки, пусть хоть в конце листа, бросал все и все переписывал. Листы брал чистые, если маленький изгиб или древесное пятнышко — браковал. Потом сам же перепечатывал все на машинке, и опять же: упадет на страницу не та буковка — не забивал ее, начинал все сначала. В процессе этих перезаписей рождались новые мысли, он углублялся вновь.

— Не торопись достичь дна,— говорила жена,— снизу постучат.

Когда, наконец, ставилась последняя точка, семья была обеспокоена лишь одним: чтобы в это же утро, не медля, переправить рукопись в редакцию. Если случалась задержка, он снова пробегал глазами работу, начинал делать поправки, домысливать, улучшать. Иногда рукопись увозил в редакцию Антон.

— Только не урони,— суеверно просил отец.— А выронишь — сядь на нее.

Антон вез рукопись, как самое хрупкое существо. «А вдруг выроню — в метро, на улице, как сяду при всех?»

...Что бы ему своих-то детей отправить на факультет журналистики (это сейчас просто: у режиссеров дети — режиссеры, у актеров — актеры, у журналистов — повально журналисты, причем у международных — обязательно международные. Иногда и не беда бы, но ведь часто за уши тащат). Хлопот бы у Аграновского было меньше. Но не захотел.

Антон: «Вы же знаете папины слова: хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает. Он и нам с Алешей говорил: научитесь думать — будете и писать».

Алеша — микробиолог, Антон — врач.

...Как быстро выросли дети. Уже они в доме решают судьбу последней отцовской рукописи.

Он не успел закончить эту статью — «Сокращение аппарата». Она так и осталась лежать на столе — прерванная. Галина Федоровна не решилась отдать редакции незавершенную работу. Но дети сказали;

— Это принадлежит уже не нам.

Его последние строки оборваны, но в них дышит, бьется, пульсирует прежняя могучая мысль. К живым словам его просится эпиграфом поэтическая строка:

«Держу пари, что я еще не умер...»

Обычно журналист чувствует себя именинником, когда удачная статья напечатана. Он чувствовал себя именинником, когда еще только появлялась идея. Мысль, главное — есть мысль, он уже предчувствовал итог. Приезжал в редакцию, обходил кабинеты:

— Как думаешь, а если?..

И редакция уже жила ожиданием праздника, хотя не написано было еще ни единой строки.

Любой его приход в редакцию был как маленький праздник. Встречается в коридоре — улыбка милейшая, глаза добрые: «Здра-авствуйте, негодяи». Поскольку бывал он в редакции редко, почти каждый раз я спрашивал его одно и то же: «А ты чего сюда пришел?» И каждый раз он отвечал:

— На нервной почве.

Он сразу же обрастал компанией. Все говорят, а он сидит, слушает, мягко улыбается, и каждый чувствует его гипнотическую власть.

В разговор вступал медленно, неторопливо, как писал. Рассказывал о детях, о жене, о друзьях. Делился всеми дорогими ему событиями:

— Дети-то мои витражами увлеклись! Приезжай — посмотришь!

— Слу-ушай, сегодня Антон первую операцию сделал!

Когда Алеша стал лауреатом премии имени Ленинского комсомола, сын Володи Буланова — давнего известинца тоже стал лауреатом (Государственной премии). Аграновский написал ему на своей книге: «Отцу лауреата от отца лауреата».

— Слу-ушай, Антон все-таки вылечил Джонни.

Джонни — собака, обыкновенная дворняга. Как-то зимой, морозным утром, Галя увидела на Черемушкинском рынке совершенно пьяного мужичка, на руках у которого дрожал щенок. Когда она шла мимо, щенок успел ее лизнуть, и она вместо картошки купила щенка. Пока шла домой, успела полюбить его. Принесла грязного, запущенного.

— Это же дворняжка,— сказал муж.

— Ничего, мы тоже не графья.

Выросла прекрасная собака — с большим умным лбом и грустными глазами. Вскочит на диван, встанет на задние лапы, правой опирается о стену, левой поворачивает ручку двери и открывает.

Знакомая Гали как-то сказала ей: «Джонни очень похож на Толю... Только не говори ему, обидится». — «Что ты, он будет счастлив». Толя, узнав о разговоре, смеялся: «Это же такой комплимент мне! Твоя знакомая просто умная женщина». И стал звать дворнягу Джонни Анатольевич.

Прошло много лет, устаревший Джонни перестал ходить, слег. Явился ветеринар: это конец, надо усыплять. Семья сказала: нет. В то лето Антон закончил медицинский, впереди предстоял первый в жизни отпуск (раньше были только каникулы). Он остался дома, каждый день делал Джонни уколы, дважды в день — массажи, выносил на руках во двор. Прошло больше месяца, и Джонни Анатольевич ожил.

— Знаешь, сколько ему уже лет? — спрашивал Толя, гладя собаку. — Семнадцать. По человеческим меркам больше ста.

— Я бога молю,— говорила потихоньку Галя,— чтобы когда Джонни умрет, Толя был в командировке. Он же без ума от него.

О друзьях, знакомых рассказывал с доброй улыбкой — тонко, чутко, либо притчу, либо новеллу.

— Ну, ты знаешь, у Гали с Антоном день рождения 5 мая. Умудрились в один день. Вечером пятого приходит Саша Борщаговский, мы соседи, вручает Гале подарок и вдруг видит — Антон: маленький, животик выставил, мягкий, как у кузнечика, глаза большие. Надо же, забыл!.. Ему ведь сегодня шесть лет! Подошел, руку на плечо. «А для тебя, брат, у меня особый подарок». У того уже глаза горят, ну, ты ж понимаешь. «Ты завтра утром свободен?» Антон смотрит на нас с Галей. «Свободен».— «Вот завтра утром в девять часов я жду тебя возле дома, у киоска с мороженым. Понял?» — «Понял». Ну, Антон, понятно, не спит полночи, что ты, какой там сон! Утром — смотрит в окно: ага, ждет. Александр Михайлович берет его за руку, подводит к мороженщице, говорит ей: «Это тот самый мальчик!» И Антону: «Вот у этой тети каждый день можешь брать мороженое. Бесплатно. Любое, сколько хочешь». Антон показывает пальцем: «И это?» — «И

это».— «И это?» — «Любое».— «А ребят могу угостить?» — «Конечно». Привел в первый же день одиннадцать мальчишек. Сам причем брал поменьше, подешевле — чего-то опасался, ну а ребятишки — понятно. Потом мы с ним в отпуск уехали, а продавщица все искала Борщаговского: сдачу вернуть!

Он гордился своими друзьями:

— А вот я тебе прочту сейчас строки, а ты угадай — чьи.

Читает. Угадываю:

— Ваншенкин.

Очень доволен:

— Точно, Костя! Ну, как? — Улыбка во все лицо, словно сам написал лучшие в жизни строки.

С талантом Аграновского можно сравнить разве что личное обаяние и простоту. Я говорю уже не о журналистском таланте: он и человек был талантливый. Прекрасно рисовал, иллюстрировал одну из своих книг: там и его Федоров, и Курбака. Замечательно фотографировал, вполне бы мог устроить персональную выставку (но в отличие от других знаменитостей, которые желают непременно, чтобы и их хобби тоже стали знаменитыми, он о выставках не помышлял). Его устные рассказы украсили бы любую вечернюю телепередачу. Он сочинял романсы на слова Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Давида Самойлова. Пел. Собственные романсы под собственный аккомпанемент!

Он едва слышно смахивал аккорды, тихо, проникновенно, пел мягким своим баритоном. Режиссеры уговаривали его спеть в художественных фильмах. На телевидении предлагали ему передачу.

— Спасибо, нет.

Может быть, он опасался слов «однолюба», своего же героя: «Я думал, вы серьезный человек, а вы на гармошке играете».

Друзья определили семью Аграновских лаконично: «Доброкачественная». О своих чувствах и привязанностях муж с женой говорили разве что с иронией. Изъяснялись. Словно жили этажом выше всех.

Как-то шли по рынку. Мороз был градусов за тридцать, зябнущие женщины, сидя на стульях, расчесывали какой-то псевдомохер, демонстрировали качество.

— Вот,— сказала Галя,— посмотри. Когда ты меня бросишь, найдешь какую-нибудь молоденькую, я буду одна

кормить семью. Буду в такой страшный мороз сидеть и расчесывать мохер. Посмотри, тебе меня не жалко?

Что он ответил?

— Ну, во-первых, не так уж и холодно. Во-вторых, можно потеплее одеться.

...Это было так недавно.

— Какое же это было счастье! Тридцать два года! И он оставался для меня мужчиной в самом высоком смысле этого слова — всегда.

Его не сокращали? Но в нем сидел такой внутренний редактор, построже любого Главного. А кто сказал, что редактировать самого себя, иногда заранее отказываясь от дорогой строки, жертвуя частным ради общего, ради итога, что редактировать себя так жестко, так скрупулезно, как это делал Аграновский, кто сказал, что это — легче?

Один только раз я видел его, скромного интеллигента, во гневе. Руководитель отдела, будучи дежурным, самым, скажем прямо, примитивным образом «выправил» очерк Аграновского, и главное — не поставив его в известность.

— Как вы посмели! Кто дал вам право без ведома и согласия?.. Такой правке я научу нашу курьершу тетю Машу за две недели!..

Толя был белый, губы дрожали.

А кто решил, что он был всеобщим любимцем? Не было этого и быть не могло. Нравиться всем — занятие весьма подозрительное. Люди — разные, есть и завистники, есть и приспособленцы, да просто дураки, разве мало? Нравиться еще и им — последнее дело.

Нет. Приспособленцу он много лет не подавал руки. А с литератором, совершившим нижайший поступок, не здоровался все годы. Сколько? Тридцать два года.

Ошибался ли он когда-нибудь в оценке людей? Бывало. Но в худшую сторону — никогда.

С киоскершей внизу он был любезен и прост — ей ровня, и в этом не было игры. С друзьями прост уже по-другому. С главным редактором прост совсем иначе. Там, в большом кабинете, уже видны были его степенность, достоинство: «Хорошо, я подумаю. Пока не знаю...» Главный редактор, как обычно, вставал с кресла и присаживался напротив собеседника. Так и беседовали — простой мудрый спецкор и простой мудрый главный редактор. Два простых мудрых дипломата. Тут еще неизвестно, кто соблюдал дистанцию.

Прост он был, да не прост.

С ним было интересно, даже когда он молчал.

Сидит, молчит, просто молчит, и жизнь наполняется тайным смыслом.

Часто, очень часто улыбается, а глаза такие грустные, почти виноватые.

Талант — дар обременительный. Что нужно, чтобы талант расцвел или хотя бы не завял? Многое. Но главное — талантливому журналисту нужен хороший редактор. И непременно — чтобы хороший человек. У Аграновского было такое школьное определение — «хороший человек».

Легко ли в газете главному редактору со спецкором Аграновским? Судите сами. Ему дают задание писать о том, что недопустимо руководить кафедрами людям без ученых степеней. А он вдруг, сойдясь с героем, пишет об истинном ученом, которому нет времени формально защищать свои отличия («Тема блистательно лопнула»).

Пьяный тракторист разворотил рельсы, машинист поезда героически спас пятьсот душ, а сам погиб. Задание Аграновскому сформулировали конкретно, как новичку: вы должны написать такой очерк, чтобы во всех депо повесили портрет героя-машиниста. Такой очерк в итоге появился, но автором его был не Аграновский (машинист увидел впереди развороченные рельсы, перед его мысленным взором промелькнула его собственная жизнь, и он не мог допустить, чтобы... и т. д. То есть сознательно пошел на смерть, спасая людей).

А что же Аграновский? Он на паровозе проехал тот же перегон, засек время секундомером, и чудом уцелевший помощник подтвердил ему, что выпрыгнуть машинист все равно бы «не управился». «И если бы я написал: «Перед его мысленным взором...» — я обманул бы дантистов, домашних хозяек, колхозников, но тех путейцев, которые должны были в каждом депо повесить портрет машиниста,— нет, не обманул бы.

Мне кажется, я понял в этой поездке нечто гораздо более важное. Легенды нынче сочиняют ленивые и нелюбопытные люди, которым неинтересно, что было на самом деле, и лень это узнать. А жизнь все время сталкивает нас с такими судьбами, которые «сочинять» грех...»

Но все-таки был ли подвиг? Был. «Всей своей жизнью

машинист был подготовлен к подвигу в высшем понимании этого слова: человек делает то, что он должен делать, несмотря ни на что. Ему не надо было размышлять, взвешивать — он выполнял свой долг. И это правда. И правда оказалась сильнее».

И как почти всегда, парадоксальный вывод: «Как ни странно, случай частный, отличный от других, «заостренный» дает больше возможностей для обобщения, чем среднестатистический, который кажется нам типичным».

Непросто Аграновскому и главному редактору друг с другом, если главный редактор знает все наперед и не убеждает, а декларирует, не доказывает, а утверждает. Аграновский решает из «Известий» уйти, но тихо, спокойно. Он берет творческий отпуск на целый год. Но меняется руководство газеты, журналист возвращается. И далее, с середины шестидесятых годов — «болдинская осень» длиною в десять лет. Аграновский публикует по восемь-девять очерков в год. И каких! Самых могучих. Теперь, когда пришла печальная пора подводить итоги, можно сказать с уверенностью: эти годы были поистине золотыми. А куда девались остальные, следующие?

Авторитет одной лишь должности не гарантирует еще единодушия, взаимопонимания и тем более безоговорочного согласия во всем — новый руководитель (опять новый главный редактор) не понимал этого. Или не желал понимать. Первый же очерк Аграновского правится, сокращается, режется: не по словам — опресняется по мыслям. Со вторым очерком происходит то же, Аграновский собирается в отпуск, ему обещают очерк не трогать до возвращения. Но он уезжает, и очерк печатают в искаженном виде. Ему навязывают далее не только тему, но и «положительного» героя, навязывают очерк, где все заранее ясно. Мучается, но пишет.

Можно, конечно, и на редкостном рысаке возить воду, только зачем?

А что делать ему? Уходить? Сколько можно... Он перестает писать и понимает: редактора это устраивает.

Он не писал годами: «Я ставлю эксперимент: сколько можно платить человеку, который ничего не делает».

Со стороны кажется: числящийся на службе вольный человек, что может быть лучше? Пиши в свое удовольствие. А что писать?

Его многие считают писателем. Нет, он не был им в том широком толковании, какое мы подразумеваем под этим званием. Он не был беллетристом, ему трудно давалась сложная конструкция больших произведений. Его именовали писателем за высокий литературный уровень, за глубину. Но ведь именно поэтому он был и остается журналистом номер один, и разве это хуже, чем, скажем, посредственный писатель!

Он нашел себе определение: литератор.

В свободное время, которого теперь много, пишет киносценарии художественных и документальных фильмов. Но ведь он не был и кинодраматургом. Берет работу иногда полегче, скажем прямо. Вина ли это его или беда? Он говорил: «Эти годы для меня пропали: я ведь очеркист». За эти семь лет он печатался в среднем раз в год.

Однажды сказал после очередной, редкой своей публикации:

— Вот, три дня прошло и — ни одного звонка. Такого еще не было.

Я думал, его волнует качество, собственное имя.

— Да нет же: не читают нашу газету. Перестали читать. Тираж совсем упал.

И вдруг (опять вновь — «вдруг») возвращается прежний редактор, с которым так хорошо работалось. Аграновский берется за работу, и... вот тут уже в самом деле — не получается. Пишет очерк — не на своем уровне. Талант — дар обременительный прежде всего для самого себя. Если бы под очерком стояла иная фамилия, сказали бы «хорошо». Он чувствовал себя подавленным. Началась, по его же словам — «маета». Не может писать, но и без дела не может: «Дайте пока хоть что-нибудь отредактировать». Начинает мучительно набирать высоту. Кажется, обрел — «Картинки с выставки». Жизнь пошла по второму кругу, возвращаются опальные друзья. Звонит:

— Когда Игорь возвращается?

— Правда ли, что отдел права и морали восстанавливают?

От этого отдела он и поехал в командировку — в Бахмач, там распалась семья: «отцы и дети» не смогли поделить автомобиль. Вот передо мной записная книжка Аграновского. «Зачем я еду? Что надеюсь найти? В чем разобраться? Какая тут еще нужна публицистика? И тема не моя — семейная. «И чего мы, кум, дерьма наелись?»

Еще не уехав, еще в Москве, он исписывает множество страниц. «Пока (из общих идей) приходит в голову вот что. Всеобщее образование не обеспечивает всеобщей нравственности — это разве что две параллельных линии. Технический прогресс никак не влияет на людскую мораль... Прогресс в том, что прежде делили чересседельники — теперь на станции Бахмач делят «Волгу».

Дотошность Аграновского поражает — бухгалтерская: «Началось с неудачи: поезд из Москвы вышел с опозданием на 3 с половиной часа. Кишиневский № 47. Я такого что-то не упомню... И в Бахмач вместо 8 час. утра придет в полпервого дня. Значит, первый день наполовину потерян. Сегодня четверг. Надо два дня тратить на присутственные места — горисполком, суд, депо (может, с него и начну, прямо на станции). А дела семейные — в субботу, воскресенье. Еще, если есть,— музей. Местная газета (выбрать часок...). Через полчаса прибываю. Стоянка в Бахмаче — две минуты».

Как знать, а вдруг эти две минуты как раз понадобятся. Еще неизвестно, где роковая развязка. Он записывает буквально все.

Параллельно с этим сюжетом развивался другой. Планировались шесть моих очерков «с продолжением» о евпаторийском морском десанте. После настоятельных и неожиданных рекомендаций со стороны (именно со стороны — не «сверху») решили публиковать два. Сокращать втрое? Была суббота, назавтра я уезжал в отпуск. Я знал, Толя очень занят, у него никак «не шла» бахмачская история, он мучился. Но выхода не было, я позвонил: «Толя...» — «Приезжай прямо сейчас». Было около двух дня. Мы просидели семь часов (он не поднял головы от стола). Вечером, усталый, он сказал: «А сейчас я тебе отомщу. Посмотри, как думаешь, можно так начать?» Он дал мне две странички, это было начало очерка о бахмачской семье, о злополучном автомобиле...

Вот, оказывается, как. Он отдал мне не просто весь субботний рабочий день, оказывается, он только-только нащупал тему, сюжет, только набрал высоту... Все отставил, бросил.

Перед уходом, около девяти, мы еще успели глянуть конец фильма. Показывали «Берегись автомобиля».

Он так и назвал свой очерк.

Как оказалось, редактор вернулся ровно на год. И снова

Аграновский прощается с ним. Зашел в кабинет с грустной улыбкой.

— Поскольку вы снова не главный редактор, могу сказать вам совершенно прямо: вы — хороший человек.

Это было в пятницу. Он и не подозревал, что живет последние часы.

И в журналистике можно устроиться. Слышу еще нередко: «Вот Сережа решил новую квартиру обклеить: репортаж с обойной фабрики дает». «Вот наш общий знакомый решил, видно, машину менять: читай...»

При чем здесь блудные сыны журналистики? Ведь речь совсем о другом? Просто я слишком часто, иногда не без упрека, слышу: «Вот вы, журналисты...» Как о струганых болванках. Но ведь журналисты — разные, от нуля до бесконечности, как сказал один коллега. Даже не от нуля — от минуса. Есть журналисты, позволяющие себе иметь «разработчиков» — людей на побегушках, которые делают черновую работу, готовят фактический материал, присутствуют в судебных заседаниях и т. д. А потом уже мэтр, на всем готовом, берет в руки драгоценное перо. Это то же самое, что поручить чужой женщине родить твоего ребенка (мысль — Корчака, сказанная по иному поводу).

И есть Аграновский. Когда он писал о летчиках-испытателях, то сам катапультировался (хотя и на наземном стенде, но перегрузки очень большие). В другой раз в водолазном костюме спустился на дно моря. Хотя как раз он-то мог бы ничего этого и не делать — он брал глубиной мысли.

«Вы — журналисты...» Тут, конечно, много порчи и со стороны. Как же надо было маститому кинорежиссеру унизить, обессмыслить, обезглавить того же, скажем, Аграновского, чтобы легкомысленный, неправдоподобнейший фильм, салонный фильм так и назвать — «Журналист».

После публикации Аграновского ведомства, министерства и более ответственные инстанции принимали важнейшие решения. А он сам по себе был беспомощен, как ребенок. Друзья затеяли как-то поездку за костюмами (слух: «где-то что-то выбросили»), он обрадовался: я с вами, нигде — ничего, понимаешь... Вернулись пустые. У него была единственная знакомая продавщица — та мороженщица возле дома.

Хорошо, что и вся семья не была избалована, жена

никогда не носила дорогих нарядов, дети не просили джинсов за двести рублей. Жил всегда более чем скромно. Когда родился в 1953 году Алеша, они втроем ютились в двенадцатиметровой комнате коммунальной квартиры — семнадцать (!) соседей: дом — бывшее учреждение. Когда в 1956 году родился Антон, они уже вчетвером жили в этой же комнатке, Антон спал на стульях.

Ему исполнилось тридцать шесть лет, когда он получил отдельную (двухкомнатную) квартиру (до «Известий»).

Не любил, просто не умел просить: боялся, не хотел быть и не был никогда ничьим должником. Настаивать, и решительно, мог, если только речь шла о строках. В отличие от многих, в том числе и людей им уважаемых, никогда не стремился ни к какой должности, не завидовал ни одной из них. Должности приходят и уходят еще при жизни, а остаются — строки.

О чем, кстати, были его самые первые, юношеские строки. Кажется, о Доме журналистов. Репортаж. Этот же Дом оказался и последним учреждением, где он побывал. Пришел, сказал, что хотел бы отдохнуть нынешним летом в Венгрии, на Балатоне (есть там у журналистов свой дом). Мелкий служебный голос ответил: «Нет. Вы уже однажды отдыхали в Болгарии, в Варне...»

Просить не умел. Извинился, ушел.

В Варне он действительно был. Двенадцать лет назад.

О конфузе стало известно. Вслед Аграновскому были отправлены извинения. Получил ли он их, успел ли, не знаю.

На другой день Толя умер.

...Я безнадежно вглядываюсь в телевизионный экран, на котором часто вижу в траурных рамках поэтов, писателей, композиторов, актеров — замечательных, хороших, просто популярных: где он, журналист номер один?.. Ищу безнадежно колонки имен под его некрологом.

Впрочем, я, видимо, снова уже заговорил о профессии.

Это его слова: «Лучший и пока единственный способ продлить жизнь — это не укорачивать ее». Не смог. Ему приходилось слишком напрягать свой голос. Неожиданно и решительно он стал оформлять пенсию.

— Все. Хватит. Буду отдыхать. Сколько мне жить осталось — лет пять.

— Ты с ума сошел!

Напугал не срок, а то, что он его обозначил. Скажут: проживешь сто лет, все равно жизнь кончена — будешь считать дни.

Разговор был за неделю до смерти.

Станислав Кондрашов: «Он был мастер и любил писать о мастерах, которых двигают дело и жизнь. Как мастер предъявлял необычайно высокие требования к себе и достиг совершенства в излюбленном им жанре проблемного газетного очерка. Как мастер видел соперников в своих же прежних достижениях, в своей же собственной репутации. Как мастер, отдавший делу жизнь, он, конечно же, оставался наедине с терзавшими его вопросами, понимая, что даже железная логика и самое убедительное, талантливое слово отнюдь не всегда сокращают расстояние между постановкой большой общественной проблемы и ее решением».

Один из героев Аграновского говорит: «У нас всего можно добиться, правда, не с первого раза...» И журналист готов был ждать принятия мер после своих выступлений — недели, месяцы, годы. Да, годы. Ведь он писал не о случаях, а о явлениях. Иногда, даже когда все были согласны с ним, сдвинуть что-то оказывалось непросто. «Состояние умов — вот что занимает меня» — писал он.

Александр Бовин (из речи на гражданской панихиде): «Аграновский умер от того, от чего, к сожалению, часто умирают люди его склада. Ведь ум и совесть — не только источник творчества, мастерства, которые дарят людям радость. Совесть и ум — это еще и источник страданий, которые причиняют человеку обостренное восприятие окружающего мира, обостренное видение его несовершенства.

Генрих Гейне однажды написал: трещина, которая проходит через мир, проходит и через мое сердце. Гейне жил в простые и наивные времена. Теперь трещин стало больше, и трещины стали глубже. Одни из них Аграновский хотел засыпать тем, что он делал, что он писал. О других он не мог писать. Но все они проходили через его сердце, терзали, мучили, рвали это сердце.

Он ушел, а мы остались. И мы, все мы, не сможем заменить его. Но если на полосах «Известий» будет боль-

ше таланта, больше ума и совести, это и будет означать, что мы помним Анатолия Абрамовича Аграновского, журналиста и гражданина».

Телефонограмма из Стокгольма, от посла СССР в Швеции **Бориса Панкина**: «Дорогие товарищи! Вместе с вами скорбим о внезапной, неожиданной смерти Анатолия Абрамовича Аграновского. В его лице мы потеряли одного из талантливейших и лучших писателей-публицистов, партийное перо которого твердо стояло на страже прогресса, здравого смысла, порядочности».

Письмо от читателя из станицы Раевской Краснодарского края **Б. М. Моченова**: «Я простой мужик, ветеран труда, мне 80 лет, может, и не все я до конца понимаю, но так мне кажется — он был самородок».

Телеграмма от **Чингиза Айтматова**: «Теперь всегда с каждым днем все больней и острей утрата...»

...Анатолий Аграновский — одно из тех имен, которые составили славу отечественной журналистики.

Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло, и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И все разрешено.

Давид Самойлов

Каких друзей надо иметь? В юности, в молодости — в ученичестве постарше себя, чтобы они были опытнее, умнее, начитаннее, интеллигентнее, спокойнее, добрее, чем ты сам. Да и потом, и всегда бы иметь рядом того, кто превосходит тебя, чтобы шел ты в гору, все время в гору.

Аграновский мог быть другом до конца жизни для человека любого возраста и звания.

...Мы сговорились субботу и воскресенье провести в Пахре. («Все, отдыхаем, никаких бумаг не беру, ничего

не идет, действительно не получается».) Он выехал в пятницу вечером, я готовился подъехать в субботу утром.

В эту роковую ночь его больше всего беспокоило то, что он доставлял хлопоты. Его соседка по даче — Надежда Александровна, сама больная, с высоким давлением, уже успевшая принять снотворное, не ложилась до утра. Врач долго не уезжал. «Да отпусти ты всех,— говорил он жене,— что ж ты мучаешь хороших людей». Ехать в больницу в Подольск он решительно отказался: «К утру рассосется». «Что вы чувствуете?» — спрашивал врач. «Маета».

Утром было решено везти его к профессору Бураковскому. В начале десятого ответственный секретарь «Известий» Голембиовский дозвонился ему домой. Профессор изъявил готовность оказать немедленную помощь. В это время раздался звонок по второму телефону. Из Пахры. И ответственный секретарь сказал профессору: «Спасибо. Уже не нужно».

Никто в доме еще не знал о несчастье. Как узнал Джонни — загадка природы. Он, вероятно, почувствовал несчастье минута в минуту. Во всяком случае, когда Галя утром приехала из Пахры и стала отпирать дверь, старая дворняга заскулила, заныла, застонала. Просто заплакала.

...Служебный бесстрастный голос разрешает последний раз проститься. К крышке громко приколачивается квитанция с инвентарным номером. Вот и все.

Шестилетней Маше долго ничего не говорили. Потом решились: «Дедушка умер...» Она спросила:

— Как — совсем?

А жизнь продолжается. Суетная. Беспощадная. Единственная. Другой не будет. И из его, Толиной огромной жизни я делаю маленький, совсем простой вывод: друзей надо беречь. Но с циниками быть еще откровеннее. Друзей? Я загибаю пальцы на руке, свободной от пера. Да, конечно, одной руки вполне достаточно. Друзей, в сущности, и не должно быть много, иначе они превращаются в хороших знакомых.

Задумываешься сейчас о самом простом — о вечности, о памяти, о предназначении. Теперь опять, снова спрашиваешь себя: тем ли занят? Тем ли? Так ли жизнь сложилась? А может быть, просто коротаешь время?

Жизнь продолжается. Пошли в набор чьи-то новые гранки. Цветут вовсю деревья в Пахре. Восходит ясное, сильное солнце, погода — чудо. Как говорил один из героев Аграновского, летчик-испытатель:

— В такую погоду хорошо быть живым.

Солнце поднимается все выше, и свет его падает уже на других.

Еще из старого блокнота: шестилетний Алеша кричит из детской:

— Мама, иди скорее, я тебе что-то покажу!

Мама:

— Неси сюда!

Алеша:

— Это нельзя принести, это — солнечный луч!

Александр ЛЕВИКОВ

Нашего дела мастер

В час прощания с Анатолием Аграновским меня вдруг пронзила мысль: почти ровесник! В годы моей юности такое не приходило в голову. Он был для нас, не знавших его лично, старшим. Учителем. Мастером.

Помню, убеждали редактора, что-то не принявшего в наших текстах: «Об этом же Аграновский писал!» Помню, каким царским комплиментом звучала похвала дежурного критика на летучке: мол, в духе Аграновского.

«Не сотвори себе кумира»...

Наверное, кто-то скажет, что наше поклонение свидетельствовало о неопытности, даже некоторой растерянности на продуваемом перекрестке Истории. Но скорее тут было иное. В те бурные шестидесятые годы очерки Анатолия Аграновского мы выделяли из потока публикаций центральных газет. Другие-то статьи, очень многие, не жаловали, честили с нетерпимостью молодости. Лишь авторитет Аграновского признавали бесспорно.

Чем объяснить феномен такого успеха? Почему тот или иной публицист на каком-то отрезке времени вдруг становится властителем дум? И после звездного часа он обычно пишет не хуже, с годами появляется избранный читательский круг, а массовая аудитория — вся страна! — притаилась в ожидании нового слова. Она готова повернуться к прежнему своему любимцу или шумно приветствовать другого, того, кто скажет... Но что же нужно сказать, чтобы стать кумиром читающей публики в многомиллионном государстве? Ощутить общественную боль как свою личную? Подвести едва вышедшую из-под твоего пера, свеженаписанную вещь к той крайней черте актуальности, когда, по словам Герцена, «надобно печатать теперь или не печатать, даже и теперь поздновато»?

Многие талантливые авторы в войну писали о войне. Но лишь из газеты со статьей Ильи Эренбурга солдаты не допускали и мысли свернуть самокрутку. Сколькими хорошими очерками о послевоенной деревне была заполнена пресса! Но лишь «Районные будни» Валентина Овечкина

властно вторглись в наше сознание. Евгений Носов рассказывал, что где-то на полустанке он упустил последний поезд и вынужден был ночевать в стогу — не мог оторваться от репродуктора, транслировавшего очередную овечкинскую «серию».

Берусь утверждать: не меньшее влияние на общество оказали и очерки Анатолия Аграновского шестидесятых годов: «Сержанты индустрии», «Растрата образования», «Иван, Данило и Гаврило», «Встречи с примитивным меркантилистом», «Наука на веру ничего не принимает», «Письма из Венгрии», «Инициатива сбоку»...— обрываю произвольно. Неперечислимо.

В ту пору никто не сворачивал самокрутки, мы дымили фасонистыми папиросками, и нельзя было испытать публицистику Аграновского на «эренбурговский тест». Но я знаю, что очерки его хранили, папки с вырезками держат и поныне, особенно те, кому не достались изданные позже книги. Удивительные книги! Вобрав все прежнее, газетное, они не покрылись патиной «газетчины», но обрели качество литературы. Написанное для горячей полосы, правленное — не исключаю — у талера, в момент рождения получало свидетельство долгожития.

«Назначили кота ловить мышей. А по штатному расписанию провели тигром. Кот мышей ловит. Справляется. Но им недовольны: не тянет на тигра!», «Только свежий человек, попавший в такую контору, чувствовал себя, как живая черно-бурая лиса в меховом магазине» — это и газета, и книга.

Что говорить, Аграновский был художником слова. Но феноменальный успех его публицистики объясняется не одной лишь художественностью. Почему слава этого писателя связана с социально-экономической проблематикой? Ведь и о летчиках он писал превосходно, о конструкторах, о врачах, об ученых. Почему? Я попытаюсь ответить несколько позже, а пока замечу, что хорошим литератором он был бы и без схватки с воинствующим лысенковцем из Горок, где защищал честь своего умершего, оскорбленного друга Олега Николаевича Писаржевского. И без поединка с надутым от самомнения чинушей, примитивным меркантилистом. Без всей этой нервной, нерентабельной, с точки зрения экономии таланта и писательского труда, деятельности, связанной с развенчанием дураков, сходивших за умных, и утверждением умных, которых почему-то называют дураками, чисткой авгиевых коню-

шен, высвечиванием темных закоулков экономической логики:

«— Что вы знаете о хромосомах? — спросил я.

— Нам это ни к чему.

— Читали вы о них?

— Зачем? — сказал он. — Мертвое дело. Ничего эти хромосомы животноводству не дадут.

— Ну хорошо, — сказал я. — Вы ответьте хотя бы: существуют они в природе или нет?

Главный зоотехник на это ничего не сказал»...

...«Он сидит в своем служебном кабинете и смотрит на меня с тщательно скрываемой неприязнью. Скрипят двери, входят люди, он говорит с ними, просматривает бумаги и снова поднимает на меня занятые глаза. Он сказал, что цифр показать мне не сможет и что вообще для разговора с представителем прессы ему требуется разрешение вышестоящего начальства.

— Но цифры мне не нужны, — сказал я.

— Что же вам нужно?

— Хочу понять принципы вашей работы.

— Никаких принципов у меня нет! — быстро сказал он.

Тут была длинная пауза.

— Чем же вы руководствуетесь в работе?

— Инструкциями»...

...«Товарищ Янин, заместитель начальника Братскгэсстроя, подтвердил, что да, лес имеется, свален, раскряжеван, лежит по всей трассе. Сказал, что строители его не будут вывозить: невыгодно им, да и мелочь это для такой великой стройки. «Так отдайте нам! — взмолились ходоки. — Для колхозов всего нашего Усть-Лабинского района». Но товарищ Янин по-хорошему объяснил, что и в этом нет для стройки никакого смысла. Не говоря уже о том, что будет незаконно. А главное, сейчас тут не до них. Решаются гигантские задачи в масштабе всей страны, возводится новая ГЭС, города строятся в тайге, заводы, каких не знал мир. Нельзя смотреть только со своей колокольни, надо государственно смотреть.

— Но лес-то сгниет, — напомнили о своем ходоки.

— Зачем же, — сказал товарищ Янин, — мы его сожжем»...

«Но должна же быть какая-то логика. Может, что-то ускользнуло от глаз...» Пораженный обескураживающей нелепостью, многозначительностью, под прикрытием кото-

рой там и тут выступает самое обыкновенное головотяпство, он вновь и вновь метался по служебным кабинетам, городам, стройкам и все хотел докопаться, додумать, доспорить. Его документальная проза стояла бы в ряду литературы — еще раз скажу — и без всего этого, но тогда не было бы публициста, определявшего «дум высокое стремленье».

Нет, я убежден: не только художественностью слова пленял он читательскую душу. Перед нами явление социальное. Вспомним, что в те годы напечатанное в газете многими воспринималось как суждение «казенное», далекое от мнения частного, откровенного. Прессу скорее просматривали, чем читали. Выискивали, что поощряется, что не одобряется, кого вознесли, кого низвергли... Как и Валентин Овечкин в пятидесятые годы, Анатолий Аграновский шестидесятых годов прорвался к читателю — на новом уже витке и с другой, «городской» темой — сквозь завесу нечитаемой публицистики. Не пользующейся у простых смертных доверием. Прорвался с очерками, рассчитанными на размышление, подкупающими правдой прелестью обыкновенного человеческого языка.

Открыто и просто он заговорил о вещах, многими в то время считавшихся «непубликабельными» (ну и словечко, прошу прощения!). О том, например, что нечего ждать указаний по любому ничтожному поводу, а пришло время думать самим. О расчетливости и совести. О степени компетентности руководства в экономике. Писал об этом прямо, чтобы, как Петр I когда-то говаривал, глупость всякого каждому видна была. Эти темы обсуждались уже не шепотом, не «под одеялом», как прежде, а открыто, но пока еще в кругу близких, своих. А чтобы вот так — бухнуть в газете? О чем думаешь — о том и писать? Это было ново, непривычно.

Толковали, судили, гадали. Смелее ли других он, Аграновский? Больше ли ему позволено? Сердились, радовались, спорили. Он и сам любил спорить. Что ни статья — полемика: с героями, читателями, явными и предполагаемыми противниками. От этих его баталий захватывало дух. Забрасывали письмами газеты. Слали жалобы в официальные инстанции. Одобряли и протестовали. Вырезали и складывали. Думали, прозревали.

В этом суть Аграновского! В этом.

В публикациях, появившихся сразу после смерти, подчеркивали: его знали все. Ну и что? Знают многих: писате-

лей, спортсменов, журналистов, актеров, ученых, дикторов телевидения... Нет, его не просто «знали». Ему верили! Не редактору его и не газете (ничего худого о них этим сказать не хочу), а именно ему, Анатолию Аграновскому, верили. Это уже отличие особого рода.

Не забудем, что тогда, в шестидесятых, ответственный работник экспериментальной базы АН СССР еще мог в письме, направленном редакции, обозвать писателя «писакой»: «Кто дал право Вам, писаке, называть августовскую сессию ВАСХНИЛ (1948 г.) началом административного разгрома генетики?»

Не забудем, что даже с Аграновским, популярным публицистом, имеющим в кармане не только писательский билет, но и удостоверение корреспондента центральной газеты, не ахти какой высокопоставленный чиновник мог позволить себе высокомерие: «У меня тьма вопросов к этому человеку, но он поднимается, давая понять, что разговор окончен, и я ухожу. А вопросы остаются». Кстати, именно Аграновский, если не ошибаюсь, первым стал писать о хамстве должностных лиц по отношению к прессе. Раньше сходило с рук, а тут стали понимать: не сойдет. Отличный пример самоуважения журналиста и газеты. Жаль, не всегда мы этому следуем и сейчас.

А тогда...

* * *

Окончив факультет, я доносил последнюю свою гимнастерку, но редактор солнечногорской районной газеты «Путь Ильича» Михаил Федорович Беликов, принимая меня на работу, сказал: «Зря сняли, наденьте. Не надо в деревню при галстуке».

Я спал на редакторском столе по причине отсутствия собственного угла. Шагал длинные версты по проселкам — мы не имели даже велосипеда. Был свидетелем поразительных сцен.

Помню, шла подписка на заем. Рыжий, плюгавенький с виду мужичишка уперся, отказывался покупать облигации, и уполномоченный из района при мне вскинулся его срамить: «Эх, ты! Креста на тебе нет!» А тот вдруг рванул на груди рубаху: «Крест есть!» Повернулся спиной, нагнулся, показывая пестрые заплаты на ягодицах: «Крест есть — портков нету!»

Еще колхозники работали за «палочки». Еще на заводах с яростным усердием гнали «вал»... Но уже пробил час Овечкина, и близилось время дотоле никому почти не ведомого Аграновского (между прочим, автора очерков об археологах, астрономах, лингвистах — незаурядных людях, совершивших открытия, автора повести о летчиках-испытателях), вот-вот должен был прорезаться его голос, хотя он сам еще только присматривался к окружающим переменам и вслушивался в себя.

Нарастало неудовлетворение хозяйственным нашим ростом. Раздражали бесконечные реорганизации, запутавшие управление. Ученые начали знаменитую свою дискуссию о чертах будущей реформы, пытаясь объяснить несуразности производственного бытия несовпадением интересов человека, коллектива и общества.

О несовпадениях, противоречиях при социализме прежде и в специальных-то философских статьях отзывались как о вымысле от лукавого. А массовому читателю подобные суждения и вовсе не попадались. Авторы высоких, в традициях тогдашней верстки, «подвалов» любили рассуждать о гармонии. И вдруг газеты заговорили о вещах, непривычных для общественного сознания. Обнаружившаяся трещина требовала шпаклевки. Люди пытались понять: что распалось или распадается в экономическом механизме, вроде бы пригнанном винтик к винтику? О «винтиках» раньше говорилось вполне авторитетно. Почему же теперь заедает распредвал? Отчего маховик прокручивается со скрипом? По какой такой причине выскакивают передаточные шестеренки?

«От высокохудожественных сравнений перейдем к прозе жизни» — это уже ироничный Аграновский вклинивается в наши сокровенные беседы. Это уже он, понявший свое предназначение и кое-что существенное в окружавшей его действительности, с утренней газетой стучится в наш дом: «Надо, товарищи, подметать свой двор».

А как его подметать?

Может быть, дело в людях? «Кадры решают все». Выгнать бездарных, поставить во главе толковых, лучших директоров двинуть на руководство районами?! Аграновский отвечал:

«Вначале я расскажу вам о плохом председателе райисполкома. Потом — о хорошем директоре совхоза. Председателя «бросали» из одного района в другой, а он все не справлялся... его критиковали, критиковали и наконец

сняли. Между тем директор, о котором пойдет у нас речь, в самом начале был на хорошем счету. И его постоянно хвалили и ставили в пример другим директорам, потому что и впрямь он был руководитель опытный и знающий. Тут самое время сообщить вам, что разговор-то идет об одном и том же человеке... Причину чудодейственного превращения буду искать отнюдь не в области психологии». («Крушение карьеры», 1961 г. Разговор острый и для наших дней: «что же это такое — номенклатура?»)

Может быть, специалистов грамотных маловато, побольше способных ребят — в инженеры?! Аграновский отвечал:

«Дошло до того, что сегодня на заводе — на Выборгской стороне!— легче встретить конструктора, нежели токаря шестого разряда... Долголетними уговорами мы, как говорится, добились своего: выпускники школ чуть ли не все рвутся в институты. Пять человек на одно место, восемь, десять! Радуются профессора: у них есть возможность отбора. Ну и отберут — одного из пятнадцати, из двадцати пяти. А остальные? ...Я полагаю, что здесь берет свое начало один из путей к равнодушию, безверию, пьянству, преступности, наконец... Откуда же взялась у нас и почему так живуча эта тяга к дипломам?» («Схема роста», 1962 г. Автор издалека смотрел в нынешний день.)

Может быть, сосредоточить силы на самых важных участках переднего края?! Аграновский отвечал:

«Только «заднего» края у промышленности нет. Будут совершаться чудеса трудового героизма, и корпуса нового завода в тайге появятся в срок, а после из-за бездарной работы какой-нибудь тихой тыловой конторы захлебнется все наступление» («...Но безопасно», 1962 г. О не разгаданной до сих пор тайне снабжения, деятельности, где «с одной стороны, полная безнаказанность», а с другой — «полная незаинтересованность».)

Может быть, начать с пресечения мотовства? Навести жесточайший режим экономии?! Аграновский отвечал:

«Но ведь от такой «бережливости» и идут многие беды. Тут я замечаю тень подозрения, которая мелькнула вдруг в глазах моего оппонента: вот оно в чем дело! Выходит, автор против экономии. А известно ли ему, автору, какие грандиозные задачи стоят перед нами? Отдает ли он себе отчет... Да, автор отдает себе отчет. Автор безусловно за экономию и против мотовства... Но представим себе, как говаривал Д. И. Писарев, что наши высокие чувства не

омрачают нашего проницательного ума. Что лучше, что в конце концов выгоднее: платить заработную плату по среднему двум сотням опытных химиков или два года осваивать огромный завод?» («Встречи с примитивным меркантилистом», 1964 г. Поясню: публицист недоумевал, почему оплата химиков на пуске на категорию ниже, из-за этого ведь «утечка» кадров, задержка пусковых работ, а ему отвечали: так полагается по инструкции, ибо в период пуска продукции еще нет, плана нет. Аграновский: «Но мы отложим инструкцию и поставим вопрос прямо и грубо: зачем это делается? Чего, так сказать, добиваются здесь работники Министерства финансов и Комитета по вопросам труда и зарплаты?»)

Не правда ли, красноречивы даже сами даты процитированных здесь очерков: 1961—1964? Преддверие перемен, явившихся в шестьдесят пятом.

Это уже потом крестила нас хозяйственная реформа, вызвавшая вслед за волной надежд по у огорчительного скепсиса. Это позже мы оттачивали искусство разгадывания экономических кроссвордов семьдесят девятого года, предложившего отведать вкус «чистой» (пусть хотя бы и «условно чистой», «нормативно чистой») продукции. Отведали. Почувствовали горечь на кончике языка. Это теперь, постепенно просвещаясь и умнея, мы стали способны критически и конструктивно воспринимать смысл нынешних крупномасштабных экспериментов в экономике, насыщенный поиск науки и практики годов восьмидесятых...

Уроки Аграновского помогут нам лучше осмыслить происходящее и то, что предстоит сделать завтра.

* * *

Сейчас мы говорим и пишем об интенсификации. Слово на слуху, примелькалось. И уже кажется некоторым: очередная шумная кампания, отомрет, как «кукуруза». Не отомрет!

Или — или. Экономика страны оказалась перед альтернативой. Либо мы действительно переведем гигантское хозяйство на путь интенсификации, то есть начнем выпускать намного больше продукции при многократно меньшем, чем сейчас, приросте всех видов ресурсов, включая энергию, сырье, кадры, либо пойдут на спад экономический потенциал государства и жизненный уровень со-

ветского народа. Последнее — немыслимо, недопустимо! Вот и оказывается, что выбора-то нет. Остается интенсификация. Предстоит дело, по масштабам равное индустриализации.

Не все это взяли в толк. Потому и движемся медленно, с большим отставанием от намеченного. Тут публицистике надо засучивать рукава. Кто хотел бы пересидеть, переждать,— наша мишень. Выискивать и вытаскивать на божий свет новоявленных примитивных меркантилистов — завет Аграновского.

У Анатолия Аграновского я прочитал в 1963 году: «Видимость деятельности стократ хуже, чем простая «честная» бездеятельность... это нравственно растлевает людей, или, по определению одного старого кузнеца, р а с п о г а н и в а е т». Сильно сказано! Но и в 1973-м, когда я опубликовал в «Литературной газете» статью «Симуляция деятельности», примеров «распоганивания» было не меньше. Число их не убавилось и в 1983 году, когда в той же «ЛГ», в очерке «Прочность», я рассказал о Кишиневе, где был многолюдный митинг, оркестр, рапорты, специальный выпуск местной газеты с победной реляцией о пуске нового производства. И все это оказалось обыкновенным «распоганиванием»: цех недостроили и он не работал, а «опытный образец», показухи ради, отлили на стороне. Мы ищем «чувство хозяина», предполагая, что сам-то «хозяин» у нас есть, лишь «чувства» ему недостает. Если бы! Такого в природе не бывает. У настоящего хозяина нет нужды воспитывать хозяйское чувство. Оно и само бьет у него, как гейзер из земли. Отсутствие его — сигнал, подобный боли. Здоровое не дает о себе знать. Перечитайте очерк Анатолия Аграновского «Хозяева», написанный в 1971 году. О злобинском подряде. Теперь мы многое и разное знаем об этом. Видим и формализм в распространении ценной идеи. Но суть ее Аграновский ухватил точно: «Древен подряд, да применен в иных социальных условиях. Срок и тут оговорен, цена работы тоже вперед назначена, но заказчик — государство, средства производства — в руках государства, работу взял не выжига-подрядчик, который будет выжимать свой барыш из рабочих, а взяли сами рабочие... Мудро и вполне по Марксу. Я видел их труд: одним рублем не сделаешь его яростным, будь он без души. Я понял: моральное поощрение ...прежде всего в труде, в его ладе и смысле. В самих деньгах, заработанных честно, заложен нравственный

стимул: вот чего я стою, и, стало быть, я не дурнее людей, труд мой ценит общество».

Как это справедливо: одним рублем не сделаешь труд яростным, нужно еще самоуважение человека, честно заработавшего деньги. Но я дополню Аграновского: дело не сводится и к самоуважению. Хозяина привлекает само его положение, не терпящее двусмысленных толкований. Право хозяйствовать подразумевает право решать, распоряжаться, распределять работу и доход. Пока все это у нас лишь в зачатке. Воспитание чувства хозяина в человеке, за которого решают другие, лишено смысла.

Нет ничего справедливее позиции человека, отказывающегося быть винтиком, желающего думать, решать, управлять вместе со своим руководителем, разделяя ответственность. Трудно руководить думающими людьми, но недумающих нет, все мы мыслим, правда, не все высказываем свои требования вслух. Многие помалкивают, поддакивают, не ведая того, руководствуются правилом, которое наблюдал А. И. Герцен в русской действительности: «...думай как знаешь, но лги, как другие». И отчуждают себя от труда, полагая дело «колхозным», а не своим собственным. Не отсюда ли эрозия нравственности в сфере труда? Не здесь ли истоки недобросовестности, брака, прогулов, пьянства?

Развитие «злобинской темы» чрезвычайно интересовало Анатолия Аграновского. В связи с моей книгой «Калужский вариант» он прислал короткую записку, где говорил об идеях калужан: «...смелые, дельные, с большим смыслом». Писал о сути проблемы: «Занимает она меня по-настоящему». Можно только предположить, какие всходы поднялись бы у него из зерна, именуемого очерком «Хозяева».

* * *

Судьбе было угодно, чтобы моя рецензия на последнюю книжку Анатолия Аграновского «Совершенно не секретно», напечатанная в журнале «Новый мир», оказалась и самым последним отзывом, который он прочитал о себе.

Эта книга — о незаурядных людях, оказавшихся в тисках устаревшего хозяйственного механизма, которому они могут противостоять лишь в силу своей незаурядности. А надо бы противостояние исключить, механизм сам должен продуцировать инициативу. Пример идущих впереди говорит о необходимости изменить условия для всех по-

следующих. Обо всем этом — «совершенно не секретном» — у Аграновского сказано с откровенностью, требующей от автора и его героев гражданского мужества.

Книга написана увлекательно и тонко, населена запоминающимися людьми, богата афоризмами, достойными перечня «мудрых мыслей». Коллеги-публицисты знают слова Анатолия Аграновского, получившие в профессиональной среде широкое хождение: в наше время хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает. Простим мастеру некоторое лукавство. Сам-то он, конечно же, пишет не хуже, чем мыслит: владеет сюжетом, требователен к фразе, имеет вкус к деталям. Но главным для него остается игра ума.

* * *

Январский номер журнала вышел с некоторым опозданием. Анатолий Абрамович, видимо, получил его в начале февраля. А через несколько дней, 10 февраля, отправил мне письмо. Самое последнее его письмо — по свидетельству жены, Галины Федоровны. И потому считаю необходимым процитировать почти целиком, опустив сугубо личное:

«Прочел Вашу рецензию, потянулся, как водится, к телефону. Вас не застал и вспомнил, что есть еще «эпистолярный» способ общения. Отучены мы писать письма, но все же попробую.

Статьей Вашей тронут искренне. Не потому, что хвалите,— этого по своему самомнению ждал. Тронут я полнейшим, до тонкости, до краешка пониманием. Тронут тем, что пишет это все союзник, знающий дело изнутри, разрабатывающий ту же жилу. Вы ухитрились на небольшой площади заметить, привести, оценить оттенить в моих писаниях (причем не в одной последней книжке) самое для меня дорогое... Упрек в лукавстве принимаю, ибо он тут действительно имел место. Я, понятно, не могу быть беспристрастным, я очень пристрастен, но, поверьте, рецензий о себе, грешном, прочитал немало. Пробегал их, за малыми исключениями, с той же легкостью, с какой, видимо, писались они, отмечая лишь тот немаловажный факт, что хвалят или ругают. Здесь же получил истинное удовольствие, и захотелось, чего не было прежде, Вам написать... Ваш А. Аграновский».

Сам по себе этот факт можно было бы посчитать лишь

актом вежливости, если бы не два обстоятельства. Аграновский не любил, насколько мне известно, светских церемоний, был суров в оценках и суждениях, разборчив в знакомствах. Придерживался он постоянного и довольно узкого круга друзей. Письма писал, не считая официальных ответов на редакционную почту, редко и кратко, пером, а не на машинке, без копий для архива. Это одно. А другое связано с нашими отношениями, отнюдь не близкими.

Было три-четыре звонка друг другу за долгие годы знакомства, больше по делу. В двух моих просьбах он, извинившись и объяснив причину, отказал. Мой счет был более благоприятным: один раз я смог пойти ему навстречу, а другой — нет, оказалось не в моих силах. Несколько мимолетных свиданий в редакциях, издательстве, ЦДЛ. И лишь один-единственный домашний разговор за чаем в его кабинете, на Ломоносовском проспекте. Никакого формального повода не было для этого визита, я приехал не по делу, а по приглашению Анатолия Абрамовича — посидеть, потолковать.

Обменивались редакционными новостями: что в «Известиях», как в «ЛГ»? Воспоминания о «Литературке», где он когда-то работал, были Аграновскому дороги. Затрагивали общих знакомых, шутили, смеялись. Но юмор его на этот раз был грустным. Мы встретились в 1978 году, не лучшем в газетной судьбе Аграновского. С очередным редактором не находил он контакта, сетовал, что почти не печатается, мрачно острил: «По-моему, мне платят за то, чтобы не писал». Я запомнил сцену, представленную им живописно, в лицах. Будто бы невмоготу ему стало дожидаться вызова редактора, который давно уже со всеми познакомился, кроме первого публициста своей газеты и страны, и однажды Аграновский сам зашел к нему в кабинет. Главный поднял глаза от бумаг: «Вы по какому вопросу?» — «Здравствуйте, я Аграновский». — «Ну и что?» — «Зашел познакомиться». — «По какому вопросу?» — «По вопросу работы в газете». — «Разве вам не платят?» — «Платят исправно, печатают плохо». — «Но претензий по зарплате у вас нет?» — «Нет». — «Тогда идите и работайте». Все это в духе диалогов из очерков Аграновского, скорее всего, он что-то присочинил в переданной им сцене или даже придумал ее. Но я твердо запомнил: глаза у него были печальными. Чувствовалось, на душе скверно.

Конечно, заказов у него было сколько угодно. За ним охотились редакторы журналов, издательств, киностудий. Знакомые публицисты, едва оперившись, расставались с газетой без сожаления, в сущности, не имея на то оснований. А ему, талантливейшему, известному, напечатавшему немало книг, было мучительно без строчек в газете. Иногда приходилось слышать, что не газета ему, а он ей был нужен, он-то мог бы без газеты обойтись. Позволю себе усомниться. Сам характер публицистического таланта Аграновского требовал общения с миллионами людей, массовой аудиторией. Ему хотелось говорить о том, что волнует всех, повсюду. Энергия высокого напряжения, рожденная сплавом интуиции и мысли, требовала быстрой разрядки, вероятно, потому и редко писал он в журналы, что не было силы ждать месяцами, пока напечатают, а потом гадать — разошлось ли по стране, прочитано ли всеми при небольших-то журнальных тиражах? Газета давала возможность ощутить реакцию общества сразу. Поток идущих в ответ писем устанавливал прямую линию обратной связи. Это был его личный «красный телефон», протянутый в каждый дом.

Во всем этом я вижу что-то от Михаила Кольцова, преемником которого в советской журналистике он был. У Кольцова есть книга «Писатель в газете». Там он в шутливой форме жалуется, что редакционные обязанности поглотили все время: некогда писать, некогда пообедать, доконали звонки, посетители, выступления, почта — полсотни писем в день, приходится засиживаться до ночи. Словом, жуткая ситуация, когда становишься похож на трамвай, «набитый пассажирами, как селедками, обвисший людьми на подножках, пропускающий остановки». Заканчивается это признанием: «А все-таки работать именно так, густо, сложно, хлопотливо, не по-писательски — доставляет огромное удовольствие».

В феврале 1984 года, когда Анатолий Абрамович написал мне письмо, его газетная жизнь снова напоминала, если прибегнуть к кольцовской метафоре, «трамвай». И он был рад этому. От настроения шестилетней давности не осталось и следа. Сменился редактор, возрождалась газета, и оживала, в сущности, никогда не умиравшая в неугомонном писателе-газетчике страсть боевого коня, услышавшего призывный клич трубы. Его распирали замыслы, темы. Да и время, совершив виток, требовало доверительного разговора со всем обществом. Публицистики Агра-

новского! Как тогда, как в те шестидесятые годы... если бы не Проклятая со своей косой...

Последний телефонный разговор. Оставались лишь считанные дни — кто мог подумать? Анатолий Абрамович был возбужден, деятелен. Рассказывал подробности своей работы над очерком «Сокращение аппарата». Поразительные цифры, факты. В голове у него роились мысли и почему-то сомнения. Мне казалось, с его слов, что все собрано, многое написано, только сесть и закончить. А он вздыхал: «Как-то еще получится, как примут, пройдет ли». И снова вспомнил о книжке «Совершенно не секретно»: «Название осталось, а соответствующая ему глава выскочила — о нашей дурацкой привычке все прятать, секретомании, вредной для дела. Вы почувствовали, что глава выскочила? Не могли не заметить. Мне пришлось в сверстанной книге выкручиваться, каким-то образом оправдывать название».

Заинтересованно, с пристрастием допытывался он и о моей готовившейся тогда статье по поводу сверхурочных, «черных» суббот, нарушений администрацией вкупе с профсоюзами трудовых законов. «Очень, очень нужно,— говорил он,— отложите все, заканчивайте. Но тут вам будет непросто, я-то знаю, тема кусачая».

Моя «Работа после работы» напечатана в «Литературной газете» 6 июня 1984 года. Увы, для Аграновского оказалось слишком поздно. Ему уже не суждено было прочитать... А я статью «Сокращение аппарата» прочитал в «Известиях», где опубликовали ее посмертно, вместе с редкостным приложением — страничками из журналистского блокнота Аграновского. Молодцы известинцы! В незаконченном наброске очерка и афористических записях из блокнота, нацеленных в самое сердце проблемы, в атомное ее ядро, я вновь увидел первого публициста своей юности. Учителя. Мастера.

В. КАРДИН

Уроки Анатолия Аграновского

Когда в глухой пустоте, воцаряющейся после ухода близкого человека, писателя, разносятся надгробные слова, не сразу улавливаешь их смысл. Не сразу понимаешь. возможная их завышенность — всего лишь поздняя попытка уравновесить недоданное при жизни, не оцененное сполна. И не потому, что критика прежде «не заметила» (обычно она замечает все достойное быть замеченным, иногда даже воспевает умирающее ранее смерти автора), но в своей роковой неотвратимости смерть понуждает к беспощадной объективности, которая все равно восторжествует, преодолевая неоправданную хулу или хвалу, угрюмое молчание. Все равно. На своем веку мы имели возможность многократно в том убедиться.

Если не считать драмы, перенесенной Анатолием Аграновским в детстве, когда он остался без родителей, то все у него шло более или менее гладко. Первая книга раньше, чем у большинства литераторов-сверстников. Трагедия преждевременной смерти — не его трагедия, а наша. Буду точен: трагедия семьи, узкого круга друзей; для остальных, для товарищей и знакомцев, для редакции, где он работал, для читателей — беда. Такие беды сопровождают нашу жизнь. Особенно поколение Анатолия Аграновского, поколение родившихся в начале двадцатых годов. С сорок первого мы только и хороним. Одноклассников, однокашников, однополчан. В промерзшую землю Подмосковья, в тучный украинский чернозем, в не поддающуюся лопате каменистую корку Карпат... Чаще, нежели где-либо, сейчас встречаемся перед серой глыбой московского крематория.

Как ни поворачивай, Аграновский из удачливых: в войну пуля миновала, перевалил через шестьдесят, был счастлив дома, уважаем в редакции, много печатался (свыше двадцати книг, киносценарии, единственный из современных очеркистов выпустил «Избранное»), не знал проработок. Что еще нужно?

Очень многое. Особенно для таких очеркистов, как

Овечкин, Аграновский. Я называю лишь ушедших; вижу писательские различия между ними, но твердо ставлю рядом оба имени. Валентин Овечкин тоже умер раньше срока... Таким очеркистам мало ответных писем под рубрикой «Меры приняты». Потому что пишут они не о случаях, казусах, но о самой жизни, уповая на общее ее улучшение, доказывая необходимость этого, вкладывая в доказательства страсть и душу свою, мысль, устремленную дальше единичного эпизода.

Не желая обидеть кого-либо из пишущей братии, я все же думаю: очеркист воспринимает сущее острее большинства остальных, требовательнее и конструктивнее. Потому и ждет отдачи, выходящей за рамки упомянутой рубрики.

Так что удачливость Аграновского удачливостью, а душевные затраты, уверен, превышали среднеписательские нормы.

Но об этом говорить не принято. По крайней мере, при жизни очеркиста. «Ну, как ты, Толя?» — «Ничего. А ты?..»

Потом обвалом смерть. В одночасье. Общая немота, спазм в глотке. И речи над гробом.

Я не слышал этих речей, не стоял у гроба. Находился далеко за границей. Узнал спустя неделю, вернувшись домой. Оглушенный, услышал в пересказе, как все стряслось,— от первого телефонного звонка жены, воззвавшей к медикам, до последнего беспомощно-виноватого жеста врача. И о том, что говорилось на панихиде, в телеграммах...

Все это уже отхлынуло, отступило — речи, телефонные звонки, подробности, насущно важные в день похорон. Все отступило, кроме безжалостного факта: в нашей жизни нет больше Анатолия Аграновского.

Я не оговорился: в жизни. Он принадлежал к писателям, прежде всего присутствующим в жизни.

В нынешней литературе имеются и посильнее его, талантами она не обижена. Но место, принадлежавшее Аграновскому в жизни, остается пустым.

Среди слов, произнесенных над гробом, промелькнувших в телеграммах, своей непривычностью насторожило одно. Потом смысл его начал доходить, заставляя думать и думать, не давая воли собственным эмоциям. (Эмоции — частное, в конце концов, дело, а тут нечто имеющее касательство ко всем нам — пишущим и читающим.)

Слово это — «Учитель».

* * *

Трудно, прямо-таки невозможно принять слово. Вы знакомы тысячу лет, шатались по московским улицам, гуляли по лесу в Малеевке, сиживали рядом в веселой компании, «травили», преодолевая скуку, на всяких там собраниях-совещаниях, ты не раз слышал, как он, подыгрывая на гитаре, поет свои песни. И теперь, когда его нет,— Учитель.

Разве ты не ценил его, не читал, не писал о нем с пиететом? Другие тоже писали, именовали мастером. Это ли не дань заслуженного уважения? Но — Учитель...

Когда такое об очеркисте, о добром твоем знакомом, начинаешь недоверчиво пробовать слово на зубок — настоящее ли? Норовишь удостовериться: нет ли в том перехлеста, перебора. Нет ли преувеличения творчества и личности, чрезмерного славословия, объяснимого в минуту скорби? И видишь: ничего подобного нет. Сама смерть понудила по-иному взглянуть на то, что писал Аграновский, и то, что писали о нем, о публицистике, очеркизме, благо во всех почти статьях он упоминался, ставился в пример. Как было не ставить?

Каждый его очерк в «Известиях» читался миллионами, министры красным фломастером подчеркивали важные для них места и созывали коллегию, неминистры, будучи лишенными коллегии, обсуждали очерк в семейном кругу и слали письма в редакцию. Письма эти он читал с неменьшей пристальностью, чем ведомственные ответы. Он вообще отличался повышенной внимательностью ко всему. К людям, фактам, письмам, книгам. Иногда письма наталкивали на статью, он охотно вставлял выдержки из них, любил на них ссылаться. Он был слишком трезво умен, чтобы предположить, будто в таких именно письмах заключена высшая истина. Его привлекало многообразие мнений, возможность лишний раз себя проверить, с кем-то согласиться, а кого-то оспорить.

«Нетерпением рождены его строки, нетерпением поделиться с людьми увиденным, прочувствованным, пережитым... Благородное нетерпение диктует и особенности его творческого метода...

Темперамент — вот, пожалуй, единственная для него постоянная величина».

Так пишет Борис Панкин на первой странице обстоятельного и доброжелательного предисловия к «Избран-

ному» Анатолия Аграновского. По-моему, пишет не верно.

Он, конечно, испытывал нетерпение, был отнюдь не бесстрастен. Но по складу своему скорее флегматичен: ходил не спеша, только что ноги не волочил, говорил, чуть растягивая слова, не перебивая, терпеливо слушал, переспрашивал. Чернышевский однажды заметил: «Флегматики имеют точно такие же страсти, как и холерики; разница только в том, что один любит больше болтать о том, что он делает, другой меньше».

Свойства натуры автоматически не переносятся в писательское творчество. Образ Аграновского, угадывающийся за страницами его очерков, не совпадает — один к одному — с его человеческим обликом. Но в ритме фразы, в движении и повороте мысли узнается знакомый тебе человек.

«Остановимся, умерим наши нервы, поговорим спокойно». Или так: «Тут я понял, наконец...»

Не спешу, не сразу, мол, схватываю, нервы стараюсь держать в узде. И тебя, читатель, приглашаю к неторопливости. Он и героев обычно брал из числа тех, кто не с налету все понял, «пришел, увидел, победил». Его герой в затылке не однажды почешет и синяков, бывает, получит вдоволь. Но на ногах держится крепко.

Только сводить все это к личным свойствам автора, к мере темперамента неразумно, наивно.

Начинать отсчет, на мой взгляд, надо с совсем других величин, к другим обращаться категориям, до поры до времени отодвинуть на задний план все второстепенное.

Писатель вырастает в Учителя тогда лишь, когда в состоянии обогатить людей новыми воззрениями, чувствами, дотоле, возможно, им неведомыми или безотчетными. Ему необходимо совершить открытие. В человеке прежде всего. Если иметь в виду очеркиста, ему не менее важно совершать открытия и в повседневном мире. Будить душевную, умственную энергию и непримиримость. Его прямая цель — усовершенствовать мир, преодолеть все и всяческие несуразности, пороки, язвы. Он следует в традиции, точнее всего выраженной Чаадаевым:

«Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если явно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло... Я полагаю, что мы

пришли после других для того, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия».

Самое сильное побуждение Аграновского, самый властный императив — быть полезным своей стране Всегда. Каждой строчкой.

Это побуждение, справедливо скажут, не монопольная принадлежность Аграновского. Спорить не о чем. Но умение видеть с беспощадной ясностью, избавиться от слепых влюбленностей — дар особый, отпущенный далеко не каждому умеющему держать в руке перо. Тут надобно и мужество.

Однако опять-таки смелые и дельные очеркисты у нас есть. Не слишком много, но есть. Постарше и молодые. По-настоящему одаренные, готовые отстаивать свои взгляды, свое постижение фактов, свои претензии.

Аграновский же выделяется основательностью, доскональностью осмысления, свободой от суеверий, которые частенько вырабатываются будто сами собой, гнездятся черт знает где, исподволь напоминая о себе. Им загодя известно что к чему и фетиш дороже факта. В век НТР суеверия не менее живучи, чем в средние века, на науке они паразитируют не хуже, чем на невежестве, и прекрасно приспосабливаются к реву космических ракет, к «информационному взрыву», даже к злободневному лозунгу.

О человеке еще молодом, но уже закоснелом в предрассудках и суеверии, у Аграновского сказано: «Он знает то, что знает, и привык верить в то, во что привык верить».

Эта окаменевшая привычка оборачивается великой пагубой для общества. Едва ли не каждый второй очерк Аграновского по сути своей направлен против умственной инертности, против суеверий. Хотя к суевериям обиходным он относился с шутливой почтительностью, уверяя: ежели упадет страничка из рукописи, надо незамедлительно на нее сесть.

Его раскованность, свобода, его критический взгляд были государственными. Ему был чужд анархический нигилизм и не менее чужда сбалансированная критика, столь ценимая иными его собратьями и редакторами. Для него все это — чушь. Беспокойство его не суетливое, оно не заставляет шарахаться из стороны в сторону. Взвешенный, если допустимо так выразиться, максимализм.

Ему всего нужнее понять *почему*, *откуда* что берется. Редко когда источник единственный. Только лишь ключе-

вая вода. Или, напротив, муть сплошная. Поэтому роет и роет, отыскивая переплетение начал и тогда, когда напластования новых лет, кажется, скрыли далекие истоки.

Это нам с вами кажется — скрыли. Ему, Аграновскому, так не казалось. Поэтому многие его очерки не вгоняются в удобную классификацию — «критические», «позитивные».

Даже случай в общем-то частный, из тех, каким газеты уделяют двадцать строк петита в колонке «Происшествия», он развертывает в явление, далеко уходящее своими корнями. Очерк о старике, в один прекрасный день сдавшем государству огромные богатства, завершается короткой фразой: «Курьез — он дает иногда пищу для серьезных раздумий» («Золотой дым»). И действительно — дает. Хотя мы готовы были довольствоваться скупой информацией. О чем здесь рассусоливать?

Выходит, есть о чем. О самом старике, который уклонился от встречи с корреспондентом, поставив того в трудное положение («И тема для меня необычна, и писать о человеке, не говоривши с ним, я не привык»); о ремесле журналиста (тут у Аграновского всегда почти легкая усмешка: «Наверно, я мог бы, что называется, в лучших традициях репортажа, подстеречь старика, ослепить фотовспышкой, взять врасплох») и о том, каково же место денег в нашей жизни.

Последнее, по моему мнению, подвигло Аграновского на далекую поездку, на очерк о так и не увиденном старике, о судьбе, исследуемой под специфическим углом: «Я предпочту искать причины социальные».

Причины такого свойства для него первенствуют. Не сопряжено ли это с потерями? Сопряжено. Однако и приобретения налицо. Разговор с нечастой для темы откровенностью и серьезностью, приправленной неизменной почти доверительной иронией:

«Не ждите от меня сентенций типа «не в деньгах счастье». Я полагаю, напротив, что «без денег жизнь плохая, не годится никуда...».

Сам старик тоже поддается анализу как явление социальное или явление социальной психологии. В нем, живущем на отшибе, тоже скрещиваются тенденции. Благие и негативные. Их-то и прослеживает Аграновский, давая себе отчет: жанр лишает его возможности оказать предпочтение одной какой-то эффектной версии. Что было бы вполне естественно в романе или повести. Предполо-

жим, старик хотел облегчить душу, замолить какие-то грехи. Или ему отвратительна мысль, что золото достанется кому-то одному. Или глубокий душевный перелом, озарение на склоне лет...

Но нет у автора права на эффектную версию, попирающую прочие.

Он перечислит все, пренебрегая ими. Ему необходимо установить, насколько меняется взгляд на деньги. Это изменение отражает противоборство в человеческой душе и нашем обществе.

Материал для серьезных раздумий дает и старик, пожелавший остаться неизвестным, и человек, чье имя приобрело всесветную известность.

Один из самых лучших очерков Аграновского — «Как я был первым» — о Германе Титове.

Между прочим, сам космонавт в нем не появляется. Но очерк запомнился. В отличие от десятков других, посвященных космонавтам.

Аграновский абсолютно уверен: о Титове напишут и без него. Хотя авиация — кровная его тема, военная его специальность — штурман в авиации дальнего действия. И все-таки он оставит Титова газетчикам, киношникам, телевизионщикам. О них пишет с братской улыбкой, с улыбкой старшего брата, без нажима, но достаточно определенно проводя границу: они — я. Себе он цену знал. Не кичился, но потребности раствориться, неразличимо слиться с товарищами по перу не испытывал.

Никто — ручаюсь — не повернул бы очерк так, как повернул его Анатолий Аграновский, дав нравственно-интеллектуальную предысторию полета Титова, рассказав о Топорове, которому столь многим были обязаны родители космонавта. Все, что совершается, пусть бы и в космосе, совершается не на пустом месте.

В этот праздничный, как и приличествует случаю, очерк врывается струя сдержанной непримиримости. Сдержанная она, поскольку человек, вызывающий ненависть, стар, очень стар. Однако и в старости он «не разоружился», готов бросаться на каждого, кто умнее, образованнее, благороднее его. Как бросался в молодые годы на самоотверженного сельского просветителя Адриана Митрофановича Топорова.

Но еще тогда, в 1928 году, на защиту Топорова встал корреспондент «Известий» А. Аграновский — отец Анатолия, и Анатолий с детства держит в памяти заклю-

чительную фразу отцовского фельетона «Генрих Гейне и Глафира»: «Давайте же запомним имя учителя: Адриан Митрофанович ТОПОРОВ».

Аграновский чувствует личную, кровную причастность к полету Титова. Дальние истоки этого полета небезотносительны к истокам этого и других его очерков. Но причастность непроста; мало ли о ком писал отец. Сын выбрал одну нить. Но нить эта для него, Аграновского-сына, важнейшая. Он будет держаться за нее и тогда, когда судьба не дарует такого выигрышного хода. Не названный по имени враг Топорова — никакой не символ. фигура реальная, во плоти. Она еще не раз возникнет у Аграновского, меняя свое обличье, фамилию, должность. И взывая к размышлениям.

«На следующее утро (после встречи в доме родителей Титова — *В. К.*) в большом сибирском городе я встретился с человеком, о котором заранее знал, что понять его будет непросто».

Не сомневаюсь: сложность понимания — один из первотолчков, заставивших Аграновского встретиться с гонителем Топорова. Быть полезным — значит ясно видеть, постигать людей и явления, трудные для постижения. Праздное любопытство ему было не свойственно. Преобладал практический интерес, потребность вступиться, помочь, отстоять.

(А. Топоров, которому перевалило за девяносто, отбил телеграмму: «Потрясен вестью о кончине виднейшего писателя — моего неизменного друга, мудрого наставника, благодетеля Анатолия Абрамовича Аграновского».)

Последний наш телефонный разговор заканчивался обычно: «Ты чего делаешь?» — «А ты?» Я пожаловался: статья не получается, и вообще нет в ней уверенности, и не уверен, надо ли тратить серое вещество.

Он переспросил, о чем пишу, помолчал, подышал в трубку и сказал:

— Трать, трать серое вещество.

Я и сейчас слышу эти слова, произнесенные с обычной для него интонацией,— ирония приглушает напор, даже назидательность: «Трать, трать...»

Он и в статьях, очерках своих приглушенно насмешлив.

«Этот оратор питал к самолетам любовь горячую, но в основном платоническую: за всю свою долгую и неинтересную жизнь он не вычертил ни одного чертежа и, говорят, ни разу не поднялся в воздух».

Остроты редки, ирония почти обычна. В разговоре он был гораздо остроумнее. И по-мальчишески смешлив. Собеседник еще только начинает байку, а он уже сощурился, уже улыбается. И будет смеяться, когда другие кончили.

В разговорах умен, в статьях и очерках мудр. В них и личные отношения, и служебные конфликты поворачивал общественной, государственной стороной. В том отличие его публицистики. Писал ли он о родителях Германа Титова, о Казанском университете, об официанте Геннадии Рощине или последнюю свою статью о сокращении управленческого аппарата.

Коллеги по «Известиям» опубликовали эту неоконченную, неотделанную статью — незаурядную по широте и вдумчивости подхода — вместе с блокнотными записями, передававшими движение мысли.

Вероятно, никто другой из публицистов не взялся бы за такую тему, не подступился бы к ней. Он же неторопливо, кропотливо, проверяя каждое предположение, допущение, обращаясь к министрам, заглядывая в книги, писал себе потихоньку, отлично сознавая: сегодня это — одна из главнейших проблем. Сегодня.

Он безошибочно чувствовал глубинные преобладающие потребности дня. Именно преобладающие.

* * *

Сейчас, слава богу, пошла на убыль публицистика, которую следовало бы назвать ага-публицистикой.

Поясню о чем речь.

Где-то почин, какая-то новация, выброшен лозунг, найдена панацея, и очеркисты дружно вопят: ага! ага! ага! Спешат распространить почин, поддержать новатора, наперегонки восславляют новшество. Они, естественно, нетерпеливы и темпераментны.

Потом зачастую выясняется, что почин и сам нуждается в починке, новация не универсальна, призыв предполагает корректировку. Но ага-публицисты, не тушуясь, ждут очередной кампании, очередного торфоперегнойного горшочка. Сколько разбитых горшочков уже накопилось в подвалах у иных авторов.

Поэтому, боюсь, у некоторых очеркистов «Избранное» выглядело бы довольно скудно. Одна идея безнадежно устарела, другая себя не оправдала, третья и вовсе ни кудышная и т. д. Обидно, слов нет. Публицист рвался,

старался. Однако благими намерениями вымощена дорога к пункту сдачи макулатуры.

У Анатолия Аграновского органическая недоверчивость к шумным начинаниям, он не охотник поспешно подхватывать. Ему необходимо лично во всем удостовериться, семь раз отмерить, обязательно встретиться с «консерваторами», выслушать их, «предоставить им трибуну» (случалось, что правота на их стороне). Но уж коль ввяжется, то неотступно, напористо, бескомпромиссно. «Прокукарекал, а там хоть не рассветай» — это не о нем. Он не был «профилированным» очеркистом, писал об одном, о другом, о третьем. Но, написав о чем-либо, считал это кровно своим, продолжал заинтересованное наблюдение. Дотошливый, въедливый, он до некоторых причин и деталей иной раз доходил уже после первой публикации, не боясь о том признаться в новом очерке или в подстрочных примечаниях, которыми снабдил свой однотомник. Из подстрочных примечаний, между прочим, и одна из заимствованных мною фраз. В полном виде она выглядит так: «Тут я понял, наконец: боятся конкуренции?» Она еще со знаком вопроса. Понять-то понял, но в выводах осторожен. Ему искони присущ подход, распространившийся сейчас,— хорошенько взвесить, поставить эксперимент, дождаться результатов.

Он не ведал трепета ни перед проблемами, ни перед чинами-званиями, замахивался на незыблемые вроде бы авторитеты. Но без малейшей запальчивости, подкусывания, несколько опять-таки флегматично. И это сообщало характеристикам и выводам еще большую доказательность. Хотя, в общем, не в его манере, не в его натуре кого-то расчихвостить, дать ума» и т. п. Он совершает это по необходимости, уличая не столько человека, сколько систему воззрений, суеверий, предрассудков, вялость души и мысли.

Его печаль-забота — дело, он представляет «деловую прозу».

Но такие вполне справедливые определения подходят не только к Аграновскому. Он же исследует, рассматривает дело до той стадии, когда вырисовывается явление.

Верно, и в этом он не одинок. Но ему такое удавалось, пожалуй, лучше, нежели многим. Потому его статьи и очерки на сугубо специальные темы (экономика, планирование, неурядицы в мотеле, рынок лицензий, фармакология) читались всеми, кто брал в руки номер га-

зеты. Кому не доставалось, просил у соседей, у знакомых,— «Там Аграновский».

Не предмет даже привлекал — автор. Уверенность: он сообщит нечто важное. Чему-то *научит*.

Аграновский захватывал не только остротой проблемы, не только умением добраться до донышка и обнаружить там подчас всякие неожиданности, но и мерой своей заинтересованности. Заинтересованности не крикливой, не сулящей сенсаций, а такой, какая близка каждому, потому что искренна, чистосердечна и всегда имеет цель, выходящую за непосредственные рамки события и за временные его границы.

Примечательно это сочетание злободневности с далеким прицелом. Погруженный с головой в какую-то проблему, не чурающийся мельчайших подробностей, Аграновский не только не погрязает в них, но хочет увидеть целое, угадать его покамест еще неразличимые перспективы. Как-то он написал, что хорошо было бы печатать «по следам наших выступлений» не через неделю, месяц, а лет через десять, через пятнадцать.

Мне запомнилась статья шестьдесят пятого года «Наука на веру ничего не принимает», шум вокруг нее. Хотя Аграновский менее всего жаждал шумихи, бурных всплесков. С первого абзаца, как и любил, настраивал читателя, устанавливал тон.

«Так вот, давайте сразу условимся о тоне разговора. Тон должен быть ровный. Никаких сенсаций, никаких возмущенных возгласов, будем обстоятельны и учтивы. Восклицательные знаки прибережем для других случаев. А сейчас спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие».

Спокойно, методично, обстоятельно установлено: эксперименты на специальной базе в Горках, где на практике подтверждали теорию Т. Лысенко,— туфта. К тому же грязная (подделки, приписки, подчистки). Не нарушая взятого тона, подавляя клокотавшие внутри гнев и боль, он показал, к чему привел монополизм в науке, во что обошелся стране, как отразился на людях,— среди них попадались и работящие, но не умели, не видели нужды проверять себя, свои воззрения, полагаясь на опыты с заранее подогнанным итогом.

Был нанесен один из самых сокрушительных ударов по ложному учению и губительной практике.

А лет эдак через пять — помню наш разговор в холле

Переделкинского дома творчества — Аграновский, вальяжно откинувшись в кресле, посасывая неизменную «казбечину», признался, что ему не дает покоя история с Горками, ее парадоксальное продолжение.

Справедливость восторжествовала. К руководству в научных учреждениях пришли настоящие ученые. Но иные из них, завладев господствующими высотами, принялись расправляться с несогласными теми же примерно методами, какими прежде расправлялись с ними. Снова возобладал монополизм. Совсем другого направления. Но — монополизм.

Я спросил:

— Почему ты не пишешь об этом?

Не берусь воспроизводить его слова — слишком много миновало времени. Передам смысл.

Его удерживали две причины.

Пришлось бы обидеть людей, уже немало настрадавшихся.

Вторая причина менее высокая: такая статья сейчас не пройдет. Монополизм — он и есть монополизм. Кстати, и статью «Наука на веру ничего не принимает» напечатали не «Известия», а «Литературка».

Проблема «пойдет — не пойдет» возникала перед Аграновским и в последующие годы. Как возникает она перед каждым принципиальным публицистом. Завет Чаадаева еще никому, начиная с самого Петра Яковлевича, не облегчал жизнь.

Для Аграновского существовало это «не пойдет». Он не любил жаловаться. Быть может, с более близкими друзьями делился своими горестями. Мне лишь однажды сказал: ничего не идет. В подробности не вдавался. Но листаю однотомник и вижу «неурожайные» годы. Причины, вероятно, разные. Кроме одной — нежелания писать. Он увлеченно любил свое дело, был одержимо предан ему, сознавал его значение, и — ручаюсь — не его вина в малом выходе.

Человек положил свою писательскую жизнь, доказывая необходимость государственно-разумного практицизма, предельного использования всех ресурсов, вплоть до серого вещества («Трать, трать...»).

А его самого, великого труженика, всегда ли рационально использовали?

Он выгодно отличался от большинства собратьев по перу, свято убежденных, будто всякое их изделие —

шедевр. Давал себе отчет: моя епархия — публицистика. Если же сочинял повести и сценарии, то не столько по зову сердца (оно принадлежало очерку), а по житейской необходимости. Кто ответит, во что ему обходилось такое переключение?

Удачливость Аграновского отнюдь не безбрежная. Средь баловней судьбы он не числится.

* * *

В публицистике, точнее — вокруг нее, тоже укоренилось множество суеверий и предрассудков, претендующих на универсальность. Очерк — это как бы школа для будущего романиста, плацдарм для автора грядущих повестей и пьес. Закрепится на плацдарме, набьет руку на всяких там статьях-очерках и примется за эпохальные полотна. Даже уверяют, будто великие таким именно манером выбивались в классики.

Можно подумать, Аграновский одной из целей своих ставил разбить литературоведческие шаблоны, касающиеся очерка. Ничего похожего на подобную цель он, разумеется, не преследовал. Но его вечные атаки на шаблон, косность, умственное убожество чаще всего в сфере хозяйствования выходили за границы сферы.

Очерк — не средняя школа и не перевалочный пункт, после коего писатель, набравшись ума-разума, становится творцом нетленных ценностей. Никому не заказан путь в «большую прозу», но и «малая» — отнюдь не обязательно трамплин для головокружительного прыжка в нее.

Будь постоянные для того возможности, я убежден, Аграновский не отлучался бы за пределы публицистики. Зачем ему? Здесь он себя максимально выявляет, более того — видит плоды рук своих, слышит, как резонирует его слово, получает — он и не скрывал — истинное удовлетворение. Так чего бы ради ему множить ряды средних прозаиков и сценаристов?

Есть, правда, сейчас хорошие, обильно печатающиеся очеркисты, которые все же пытаются, пусть бочком, но встать в ряды посредственных прозаиков. Быть может, они уверовали в эту формулу: публицистика — средство накопления материала для романа; быть может, полагают, будто Лев Толстой, поднабрав материала с помощью публицистики, убедившись в малой отдаче очерков на бракоразводные темы, поныне обожаемые очеркистами,

преимущественно женского пола, отчаявшись, взялся за «Анну Каренину».

Аграновский по сему поводу не заблуждался. Он хотел трудиться именно в публицистике, почитая ее жанром, ни в чем не уступающим остальным жанрам литературы (у каждого свои пределы, особенности, свой потенциал). Хотел, чтобы именно эту его работу ценили.

Однажды Аграновский позвонил мне как соавтору статьи об очерке в «Вопросах литературы», где упоминалось и о нем, и несколько церемонно поблагодарил. Иронии в его словах я не уловил. Недели через полторы мы встретились в Доме литераторов, и он снова принялся благодарить. Я попытался все свести к шуткам, но, вопреки обыкновению, тон его оставался абсолютно серьезным: «Я люблю, когда меня хвалят за то, за что надо хвалить».

Один из популярнейших авторов, каждый очерк — достояние самой широкой аудитории, сотни писем, одобрительные звонки из высоких инстанций, а он, куда менее тщеславный, чем принято в литературном цеху, радуется считанным страницам в журнале со скромным тиражом.

Когда его не стало, вспоминая наши встречи, разговоры, перечитывая его сборники, я, как мне представляется, понял, что стоит за этими несколько необычными для него словами.

Ему хотелось, чтобы его очерки воспринимались как *явление литературное*. Именно явление. И именно литературное.

Ведь сам он всякий раз показывает, доказывает: это всё явления, проблемы, даже то, что может сойти за мелочи и пустяки.

«Возможно, кто-то нахмурится: подумаешь, вельветы, цветики, застежки. Разве нет у нас проблем поважней? Самолеты строим, атомные реакторы!»

Аналогично можно рассуждать и применительно к очерку. У нас сейчас «деревенская» проза и «городская» плюс проза «сорокалетних» (которым под пятьдесят), поэзия молодых и поэзия фронтового поколения; критика спорит о своеобразии современного романа, о полифонии, о мире, притче и еще невесть о чем. До очерка ли тут? До газетчины ли? (Тем паче иной очерк и есть чистейшая газетчина.)

Но вот попытались рассматривать очерки Аграновского в литературном ряду как явление художества и уже по-

тому - общественной жизни; самобытные произведения, а не заготовки для повести либо романа; не уверяя, будто он «вторгается» в жизнь. (Вторжение — акт разрушительный, агрессивный, совершаемый извне. Термин пусть и окаменел, но не стал удачнее. Особенно применительно к Аграновскому, который постоянно озабочен созидательными задачами.)

Судя по многим теоретическим выкладкам, в том числе по некоторым статьям об Аграновском, публицисту надлежит быть разведчиком (любим армейскую лексику, имея приблизительное о ней представление), первопроходцем.

Разведка? Это незримо и неслышно проникнуть в расположение врага, раздобыть сведения, удастся — прихватить «языка». И наутек. У слова «разведка» имеются и другие, более иносказательные значения. Но и они очень отдаленно подходят к тому, чем занимался Аграновский, чем занимаются сегодня другие публицисты.

Вторгаться, вести разведку... клокочущий темперамент, благородное нетерпенье... В одной статье (не об Аграновском) я прочитал, что публицисту надлежит сверх того быть изворотливым. В другой — похвалу очеркисту, пишущему не на «загородной даче».

Да какое все это имеет касательство к работам Аграновского и тех его коллег, кого мы читаем с интересом и уважением? А от чтения сочинений, вышедших из-под пера нетерпеливого и изворотливого, увольняюсь. Сыт по горло.

Не разглашая великой тайны, сообщаю, что многие статьи и очерки Аграновский писал на даче. Но дачу не любил, за городом томился. Уверял, будто тоскует по асфальту, а от чистого кислорода задыхается.

Я с ним вместе не работал, но, думаю, «материал в номер» — это не по его части. И не след, даже из самых лучших побуждений, рисовать его эдаким газетным волком.

Он любил газету, ценил товарищей по газетной работе, и они, насколько я знал, его любили. Но не растворялся в редакционном коллективе. Уровень его гражданского, художнического мышления был независим, самостоятелен, высок. Как у всякого настоящего писателя.

Один из критиков предложил для Анатолия Аграновского такую дефиницию: газетный писатель.

Я же отношу Аграновского к писателям без эпитета

«газетный». Как и Смуула, Овечкина, Дороша. Как и лучших из ныне здравствующих очеркистов.

Предвижу возражения: Аграновский сам себя называл журналистом, и не однажды.

Что с того. Не хватало еще, чтобы он представлялся: писатель Аграновский. Умом и тактом он не был обойден. Но в упорстве, с каким именовал себя в очерках «журналист», «корреспондент», мне видится не только скромность, облегчающая к тому же общение с людьми (журналисту откроются легче, чем писателю). Тут и прием, и маска, и роль. Будучи писателем, он выступал в обличии корреспондента, использовал журналистские средства и возможности, собирая материал, но шел гораздо дальше, чем обычно идут газетчики, проникал в слои, зачастую им недоступные, пробивался к общественно значимым целям.

Не всегда надо принимать на веру слова писателя, особенно когда он говорит о себе, и не надо их понимать слишком буквально.

Да, он всю жизнь провел в газете — сперва «Литературка», потом «Известия». (И, сколько я его помню, грозился уйти из газеты.) Наложила ли газета отпечаток на его творчество? Безусловно. Иной раз сказывалась даже на словаре. Но не обратила в «газетного писателя», как это принято понимать. Кроме нетерпения, темперамента, подразумевается «еще и совершенно особое видение темы, газетного листа, обостренная реакция на события нашей сегодняшней жизни...». Далее: газетный писатель редко бывает автором одной темы (а не «газетный»?); читательское письмо, телефонный звонок, тассовская короткая информация срывает его с места и бросает из одного конца в другой.

Аграновский менял не тему, а бесконечно менял материал; менялись ситуации, люди, конфликты в его очерках. Но тема... Не то чтобы одна-единственная. Но бесконечные вариации на тему.

Легкий хлеб — прятаться за цитаты, подставляя автора на место героя. Но в очерке «Однолюб» (писался в 1962 году; Аграновский был еще, как говорится, «широко известен в узких кругах») местами прорывается нечто близкое к исповеди. Но опять-таки не надо трактовать буквально.

«Что ж, прямая линия — она, конечно, «бедней» зигзага или кривой. Но именно прямая есть наикратчайшее расстояние между двумя точками. Видно, у каждого быва-

ли в жизни моменты, когда какая-то важная цель спрямляла линию жизни.

Заметьте, я не утверждаю, что это наилучший путь и что у всех должно быть так. Я не обещаю, кстати, что мой герой окажется «типичным представителем», возможно, он окажется совсем не типичным».

Неразумно противопоставлять журналистику писательству. Жизнь, опыт Аграновского вопиют против этого. Его писательский талант сродни журналистскому. Мне думается, Аграновский выражает определенную тенденцию современной литературы — ее повышенную чуткость к общественным явлениям, политизацию творчества. Он эту тенденцию выразил лучше, ярче и достойнее многих. С чувством меры, присущим истинному художнику, начисто свободному и от конъюнктурных завихрений, и от элитарной спеси.

Не в том вовсе вопрос, что газетная работа — второсортное, низкое; то ли дело — эмпиреи писательства, раздольные парнасские луга. Настоящий журналистский талант так же редок и неповторим, как всякий. А бездарность — она всюду бездарность. Даже когда выпускает толстенные романы.

Понятна гордость известинцев за Аграновского, их желание считать его своим и только своим. Тем более, он был добрым товарищем в большом коллективе, платившем ему признательностью и великодушием.

Почему — великодушием? Аграновский высоко поднимал планку. Соседствовать с ним на газетной полосе трудно, кое для кого опасно. Заметнее небрежность репортерского пера, языковая скудость, незначительность задачи и блеклость решения.

Вместе с тем Аграновский тянул за собой, учил наглядно и убедительно, каждой своей строчкой показывая, что́ есть подлинное служение и чем оно отличается от исполнения служебных обязанностей. Его, не побоюсь сказать, самоистязующая требовательность к себе, превышавшая любые газетные нормативы, тоже учила и тоже заставляла говорить о нем прежде всего как о писателе, художнике.

К Анатолию Аграновскому, как и ко всякому самобытному писателю, литературно-критические стереотипы массового производства не подходят, они отскакивают, бьют мимо. Однако его все же норовят втиснуть в одну категорию, в другую. Одним аршином пробуют измерить,

другим. Но нередко складывается впечатление, будто аршин прикладывается к кому-то иному. Минутами действительно напоминающему Аграновского, но все же не к нему.

Писателю, разумеется, надлежит расти, с годами все более и более совершенствуясь. Так, вероятно, чтобы к исходу жизни достичь уровня классики. Но я не обнаружил принципиального отличия ранних (начало 60-х годов) очерков Аграновского от поздних. Он никогда не занимался молокопоставками. Бывали очерки более удачные, бывали — менее. На всех этапах.

Спорно утверждение: «В первых своих очерках Аграновский, например, куда более категоричен в суждениях по поводу «добра» и «зла», более пылок в своих определениях. У позднего — все сдержаннее, больше полутонов, светотени». Не обнаружил. Ему изначально была свойственна сдержанность, отлично уживавшаяся с определенностью, но не слишком жаловавшая безапелляционность. Таков он по складу душевному, по склонности человеческой и писательской. И когда хотел кого-либо отбрить, проделывал это с величайшей корректностью и потому особенно убийственно...

Аграновский действительно признавался:

«Раньше я был злее. Теперь не то чтобы добрый стал, но научился входить в положение...»

Жизненный опыт, конечно, накапливался. Но вряд ли он так прямо переходил в творчество, увеличивал полутона и светотени.

Перед нами — писатель не газетный. Сложный и необычный, теперь, когда его не стало, скажем: уникальный. Что отнюдь не исключает сопоставления с другими писателями.

Безотносительно к датам первых, ничем не примечательных публикаций Аграновский — представитель поколения, вступившего в жизнь с началом Великой Отечественной войны, в литературу — в конце пятидесятых годов. На этих двух рубежах происходило становление, формирование. Ими определены многие особенности писательского творчества Анатолия Аграновского.

* * *

Отдав десятилетия публицистике, затратив немало серого вещества, обдумывая ее сложности и особенности, Аграновский хотел, чтоб о жанре, о людях, работающих

в нем, наконец о нем самом судили здраво, по существу. Желание естественное, ничего предосудительного, удивительного нет. Ничего сверхоригинального в его статье о публицистике тоже нет. Он вообще менее всего был озабочен своей оригинальностью. Статья — обработанная стенограмма выступления на совещании публицистов. Она уже расхватана на цитаты; фразы из нее набрали незыблемость афоризмов, и я не стану их приводить.

Выступление это личное, субъективное; умозаключения делаются на основе собственного опыта, концентрация взглядов, накопившихся за долгие годы. Думая всякий раз о ситуации и человеке, он вместе с тем думал о жанре, не мог не думать. В этих мыслях, идущих параллельно, нередки совпадения. Аграновский говорит об убежденности как норме публицистики и о назначении публицистики будить общественную мысль, отлично сознавая, как это нелегко. Легко и просто усыплять общественную мысль. Это занятие не бесполезное, как чаще всего считают, а вредное. Вред такой мы еще не умеем оценивать.

От публициста Аграновский ждал преимущественно того же, чего от всякого работника. Пусть бы хранил верность интересам дела, был безупречно честен, жил своим умом, не пробавлялся расхожими истинами и не прикрывал пустословием собственную пустоту.

Подготавливая стенограмму для печати, снабдил ее заголовком, каким и должен был снабдить,— «Давайте думать». Не то чтобы «Отправимся в разведку», «Начнем вторгаться». Единственное, к чему приглашал собратьев, «Давайте думать».

...Пока пишутся эти заметки, время идет своим чередом, подбрасывая доводы в подтверждение правоты (или неправоты) Аграновского.

Итак, настаивал он, публицистика не довольствуется констатацией или даже открытием фактов, самых потрясающих, она жаждет их постижения, иначе во многом утрачивает резон.

В конце мая 1984 г. «Литгазета» поместила публицистическую статью Виктора Астафьева «Мусор под лестницей» — страстную, гневную, написанную, сказали бы прежде, кровью сердца. Писатель не ищет примеров необычных. Он предпочитает известные почти каждому. Лампочка, вывинченная в подъезде; жилец по ночам сваливает мусор под лестницей; халтурщики уродуют катера, вытаскивая их на зимний отстой; бетон, вылитый в тайгу,

в кусты; новая ГЭС приносит неисчислимые, непредвиденные бедствия; сын безотказно принимал от смертельно больной матери ее пенсию, но на похороны не приехал; почтовое ведомство, облегчающее свою деятельность, затруднив жизнь населения... Он прямо-таки носом тычет в случаи порчи нравов, называя вещи своими именами, мужественно поднимая голос против многоликой мерзости.

Но чувство полной солидарности с писателем у меня сменилось недоумением, когда дошел до заключительных абзацев, где В. Астафьев предлагает свой способ искоренения пакости: «Да подойдите же, подойдите, парни, и дайте ему пинкаря, потом за шкирку его и в кутузку»

Согласен: мало кто верит, будто, повторяя изо дня в день возвышенные напутствия, можно посеять в дремучей душе «разумное, доброе, вечное». Изверились. Отчаяние В. Астафьева понятнее бодреньких заклинаний.

Но мордобой в качестве средства против хамства? «Благородные» пинкари — занятие куда как увлекательное. Только где ему предел? Кто предугадает последствия?

Нет, полагаю, у писателя права на подобный клич. Никто никогда в нашей литературе не бросал его, не звал ко всенародному мордобою во имя очищения нравов. И нет у писателя права пренебрегать последствиями собственных обращений, от которых — бабушка надвое гадала — будет больше вреда или пользы.

«Хватать за шкирку»? Хватают. И кутузка обычно не пустует, вытрезвители набиты под завязку. Много ли проку? Школьникам-старшеклассникам — не всем, так многим — вечерняя встреча не в радость без «полмитрия» и «бормотухи».

Подкарауливает второй вопрос. Как же быть с самообслуживателями из почтового ведомства и из торговых заведений? со сплавщиками, уродующими катера? с шофером, опрокинувшим самосвал с бетоном на живые кусты? Им тоже, что ли, пинкаря и за шкирку? Незадачливых проектировщиков ГЭС, вполне вероятно выполнявших чье-то волевое решение,— в кутузку?

Если ярость слепит писателя, гнев застит глаза, он и при изначальной своей правоте вряд ли найдет мысль, действительно необходимую людям. Советы, данные от чистого, изболевшего сердца, не пойдут во благо. Хорошо бы не пошли во зло.

Упрямый призыв Аграновского «Давайте думать» пред-

полагает самостоятельное писательское, журналистское осмысление проблемы, конфликта, бедственного явления. Пусть и запутанных, мучительных.

На худой конец, по мне, лучше уж, достойнее признаться: не знаю, как поступить, чем, благородно негодуя, указывать ложный выход. Не зря Аграновский как черт ладана боялся поспешных умозаключений, опрометчивых напутствий, доверчивого повторения расхожих советов.

Аграновский создал тип очерка, где согласно главенствуют мысль и человек.

Заранее принимаю: такой тип порожден временем, имеет предшественников, предтеч, в его становлении участвовали и другие очеркисты (не так уж их много, когда ведешь строгий счет). Однако и при всех необходимых оговорках, уточнениях очерки Аграновского не спутаешь с чьими-либо другими. Не только из-за общности мироощущений, неотступного единства ведущей темы, тщательности фразы, точности детали, выверенности сюжета. Даже определенность интонации, подчеркнутая уравновешенность старта, сулящего взрыв, не исчерпывает своеобразия очерков Аграновского. Тогда что же еще?

Недавно я прочитал: главный герой очерков Аграновского — Аграновский. Далее фигурировали другие видные очеркисты в роли главных героев своих очерков.

Верно ли это по отношению к Аграновскому? Отчасти — да. Но лишь отчасти.

В поэзии есть понятие «лирический герой», в прозе — «герой-рассказчик». Имеется и соответствующее объяснение этих понятий. Аграновский, как «положительный герой» собственных очерков, тоже и «лирический герой» и «рассказчик», но он еще и действующее лицо, почти неизменно присутствующее «в кадре». Неизменно и активно. Сознавая свое право на эту активность, не играя в безразличие, не изображая из себя Нестора-летописца.

Подобную позицию, нередкую в современном очерке, занимает каждый литератор на свой лад.

Знакомство с Аграновским — героем его же очерков — интересно и поучительно. Писатель, выступая действующим лицом, оправданно привлекает наше внимание. К нему применимы слова Л. Толстого: «В сущности, когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда таков: «Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься

от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?»

Однако слова эти приложимы и к другим авторам очерков, публицистических статей (в неменьшей мере, разумеется, к авторам повестей, романов, пьес, но сейчас не о них речь).

Остерегая задеть кого-либо из очеркистов, испытывая искреннее к ним уважение, я все же не могу не видеть, что обычно Аграновский шире мыслит, дальше видит, серьезнее анализирует. Задает и выдерживает, не размениваясь на побрякушки, высокий уровень литературной культуры. Менее многих он обеспокоен тем, как смотрится,— слишком для того целеустремлен. Не сверкает эрудицией, не потрясает раскатами прокурорских обличений, не норовит разжалобить адвокатским красноречием. Похож на самого себя в жизни. Очень похож.

Но если кто-нибудь, добросовестно перечитав подряд его очерки, вообразит, будто знает Аграновского лично, он ошибется.

Между человеком, написавшим очерк, и тем, который в нем действует, различие примерно такое же, как между прообразом и персонажем.

Читая очерки Аграновского, трудно, например, представить себе, что их автор на досуге сочинял песни и умел лихо отплясывать чечетку. Но компанейским человеком я бы его не назвал. Не был «душой общества», «рубахой-парнем». Но еще меньше скрытности или того, что называют «себе на уме». Чувство собственного достоинства пришло не вместе с известностью, оно природное и одинаково давало себя знать всегда, в самых разных обстоятельствах. Оно, кстати, бросается в глаза, когда очерки воспроизводят его беседы с лицами именитыми, высокопоставленными. Ничего от подыгрывающего интервьюера, ни малейшего поддакивания, желания заранее угадать ответ.

Так почему же я не присоединяюсь безоговорочно к тезису «главный положительный герой очерков Аграновского — Аграновский»?

Потому что главное для этого «положительного героя» — отыскать своего положительного героя в жизни. Такова человеческая и писательская потребность, ведущая черта творчества. Автору необходим герой-созидатель, отвечающий лично его требованиям.

«Надоели дилетанты. Полуспецы, недомастера, люби-

тели в том единственном прямом своем деле, за которое получают зарплату. Как-то, я бы сказал, многовато развелось их — людей, которые не умеют. От дилетанта-водопроводчика, после которого обязательно текут краны, до дилетанта-руководителя, который портит дело, так сказать, в более крупном масштабе».

Крик души, пусть и приглушенный. Крик души, ставший декларацией. Совпадает она с редакционным заданием или нет — дело десятое. К литературным поветриям она отношения не имеет. Вообще поветрия, моды его нисколько не занимали. Как не занимают, вероятно, никого из настоящих писателей, зато сводят с ума литературных ремесленников, приспособленцев, понуждая бросаться из крайности в крайность.

Аграновский и крайности — две вещи несовместимые. Дурачка, который на свадьбе плакал, а на похоронах смеялся,— в страхе перед перегибами, я обнаружил в 3 (трех!) очерках. Это — нескрываемый страх автора, доподлинно знавшего, во что обходятся крайности, кампанейские перегибы. Положительный герой ему нужен и как противоядие, гарантия от перегибов, от губительных их последствий. Не только потому, конечно.

Он нуждался в союзниках, единомышленниках, в людях, с внятным ему упорством делающих свое дело. Не краткосрочное, не эффектное, не выигрышное. (Не могу себе вообразить Аграновского автором очерка о звезде экрана.) Он предпочитал людей не самых заметных, далеко не всегда сразу оцененных, иной раз подвергавшихся гонениям. Но упрямо гнувших свою линию, глубоко убежденных в собственной правоте и полезности. Награды, признание если и приходят, то позже. Аграновский удовлетворенно снабжает давний очерк подстрочным примечанием: стал членкором, был награжден, удостоился лауреатского звания.

Писал же часто о еще не удостоившихся, не награжденных. Ему, автору, уже ясно значение героя, ясно оно и кругу сподвижников героя; сейчас, благодаря очерку, оно станет ясным стране.

В том мне видится одно из основных объяснений работы Аграновского в газете — возможность придать самой широкой гласности имя и опыт человека, трудящегося на благо народа, возможность сблизить этого человека с народом, рассказать о нем так, чтобы пробудилось чувство деятельной солидарности, чтобы о нем подумали и

те, кто далек ему в силу самых разных обстоятельств, кто вообще-то не слишком склонен задумываться. Поэтому о положительном герое мало сообщить. Его надо написать. А это задача труднейшая. Для всякого автора. Романиста, драматурга, очеркиста.

Поэтому недостаточно хорошо думать, уметь выстраивать сюжет и находить детали. Надо передать характер, надо воссоздать личность в труде, в исканиях, в борьбе, среди людей и наедине со своими мыслями. Положительный герой Аграновского, независимо от того, чем он занимается, напряженно думает. Об одном сказано: «Неделю, две недели, месяц он думает. Сам думает, отбросив житейскую мудрость слабых: «И до нас жили люди не глупее нас».

Я не знаю другого современного литератора, так упрямо, так неизменно нацеленного на думающего героя. На героя, чьи собственные мысли неизменно согласуются с делом.

Многое могло быть под силу Аграновскому, однако, не умей он найти и написать человека, не занимать бы ему своего места в литературе,— да, прежде всего в литературе,— какое он занимал.

Распространенная жалоба очеркистов: наша продукция стареет с быстротой, с какой черствеет хлеб.

Прочитав десятки очерков, написанных Аграновским за четверть века, я ни разу не почувствовал: устарело. Ни разу.

Очерк долго держится на плаву, когда живы его герои, когда автором сообщен им такой запас жизненной энергии (или обнаружен этот запас в них самих), что он выстаивает на ветрах времени. Разумеется, и у него свои сроки; они во многом обусловлены жанровыми возможностями. Еще и тем, что Аграновский всегда писал о конкретных людях, сохранял их имена и ощущал пределы подлежащего огласке.

Будучи и сам участником очеркового действия, он не спешил вдаваться в личные воспоминания, зазывать в собственную творческую лабораторию. Раскрывался настолько, насколько необходимо для сложившейся ситуации. Эта сдержанность, строгость распространялась на положительного героя. Хотя о нем, естественно, говорилось куда подробнее. И об отрицательном персонаже тоже говорилось подробно.

Его очерки чужды бухгалтерски выверенному соотношению плюсов и минусов.

Как ни важен ему положительный герой, как ни необходим, всего дороже — правда, цельность картины. А правда не в пропорциях и мелочных подсчетах, но в нестихающем, негаснущем единоборстве начал.

Об этом Аграновский постоянно помнил, постоянно думал. Даже в такие светлые дни, как дни космических побед. Не зря же он от родителей Германа Титова, не мешкая, поехал к человеку, который — если без скидок, подрессоривания — приложил немало подлых усилий в стремлении задушить порыв к знаниям, свету. Он бы и сейчас, дай ему силу и волю, продолжал бы осаживать несогласных. Любыми средствами и способами.

Таких осаживателей — помоложе, позубастее — полным-полно в очерках Аграновского.

Но нет у писателя априорности, не всегда отделишь «добро» от «зла»,— слишком они перепутаны в жизни, слишком от многих обстоятельств зависит, что возобладает, возьмет верх. Поэтому его занимало соответствие человека месту, условия, благоприятствующие торжеству «добра» либо «зла».

* * *

Я не знал, как завершить эти записки. Тоскливо и печально листал «Избранное» Аграновского. И вдруг наткнулся на процитированные им тютчевские строки:

Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.

«Я думал: самое страшное в смерти — беспамятство, молчание. Человеку нужна уверенность, что начатое им закончат. Что сделанное им запомнят. Это вид бессмертия: делами, как и детьми, он продолжит себя среди живущих. Желанье славы сродни инстинкту продолжения рода. В это мы верим...»

Виктор ЦИГАЛЬ

Как я рисовал портрет Анатолия Аграновского

Давно, когда мы все были молодыми, к нам в Коктебеле, к костру за домом, собирались друзья.

Весело готовили шашлыки.

Красивые Галя и Толя тоже были с нами. За столом они пели. Они умели это делать. Мы все их любили.

Толя лениво брал гитару. Цвет его лица золотистый, тени — темными провалами.

Освещенное верхним светом лицо лепится энергично. Оно при этом становится необычным, непохожим, новым.

Окруженный заранее восторженными взглядами, Толя трогает струны.

Я любовался им и прикидывал, как его «взять» в портрете.

Годы шли, а я все только любовался. Однажды в 1974 году я предложил ему позировать. Он с радостью согласился, говоря, что его никто никогда не рисовал.

В Москве мы стали работать портрет. Погода была слякотная. В мастерской было темно. Устроились у самого окна. Я рисовал углем, а Толя тихонько пел под гитару. Пел много, щедро. Песни были озорные, лиричные и старые гусарские романсы. Стихи Ахматовой, Заболоцкого, Пастернака он перекладывал на собственную музыку. А пел легко, как бы небрежно, и в этом был юмор, был шик. А глаза завораживают и тоже поют.

Я ловлю изгибы поющих губ, красоту пальцев, перехватывающих лады и... застывающих на грифе в удивительно острых по рисунку положениях.

Невольно лезут в голову гитаристы, мандолинисты, лютнисты Эдуарда Манэ, Гальса, Ватто и других великих.

Гитара моя, хоть играть я не умею. Толя ее хвалит. Мне приятно: дождалась мастера.

В перерывах говорили о работе журналиста. Он принес мне свою книгу очерков «А лес растет» в подарок и деликатно отметил точками в оглавлении, что надо прочесть в первую очередь, а что — можно и не утруждаться.

Понятно, что я прочел все подряд. Говорили мы об изобразительном искусстве. Не помню точно, какие были вопросы, но Толю интересовали проблемы творчества, специфика его. Он умело и профессионально расспрашивал, выспрашивал меня, вникая в подробности работы художника. Мы касались с ним и наших биографий. Я, помню, рассказал ему, как я учился в столярной школе. Ему понравилась фраза, которую любил повторять прекрасный столяр-педагог нерадивому ученику: «Ты делай хорошо, а плохо — само выйдет!»

Толя сказал, что использует это в своих очерках. Я же бился с портретом, потому что не мог передать Толину мягкость, его обаяние, неторопливость.

Во время работы у меня изменилось представление о профессии журналиста. Прежнее примитивное понятие об оперативности, быстроте, напористости, связанных со сроками и неизбежной поверхностностью суждений, представлялось мне в понятии «журналистика». Все это рассыпалось, когда я говорил с журналистом Аграновским. Передо мной раскрывался масштабный умный талант.

Помнится фраза среди его размышлений: «Лучше быть первым журналистом, чем последним писателем!»

Портрет я с трудом окончил и предложил сделать второй, акварельный. Толя согласился. Первый отдал ему, он и сейчас висит у него в кабинете. Видно, между нами возникла та атмосфера, когда оба хотят, чтобы портрет получился хорошо, а это не часто бывает, когда позирующий помогает, болеет за дело художника.

Ему еще не надоело терпеливо сидеть часами и слушать «нос чуть правее», или «наклон на левое ухо» и т. д. А мне не хотелось его отпускать, с ним расставаться. Вечная тема: художник и модель, так бы и глядел, и разглядывал, лепил бы форму, ловил бы движения, мерцания глаз...

Слушаю голос, слова, мысли... и вот уже не художник и модель, а просто два человека в беседе приоткрывают один другому хоть и не всю душу, но краешек ее... и, как бы стыдясь за откровенность, громко прихлопывают шуткой.

Но опять возвращаюсь ко лбу с глазницами, цвету уха, цвету гитары, характеру носа.

И снова к целому, к духовности модели, ее интеллекту.

Акварельный портрет я сдал по договору в Союз

художников, и он где-то путешествует по выставкам под названием «Гитарист»...

Это было в 1974 году.

Сейчас осень 1985 года...

Я сижу один у костра в Коктебеле. На мне теплая рубашка, в которой Толя тогда позировал мне. Галя подарила.

Друзья ушли в дом смотреть телефильм «Моцарт». Дрова сейчас прогорят, и я положу шампуры. Все как когда-то...

Толя, где ты сейчас? В эту секунду?

Коктебель почти тот же, и друзей наших ты почти всех знаешь.

Вскоре начнется застолье. А пока очень тихо. Звезды совсем близко на черном небе. Плывущие облака стирают их, но они снова появляются с другой стороны облаков. Вот собачий лай. Вот туристы хлопают дверцами автомашины. Прошелестев листьями, упала с дерева груша.

И опять тишина...

Толя, подай знак!..

Ст. РАССАДИН

Письмо к Г. Ф. Аграновской

Дорогая Галя, то, что я собираюсь написать, предназначено не тебе одной,— если захотят, это опубликуют. Но обращаюсь все-таки к тебе.

Не потому, что галантно стилизуюсь под эпистолярный жанр. Это не литературный прием, скорее, напротив, попытка обойтись без литературы, преследующей по пятам каждого профессионала.

Когда-то один поэт, написавший поэму на смерть жены, выступил публично и пустился в разъяснения:

— Я здесь ставил такие формальные, стиховые, ритмические задачи...

И т. п.

По ранней молодости лет мне эта поэма нравилась, потом, вероятно, разонравилась бы все равно, но когда я услыхал о «задачах»,— как отрезало. Будто человек рыдает над гробом и при этом косо считает, сколько именно капель упало на крышку.

Я пишу тебе потому, что мне так легче. Естественнее.

Если бы я сочинял воспоминания, чего не умею, и при этом не страшился впасть в некоторую велеречивость, я бы назвал их: «Мученик...»,— нет, это уж слишком — «Заложник вкуса». Позже, может быть, объясню, почему. Или просто — «Толя».

То, что именно так, а не «А. А. Аграновский»,— не намерение пофамильярничать. Наоборот. Борькой, Сашкой — по общей неискоренимой и расхлябанной московской привычке — я называл, бывало, даже тех своих друзей, которые были много меня старше. Его — в глаза и за глаза — только «Толя» и при моем злом, нередко неразборчиво злом языке, кажется, ни разу не решился над ним подшучивать: всегда ощущал его внутренне старше себя. Это уж его законное право было обращаться ко мне, к Малолетке (такая была у меня кличка как у самого молодого в давней нашей компании) с уменьшительно-запанибратским суффиксом,— вот и сейчас, сию минуту я

вдруг мучительно вспомнил его последний звонок, его милую хрипловатость: «Стаська-а! Давно не видались. Давайте, черти, встретимся. Попоем...»

Я не думаю, чтоб мы были друзьями в полном — и главное, узком — смысле. Вернее, Толя произносил это слово по отношению к нам с Алей, за что невозможно не быть благодарным, но ведь в самом деле «давно не видались», то есть редко встречались, и, конечно, у него — у вас — были люди несравненно более близкие,— да, по-моему, друзей и должно быть наперечет. Во всяком случае, круг их должен быть тесен, как тесно общение. Когда у кого-нибудь друзей набирается с пол-Москвы, я сомневаюсь, есть ли у него хоть один настоящий.

С тем большей, самого меня удивившей остротой я заметил сразу после Толиной смерти, как часто я о нем вспоминаю и говорю. По любому, самому, что называется, неделовому поводу. Идем где-нибудь с Алей — в нашей общей Малеевке, например,— говорим о чем попало, и у меня то и дело слетает с языка: «Помнишь, как Толя... Как сказал бы Толя Аграновский...»

Впрочем, «слетает» — неточно. В том-то и дело, что не слетает, а спотыкается на языке. Сразу вспоминается, что его — нет, и беззаботное сослагательное наклонение «сказал бы» начинает звучать: «сказал бы, да уже не сумеет».

Воспоминания, стало быть, не загробно-мемориальные, а живые, не желающие согласиться с горьким фактом: сперва легко вспомнишь, что́ он говорил, и лишь потом трудно сообразишь, что больше не скажет. Выходит, я и при жизни поминал его всуе и не всуе, только тогда это действительно — слетало. Он *был* — и был мне душевно нужен, нужен часто, а то, что это не всегда четко осознавалось, значило: чем неосознаннее, тем органичнее.

Понятно я выражаюсь?

Когда вспоминаешь человека, которого любил и уважал, обычно тянет воздать ему благодарность и вполне утилитарную: чему он меня научил?

Действительно, чему?

Эренбург (прости мне литературные ассоциации,— от себя все-таки не уйдешь) писал об Алексее Толстом: «Ничему он меня не научил — вот только что курить трубку...» Усмешка? Может быть. Уничижение? Напротив, особенно если еще учесть нрав мемуариста: «Он меня не учил, но радовал — своим искусством, своей душевной тонкостью...»

Махнем рукой на иерархическую чопорность: разумеется, я не Эренбург, Аграновский — не Толстой, но что делать, ежели ассоциируется — пусть даже по причине избыточно-бессмысленной начитанности? Твердо помню, чему Толя меня действительно научил. В той же Малеевке я увидал в его руках рукопись очерка, который он сам перепечатал для «Известий»: идеальная ровность машинописного шрифта и «фонари», начертанные с наипедантичностью, переходящей в графическое изящество.

Смешно вспомнить — впрочем, почему смешно? — но это меня пленило и поразило, и сам я с тех пор, готовя для газеты статью, вырисовываю «фонарь», от старательности высунув кончик языка, а если на странице, мною перепечатанной, есть больше одной — ну, двух — помарок, маниакально рву ее и, внутренне воя от жалости к собственному времени, закладываю новую.

То, про что я рассказал, так пустяково, что, вероятно, это нужно пояснить даже тебе.

Во-первых, в этом «пустяке» (ставлю все-таки сомневающиеся кавычки) сказалась *профессиональная опрятность* журналиста Анатолия Аграновского — в этой нехитрой формуле мне дороги оба слова. Опрятность, или, по Далю, высшая степень ее, «опрятливость», то есть «причудливая опрятность»,— это ведь, по сути, ненависть к беспорядку, к неряшливости, к необязательности, ненависть, которой Толя был, посмею сказать, одержим. А профессионализм — это, с моей точки зрения, единственное, чем вправе гордиться литератор: талант преподносится свыше, им, как всяким подарком, гордятся только тщеславные дураки. Профессионалом каждый делает себя сам.

Я всегда восхищался, на протяжении лет наблюдая, как Толя *делает* себя. Лепит, говорят чаще, но мне нравится это мастеровое словечко: *делает*. Он был слишком умен, чтобы впадать в простительный грех тщеславия,— честолюбивым он был, особенно если вспомнить самое прекрасное из значений слова «честь»: я мало встречал в жизни людей с таким внутренним достоинством — качеством, которое не облегчает жизни его обладателям и, к несчастью, не отдаляет смерти.

Я даже готов сказать, что он, артистичный до кончиков ногтей, лепя, делая себя, себя же и играл. Вернее сказать, доделывал, доигрывал до совершенного образа,— ему было необходимо привести свой облик в соответствие с тем, каким он представлял себе человека и литератора.

Это, как сказано, во-первых. Теперь во-вторых.

Еще немного «литературы».

Забыл спросить у Толи, как он относился к Жюлю Ренару, к моему любимому «Дневнику», а может быть, забыл, что спрашивал: мало ли о чем мы разговаривали. Так или иначе, мне кажется, что он должен был любить этого писателя с его уж подлинно одержимой тягой к «опрятливости», духовной и литераторски-профессиональной,— настолько, что Ренар начинал в ней сомневаться и ненавидеть ее, как ненавидят только себя и сомневаются в собственных достоинствах:

«Вкус — своего рода смертная добродетель».

Или даже:

«Я... писатель, которому мешает стать великим единственно вкус к совершенству».

Мешает или помогает — дело темное и, в общем, десятое, важно, что́ делает писателя таким, каков он есть. Заложником вкуса.

Таким, я думаю, и был твой муж Толя Аграновский. И в своих писаниях, и в своих песнях,— помнится, я когда-то ревниво сравнивал его с иными «поющими литераторами» и, признавая достоинства того или этого, категорически признал за Толей первенство во вкусе. Не как в некоем, хоть и благородном, ограничителе, нет, в том-то и дело, что безошибочное чутье вдруг подсказывало ему из нарочито прозаизированного Слуцкого извлечь незащищенную детскую мелодию, а в резких, страдальческих «анжабеманах» Цветаевой — «Тоска по родине! Давно разоблаченная морока!» — углядеть притаившуюся гармонию, которую способна открыть и довыявить именно гитара...

Словом, таким он был или, по крайней мере, таким мне казался; такой он для меня дорог и важен, потому что, нимало на то не претендуя и не задираясь (а это само по себе тоже важно, ибо полемичность всегда несколько ущербна, она тратит на опровержение силы, которые можно было бы потратить на утверждение), он как писатель спокойно противостоял и настырной стилистической суетливости, и лихорадочным доказательствам, что мы, дескать, и то, и это умеем и можем (все это взаимосвязано, и комплекс сверхполноценности обычно порожден комплексом неполноценности).

Когда-то, еще в старом «Новом мире», я хвалил его за то, что у него нет склонности к беллетристическим «сме-

шинкам», «лукавинкам» и к их более изощренным модификациям,— хвалил, каюсь, как раз впадая в грех критической полемичности, может быть, отчасти принижающей предмет разговора. У него-то и соблазна такого не было,— он был целеустремлен. Вдумаемся в этимологию. У писателя, действительно устремленного к действительно ощущаемой — сквозь любые туманы, сквозь какой угодно хаос — цели, нет и не может быть ни времени, ни охоты отвлекаться на красоты оформительства.

Держу пари без малейшего шанса на проигрыш: многие вспоминающие Анатолия Аграновского вспоминают и его фразу: «Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает». Я и сам двадцать лет назад кончил ею рецензию.

Сказано, что говорить, крылато, но — решусь выразиться — и подземно тоже: крылатость странным и нормальным образом сочетается с чернорабочим рытьем, упрямый крот подает привет вольной пташке, и то, что можно счесть, нельзя не счесть авторским кредо А. Аграновского, есть, по существу, общий закон литературного дела.

Это истинно писательская позиция,— хотя Толя предпочитал называть себя журналистом, а свой сборник хотел самолюбиво озаглавить: «Анатолий Аграновский. Статьи» «Статьи» — и больше ничего, читайте, если хотите и доверяете. Жаль, что издательство его в этом смысле не поняло.

Тут-то, пожалуй, полемичность все же была,— но тща тельно скрытая: на внешнюю размениваться не хотел Было отстаивание все того же собственного достоинства Самоуважение было (какая нелепость, что последнее слово стало звучать чуть ли не обвинительно)

...Я мало писал о Толе, считая, что это, так сказать, не мой материал,— тот, в котором я не слишком соображаю. Это правда: к моему стыду, в самом деле не слишком, а заниматься «формой», стилем, тем, *как* он писал, мне казалось чем-то вроде легкомысленного эстетства — в сравнении с тяжестью проблем и судеб, которые он поднимал. Но сейчас проглядел свою очень старую ре цензию в «Юности», и захотелось процитировать начало. Не с тем, чтоб похвастаться, потому что, как увидишь, хвастаться особенно нечем:

«Однажды в командировке, в Вологде, холодным ок тябрьским днем я мерз у газетного стенда. Был вывешен

номер «Известий», вчерашний, уже распроданный, и я не мог уйти, не дочитав статьи Анатолия Аграновского «Повесть о бедном мотеле».

Тот случай запомнился мне как экстраординарный по чисто личным причинам: уж очень я тогда замерз. Со стороны Аграновского ничего необычного не произошло: каждый его газетный очерк (для пущей точности скажем: почти каждый) — событие в текущей журналистике. Около каждого я готов мерзнуть».

Остроумие далеко не первого разряда и разбора, но вот что меня при перечтении ностальгически кольнуло: легкость, граничащая, может быть, с легкомыслием, а то, глядишь, им-то и являющаяся,— тут не до тщеславия. Молоды были — или, по крайней мере, моложе? Конечно. То, что Анатолий Аграновский пересекал тогда, вероятно, счастливейшую полосу своей литераторской жизни, которая к тому же и казалась не полосой, а бескрайним полем (слава богу, что полоса оказалась все-таки широка)? Разумеется. Но тут, сдается мне, и другое. Существование Толи, его — вот уж никак не развлекательная — работа располагали нас, его читавших, к *веселости*, как говаривали прежде.

Прости, Галя, но я вспоминаю и похороны. Что мне в эти минуты говорит твой и Толин Алешка, то бишь Алексей Анатольевич, кандидат, лауреат, отец, «амбал» выше меня на целую голову?..

Кстати сказать (и славно вспомнить), возвращаю ему тем самым комплимент из самых лестных, которые я получал. В «детской» вашей трехкомнатной квартиры, там, где шведская стенка и гири, мы затеваем сверхвольную борьбу, и на меня, черт бы их побрал, наваливаются сравнительно — всего лишь сравнительно — малолетние Алешка и Антошка, а сверху еще и их нестарый и неслабый отец; я барахтаюсь под ними, чтобы потом польщенно услышать Алешкино: «Ну, дядя Стасик, амбал!..»

Так вот, кандидат и лауреат Алексей Анатольевич Аграновский, успевший-таки прилететь из Эфиопии, говорит мне, сморщившись по-младенчески:

— А я-то все представлял, как приеду и по дням, по дням отцу буду про Эфиопию рассказывать. Нарочно в письмах почти ничего не писал, целую программу готовил...

Он готовил радость себе, тебе, отцу,— он, воспитан-

ный в веселости; не в веселье, которое случайно и преходяще, а в ней, в веселости, которая, между прочим, включает в себя одоление горестей, даже — и именно — незабываемых.

Анатолия Абрамовича Аграновского, твоего— и нашего — Толю я помню веселым и печальным, поющим и пишущим (вернее, читаемым — кто, кроме тебя, видел, как он пишет,— возможно, он и тебя не слишком подпускал: писание — процесс как бы стыдный даже для наиближайших людей), озорничающим и угнетенным. Но веселость — настаиваю на этом несовершенном определении — в нем была. Или, во всяком случае, от него исходила, что важнее для нас и труднее для него.

Вот, кажется, все.

Будь здорова, Галочка.

Навсегда твой и Толин —

Ст. Рассадин.

Е. ЯКОВЛЕВ

Сто пятьдесят последних строк

Захотелось открыть еще не пожелтевший номер «Известинца» — два года назад писал об Аграновском, к его шестидесятилетию. Тогда можно было шутить, вспоминать смешное... Помню, хотел рассказать, как приходит Аграновский в редакцию, еще в вестибюле начиная здороваться,— и всякий раз не на ходу, а, как говаривали, бывало, наслаждаясь радостью общения. На губах улыбка, глаза веселые — весь он к тебе обращен, словно хочет сказать: до чего же хорошо, что повидались. Как движется по редакционным коридорам, не торопясь, но и не прохаживаясь, а именно движется — плавно и красиво, поигрывая на ходу коробкой, а потом и пачкой своего неизменного «Казбека»... Тогда как-то не получилось. Теперь пишу. Теперь лишь в воспоминаниях — и никак иначе — возвращается то, что представлялось обыденным, можно было поймать краешком глаза, не задумываясь, не стараясь запомнить.

За все время — не решусь сказать — нашей дружбы: тесен был у Анатолия круг близких друзей. За тридцать два года, что были прожиты с ним, рассказывает жена Галя, этот круг, по существу, не менялся. Строг был в выборе привязанностей — зато свободен от разочарований... Но не только это. Хоть и звал Аграновского, как и многие другие, просто — Толя, всегда смотрел на него глазами младшего перед старшим. Наверное, это мешало нашему общению вне редакции. Мешает и сейчас: писал же Аграновский, что нельзя смотреть на своего героя снизу вверх,— не получится достоверного портрета.

Итак, за все время наших взаимно сердечных отношений мне лишь трижды довелось заниматься статьями Аграновского. Мы и увиделись впервые по поводу его статьи.

Читал Аграновского, разумеется, всегда, но долгие годы лично знаком не был. А пришел на работу в «Советскую печать», и, как всякому нормальному редактору, захотелось увидеть его среди авторов журнала. Позвонил в «Известия», попросил разрешения приехать. Замечу

просьба главного редактора о встрече не очень расслабила Аграновского. Он милостиво согласился, но сразу же добавил: «Не ждите, писать ничего не стану». И тут начался наш спор. Я-то знал: он не сможет отказаться от темы, которую ему предлагают, и потому сказал: «Нет, вы напишете». А он, не подозревая подвоха, стоял на своем: «Не буду». Мы встретились.

Аграновский обещал, что напишет статью через неделю. Через семь дней вновь приехал в «Известия», я получил от него рукопись... Редакция журнала решила тогда обратиться к потомственным журналистам, чтобы рассказали они о своих отцах.

По пути, не добравшись еще до редакции журнала, я перелистал полученную рукопись. Каждая страница была автором отпечатана с такой аккуратностью, какая не дана ни одному машинописному бюро, «фонари» были отмечены так красиво, как не сумеют ни в одном секретариате. Это был первый урок профессионализма, преподанный мне Аграновским. Потом их было много. Когда-нибудь (очень надеюсь) его родные, близкие подробней расскажут, а еще лучше — напишут, как работал Толя. Писал от руки и печатал. То закрывал машинку, то открывал ее. Переносил с письменного стола на журнальный столик, оттуда на подоконник. Ложился, взяв книгу... И сейчас лежат на диванной полке раскрытые книги — Достоевский, Гейне, Баратынский,— читал одновременно десяток книг. И снова — то печатал, то писал от руки. Так тянулись будни, из которых, как известно, и складывается жизнь. Наконец, наступал праздник... С утра тарахтит машинка. Анатолий перепечатывает начисто. Надо успеть сегодня же отвезти в редакцию. А если не успеет? Тогда следующим днем снова начнет переделывать — и неизвестно, когда закончит. Работа была его святым делом. А где свято, там не обходится без суеверия. Говорил: если по дороге вдруг обронится лист, надо сразу же сесть на него, где бы это ни приключилось,— на лестнице, в метро, посреди площади. Младший сын Антон вез как-то в издательство рукопись отца и все время опасался: а вдруг уроню, как же я сяду на нее при всех...

О том, как долго (мучительно — обычно не говорили, именно долго) работал Аграновский над каждым очерком, ходили легенды. Но почему же все-таки так долго? Оттого, что не начинал статьи, пока не родится ее первая и, как правило, самая блистательная фраза? Или, скажем,

потому, что каждый абзац проверялся бесконечным множеством вариантов? Но разве лишь поиск слова может до конца поглотить мастера, для которого суть дела всегда важнее? И это не праздный, не суетный вопрос: отчего так долго, так мучительно трудился Аграновский над своими статьями? Ответ приходит лишь через осмысление особенности его творчества. Но об этом позже.

В другой раз мне довелось — не удивляйтесь — готовить статью Аграновского. Не редактировать, а именно готовить. Вместе были в Ленинграде на совещании публицистов. Анатолий выступал так же, как и писал,— великолепно. На совещании его слушали затаив дыхание — как ловят смело брошенные в аудиторию слова правды, следят за самым удивительным, что есть на свете,— развитием мысли, воспринимают как подлинное откровение. А потом обедали вместе с ленинградскими газетчиками. Аграновскому принесли гитару, и он пел свои песни. Добрые, грустные, веселые. Их слышали немногие, они не ходили в катушках пленок по стране, не выставлял он свои рисунки. И статьи, и книги, и фильмы, и песни, и живопись — все это было из одной чаши таланта, содержимое которой переплескивалось через край... Впрочем, сам бы он тут же и резко возразил мне. Для него существовало строгое разграничение. Но и об этом позже.

Мои возможности, чтобы затянуть Аграновского на страницы теперь уже не «Советской печати», а «Журналиста», были исчерпаны. Оставалось лишь попросить разрешения на публикацию его выступления. Он согласился. Старательно потрудившись над стенограммой, я отправился домой к Аграновским.

Толя взял рукопись, потянулся за ручкой... и просидели мы часа четыре — до самой поздней ночи. Всю исчерканную, в общем-то переписанную, рукопись Аграновский отдал нехотя: ему бы еще работать и работать над ней — да постеснялся, видно. Сказал, вздохнув: в таком виде, пожалуй, можно.

Так повстречался с Аграновским-редактором — редактором над самим собой, а значит, по-аграновскому самым требовательным. Никто не правил его так, как он сам себя. Впрочем, Аграновского вообще не правили — с ним могли не соглашаться. А он мог и умел не уступать. Редактор уже должностью своей наделен многими правами. У специального корреспондента Аграновского было право — снять свою статью из номера. И еще одно — никогда его

не покидавшее — право на чувство собственного достоинства...

Рукопись, над которой мы сидели в тот вечер, со стенографической точностью передавала его же слова, его выступление. Но теперь ему это казалось блеклым и вялым по сравнению с упругой отточенностью письменной речи. Ту статью, посвященную публицистике, он начал так: «Повторить описание всегда считалось стыдным делом — это плагиат. Повторить фабулу тоже опасались — это заимствование... А вот мысль повторить в сотый, в тысячный раз, да еще теми же затертыми словами,— это почему-то не считается у нас зазорным».

Статью сам же Аграновский назвал «Давайте думать». И добивался в каждой строке поразительной концентрации мысли — не вообще, а остро политической.

При всей доброжелательной деликатности бывал, случалось, и очень суров. Мог сказать на редакционной летучке одному из своих оппонентов, который имел привычку все и за всеми записывать — на всякий случай: «Я буду говорить очень медленно, чтобы вы сумели все записать в свою черную книжечку».

Можно лишь поражаться тому, как гармонично сложилась личная жизнь Аграновского. Галя во всем понимала и разделяла жизнь мужа. Он любил рассказывать, что многие шутки, саркастические пассажи в его статьях придуманы не им, а женой. Сыновья Алексей и Антон во всем принимали и мудрость, и авторитет отца. Даже в выборе профессий. «Боюсь, как бы дети не стали журналистами»,— говорил Аграновский. Один — микробиолог, другой — врач... Друзья были верны ему... А могло ли быть иначе? Могло ли быть по-другому в семье человека, который сам и во всем выстроил свою жизнь, человека такого ума, воли, такой глубокой серьезности. Домашние шутили: обворовать нас очень трудно: долго придется укладывать книги, а ничего другого в доме нет...

В третий и последний раз отправлял я в набор статью Аграновского совсем недавно. Гранки ее и теперь передо мной — гранки последней его статьи, набранной при его жизни.

В редакции решили завести полемическую колонку. И Толя приветствовал это. Тут же проговорился: есть у него и тема для колонки. Именно проговорился, потому что я, понятное дело, стал уговаривать написать. А он, тоже понятное дело, начал отказываться. Ссылался на свою

главную работу последних месяцев — статью о сокращении аппарата.

И началась, спустя без малого двадцать лет, наша прежняя игра. Каждый вспомнил былое и вел свою партию. Я уговаривал — Толя отказывался. Посылал ему домой с курьером письма читателей по теме колонки. Звонил по утрам, справлялся: какое настроение у мастера, не написал ли он статью? Домашние сперва ужасались: так быстро?! Потом привыкли. Просился в гости, но принят не был: знали, по какому поводу. А вот статью — и довольно скоро — Толя принес. На трех страницах — согласно условиям жанра — он говорил о том, что волнует множество людей. «Больничный обед» — так называлась та полемическая колонка.

Как принято говорить, по не зависящим от нас причинам статья все время задерживалась. Была уже набрана следующая колонка и еще заказаны. Предлагали начать с заметки другого автора. Я же упрямился: казалось, если начнется новый раздел с Анатолия Аграновского, будет у него светлый путь. Тянулось время в спорах. И однажды Толя заглянул ко мне. Пожалуй, это был наш последний долгий и сердечный разговор. Он сетовал, что ставлю его в неудобное положение: мол, давно не писал для газеты, а теперь сочинил сто пятьдесят строк, и все в это уперлось. Говорил он вроде бы шутя, но смешно не было. Было грустно. «Прошу тебя, откажись, начни с другого материала».

Да, случалось, Аграновского упрекали: редко, мол, выступает. Но в последний год и этого не было. Однако к себе-то он всегда относился требовательней, чем все окружающие, вместе взятые,— дома называли его самоедом.

В тот раз Аграновский говорил, что не может сейчас писать для газеты. Не сказал обычно банального «исписался». Говорил: не выходит, не получается, нет сил. Хочет начать оформление пенсии. Поверить в это было тяжело. Стараясь свести разговор к шутке, я заметил: слышать такого не могу, скажи лучше, что занят книгой и пока тебе не до газеты. Аграновский шутки не принял. Пришлось пообещать в конце концов, что начнем полемическую колонку с любой другой статьи.

Тогда разговор расстроил. Теперь заставил задуматься, и над многим. Привычней видеть в таланте божий дар, и куда как реже отдаем себе отчет, как тяжела эта ноша, как

велика изматывающая его сила, не дающая покоя тому, кто им обладает. И еще. Упрекая друг друга за то, что не сделано ко времени, мы меньше всего задумываемся: а может, не мог человек, кажется — не захотел, не постарался, а он не мог!

О даровании Аграновского много написано — оно и сейчас ждет своих исследователей. И все-таки позволю себе высказать лишь одну гипотезу. В редакциях часто появляются молодые люди с мечтой о литературном будущем — надеются, что в газете они и станут писателями. Между тем, как было уже замечено, журналист и литератор поднимаются из разных корней. Журналист произрастает на древе политики. Литератор — на древе искусства. Статьи Аграновского поражают остротой политической мысли. И восхищают литературным, образным исполнением.

Аграновский — журналист, это аксиома. Одну из своих статей начал известными словами: «Если бы я был министр высшего образования, я бы пригласил к себе журналиста Аграновского и сказал ему...» Шутил. А между тем обладал мышлением, смелостью анализа и решений, которые даны далеко не каждому государственному деятелю.

Был ли Аграновский литератором? Бесспорно! Сомневаться в этом — все равно что размышлять теперь, был ли Некрасов журналистом, а Пушкин — историком... Два древа, два потока, соединившиеся в одном человеке. Явление это, пожалуй, куда более редкое, чем талант писателя и государственный ум политика. Но сколько же нужно духовных сил — и на сколько их хватит,— чтобы соединить, примирить, слить воедино в себе одном и то и другое. Расчет и образ, дело и слово, лед и пламень. В этом и был Аграновский — только он — никем не повторимый. И даже ему это давалось мучительно трудно. И даже он не всегда и не во всем мог добиться этого чудесного сплава. Другие работы, скажем, сценарии, которых так ждали на киностудиях, Толя подписывал «А. Захаров».

Темой его — постоянной болевой точкой — стала экономика и нравственность. И сам он прежде всего был нравственным человеком. Не мог оставаться спокойным, когда обстоятельства понуждают к безнравственным поступкам других. Для таких людей, как Аграновский, самый болезненный разрыв — словно разрыв живой ткани — это разрыв между словом и делом.

Бывало, говорили с Толей: все его статьи можно представить единой нитью, а на ней узелки им же поднятых

проблем. Развязался ли хоть один из тех узелков, которые он затянул в последние годы? — спросил я, зная заранее, что ответит Аграновский. Да, он сам утверждал, что публицистика призвана будить общественное мнение. Оно, как известно, меняется, но не быстро. Но и дело скоро не делается. Аграновский ни в чем не был наивен. Но он вышел из того поколения — принадлежал ему и был с ним,— которое ело: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

Сегодня мы говорим, что надо как можно быстрее от экономических экспериментов переходить к самым серьезным изменениям в управлении нашим народным хозяйством,— и это непосредственно касается нравственности, соотносится с переживаниями тех людей, которые не могут быть спокойны душой к тому, что пока не получается. В свою последнюю ночь, отвечая на тревожные взгляды жены, Аграновский повторял: маета.

Мне могут возразить: он был профессионалом, а профессия складывается из ежедневных повторений, которые вырастают в привычку. А привычное уже не волнует. Нет, профессионализм, если искать благородный, человеческий смысл этого понятия, заставляет проникать все глубже и глубже, а значит, и переживать все острее и острее — все ближе к сердцу. Во многой мудрости много печали...

Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

А. Аграновскому

Над камином стучат ходики...
Где упали друзья —
холмики.
Навсегда заросли
травами.
До сих пор их дома
в трауре.

А другие
пошли в физики.
Мне о них разузнать —
фигушки!

Мне у них про дела
выпытать —
все равно
что секрет
выболтать.

А иные нашли
жилочку,
может,
даже и впрямь —
жирную.
Полюбили столы
крупные,
полюбили слова
круглые...
Им
грешно до меня снизиться.
И застыл телефон
в книжице.
Как рыбешка
в углу невода.
Номер есть,
а звонить —
некуда...

Похудела моя
книжечка.
Там,
    где раньше канат, —
ниточка.
Там,
    где раньше моря, —
озеро.
А заместо весны —
осени.

СОДЕРЖАНИЕ

Составитель
Галина Федоровна Аграновская

Воспоминания
об Анатолии Аграновском

Редактор
О. В. Тимофеева

Художественный редактор
Ф. С. Меркуров

Технический редактор
Н. Б. Панфилова

Корректор
В. Е. Бораненкова

ИБ № 6430

Сдано в набор 29.02.88. Подписано к печати 28.10.88. А 03314. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1 Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,48+1,68 вкл. Уч.-изд. л. 20,10. Тираж 30 000 экз. Заказ № 166. Цена 1 р. 70 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г Тула, проспект Ленина, 109

В 77 **Воспоминания об Анатолии Аграновском:** Сборник.— М.: Советский писатель, 1988.—352 с.

ISBN 5—265—00071—2

Об Анатолии Аграновском блестящем журналисте и писателе вспоминают друзья и коллеги: А Борщаговский, К Ваншенкин, М Галлай, З. Паперный, Е. Яковлев, Э. Поляновский, Ст Рассадин, академик Г Арбатов, известный офтальмолог С. Федоров и другие.

Разносторонне талантливый человек, работавший с полной отдачей сил и высокой ответственностью перед временем и людьми, таков образ, встающий со страниц книги

Составитель Г Ф Аграновская

В $\frac{4702010201-412}{083(02)-88}$ 158—88 ББК 83 3Р7

ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ

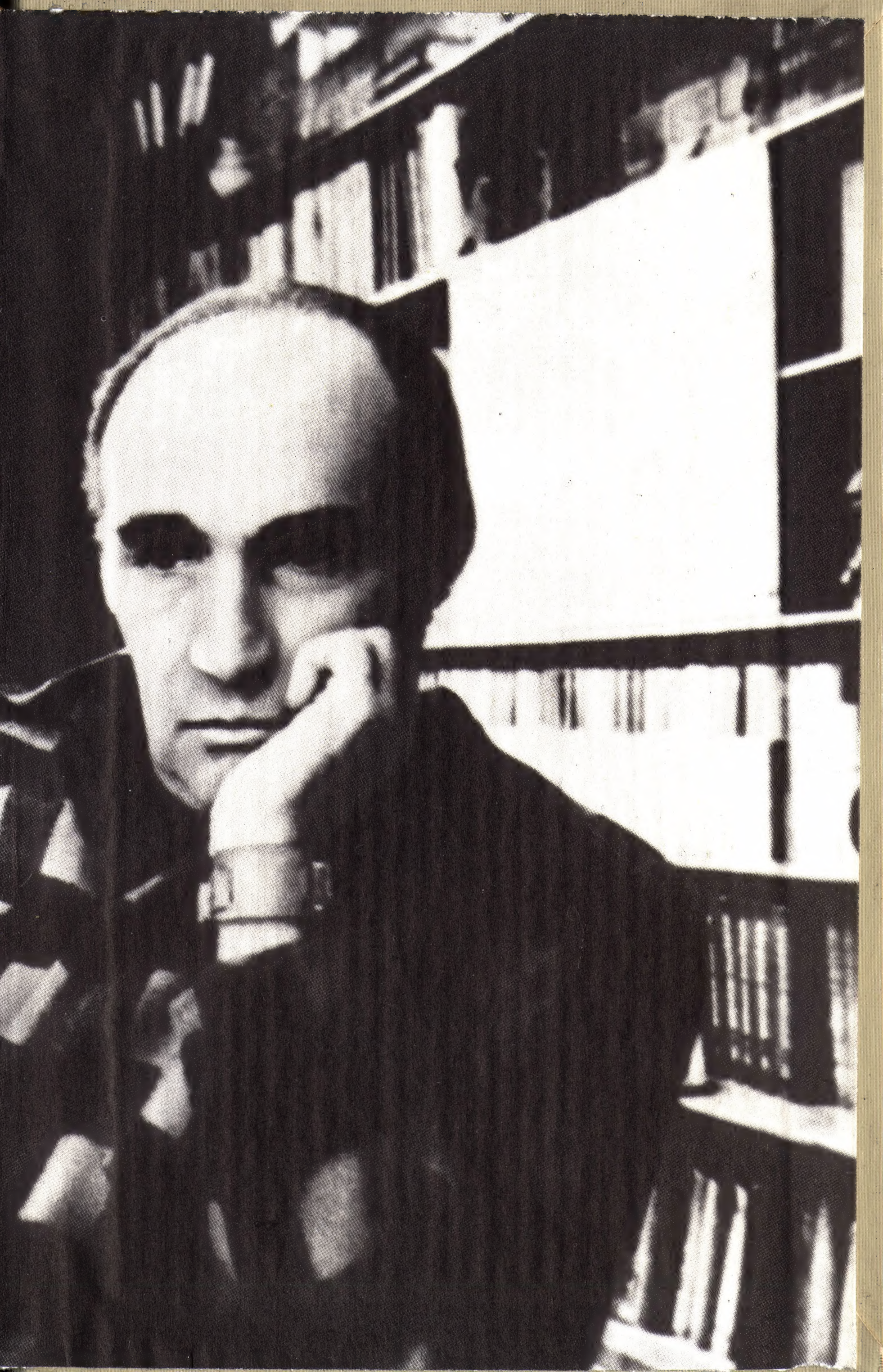
ЧУПРИНИН С.

Критика — это критики:

Портреты.— М.: Сов. писатель, 1988 (IV кв.)
17 л.— (В пер.): 1 р. 10 к. 20 000 экз.

Литературная критика сегодня... Об этом в последние годы спорят все чаще. Сергей Чупринин, чьи тонкие и острые суждения о современных писателях хорошо известны читателям, убежден: критика — это прежде всего критики. А они очень не похожи друг на друга. В книге воскрешаются страницы истории нашей критики, связанной с именами Марка Щеглова и Александра Макарова, обрисовывается литературная позиция журнала «Новый мир» 1960 года, осмысляются уроки многих дискуссий последнего времени. Читатель найдет здесь портреты таких популярных критиков современной литературы, как Л. Аннинский, В. Гусев, И. Дедков, В. Кожинов, Ал. Михайлов, С. Рассадин, Е. Сидоров и др.





Воспоминания об Анатолии Аграновском